

АНАТОЛЬ ФРАНС

ОСТРОВ ПИНГВИНОВ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Остров пингвинов

Анатоль Франс

Аннотация
Анатоль Франс. Остров пингвинов
Предисловие
Книга первая. Происхождение
Глава I. Жизнь святого Маэля
Глава II. Апостольское призвание святого Маэля
Глава III. Искушение святого Маэля
Глава IV. Плавание святого Маэля по Ледовитому океану
Глава V. Крещение пингвинов
Глава VI. Совещание в раю
Глава VII. Совещание в раю. (Продолжение и окончание)
Глава VIII. Превращение пингвинов
Книга вторая. Древние времена
Глава I. Первые одежды
Глава II. Первые одежды. (Продолжение и окончание)
Глава III. Межевание полей и возникновение собственности
Глава IV. Первое собрание Генеральных Штатов

Пингвинии
Глава V. Брак Кракена и Орброзы
Глава VI. Алькский дракон
Глава VII. Алькский дракон. (Продолжение)
Глава VIII. Алькский дракон. (Продолжение)
Глава IX. Алькский дракон. (Продолжение)
Глава X. Алькский дракон. (Продолжение)
Глава XI. Алькский дракон. (Продолжение)
Глава XII. Алькский дракон. (Продолжение)
Глава XIII. Алькский дракон. (Продолжение и окончание)
Книга третья. Средние века и Возрождение
Глава I. Бриан Благочестивый и королева Гламоргана
Глава II. Дракo Великий. Перенесение мощей святой Орброзы
Глава III. Королева Крюша
Глава IV. Письменность. Иоанн Тальпа
Глава V. Искусства. Примитивы пингвинской живописи
Глава VI. Марбод
Глава VII. Знаки на Луне
Книга четвертая. Новое время Тринко
Глава I. Рукениха
Глава II. Тринко
Глава III. Путешествие доктора Обнюбиля

Книга пятая. Новое время Шатийон
Глава I. Преподобные отцы Агарик и Корнемюз
Глава II. Принц Крюшо
Глава III. Тайное Сборище
Глава IV. Виконтесса Олив
Глава V. Князь де Босено
Глава VI. Падение Эмирала
Глава VII. Заключение
Книга шестая. Новое время. Дело о восьмидесяти тысячах копен сена
Глава I. Генерал Греток, герцог Скаллский
Глава II. Пиро
Глава III. Граф де Мобек де ла Дандюленкс
Глава IV. Коломбан
Глава V. Преподобные отцы Агарик и Корнемюз
Глава VI. Семьсот родичей Пиро
Глава VII. Бидо-Кокий и Манифлора. Социалисты
Глава VIII. Процесс Коломбана
Глава IX. Отец Дуйяр
Глава X. Советник Шоспье
Глава XI. Заключение
Книга седьмая. Новейшее время. Госпожа Серес
Глава I. Салон госпожи Кларанс
Глава II. Религиозное общество святой Орброзы
Глава III. Ипполит Серес

Глава IV. Женитьба политического деятеля
Глава V. Министерство Визира
Глава VI. Диван фаворитки
Глава VII. Первые последствия
Глава VIII. Новые последствия
Глава IX. Окончательные последствия
Книга восьмая. Будущее. История без конца
§ 1
§ 2
§ 3
§ 4

Аннотация

Однажды резвый святой по ошибке покрестил живших на уединенном острове пингвинов. Делать нечего, пришлось обратить их в людей, дабы не порочить святое таинство. Так начинается остроумный роман «Остров пингвинов», в котором современники автора видели едкую пародию на историю Франции – от Меровингов и Средневековья до дела Дрейфуса, «общества потребления», массовой культуры, терроризма и даже Первой мировой!..

Анатоль Франс
Остров пингвинов

© Перевод. В. Дынник, наследники, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Предисловие

При всем разнообразии развлечений, казалось бы занимающих меня, жизнь моя посвящена лишь одному предмету. Вся она безраздельно служит осуществлению великой задачи: я составляю историю пингвинов. И работаю упорно, несмотря на постоянно возникающие трудности, порою непреодолимые.

Я производил раскопки, извлекая из-под земли древние памятники этого народа. Камни были первыми книгами человечества. Я изучал камни, представляющие собою как бы начальную летопись пингвинов. На берегу океана мною был разрыт еще никем не тронутый древний курган; я обнаружил в нем, как это обычно бывает, каменные топоры, бронзовые мечи, римские монеты, а также монетку в двадцать су с изображением французского короля Луи-Филиппа I.

Что касается времен исторических, то здесь мне оказала большую помощь летопись Иоанна Тальпы, монаха Бергардинского монастыря. Я черпал из нее обильные сведения, тем более важные, что по истории пингвинского раннего

Средневековья другими источниками мы до сих пор не располагаем.

Начиная с XIII века имеется уже более богатый материал — более богатый, но и более зыбкий. Писать историю — дело чрезвычайно трудное. Никогда не знаешь наверное, как все происходило, и чем больше документов, тем больше затруднений для историка. Когда сохранилось только одно-единственное свидетельство о некоем факте, он устанавливается нами без особых колебаний. Нерешительность возникает лишь при наличии двух или более свидетельств о каком-либо событии, так как они всегда противоречат одно другому и не поддаются согласованию.

Конечно, предпочтение того или иного исторического свидетельства всем остальным покоится нередко на прочной научной основе. Но она никогда не бывает настолько прочна, чтобы противостоять нашим страстям, нашим предрассудкам и нашим интересам или препятствовать проявлениям легкомыслия, свойственного всем серьезным людям. Вот почему мы постоянно изображаем события либо пристрастно, либо слишком вольно.

О трудностях, возникавших передо мною при составлении истории пингвинов, я не раз заво-

дил речь с археологами и палеографами — как пингвинскими, так и иностранными. Но вызывал к себе одно лишь презрение. Они смотрели на меня с сострадательной улыбкой, в которой можно было ясно прочесть: «Да разве мы, историки, пишем историю? Разве мы стремимся извлечь из текста, из документа хотя бы крупицу жизни или правды? Мы попросту, без мудрствований, издаем тексты. Мы во всем придерживаемся буквы. Только буква обладает достоверностью и определенностью. Духу эти качества недоступны: мыслить — значит фантазировать. Писать же историю могут только пустые люди: тут нужна фантазия».

Все это я читал во взгляде и в улыбке наших известных палеографов, и беседа с ними глубоко меня обескураживала. Но как-то раз, после разговора с одним из светил сигиллографии, повергшего меня в полное уныние, мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Однако ведь существуют же историки, ведь не совсем же вывелась эта порода людей! В Академии нравственных наук их сохранилось пять-шесть. Они не издают текстов — они пишут историю. Уж они-то не скажут мне, что лишь пустые люди способны к такого рода занятиям».

И я приободрился.

На другое утро, как выражаются обычно (или наутро, как следовало бы сказать), я пошел к одному из них, человеку преклонных лет и тонкого ума.

— Милостивый государь! — сказал я ему. — Прошу вас помочь мне своим просвещенным советом. Я все силы свои полагаю на то, чтобы составить историю, но у меня ничего не выходит!

Он пожал плечами.

— Зачем же, голубчик, так утруждать себя составлением исторического труда, когда можно попросту списывать наиболее известные из имеющихся, как это принято? Ведь если вы выскажете новую точку зрения, какую-нибудь оригинальную мысль, если изобразите людей и обстоятельства в каком-нибудь неожиданном свете, вы приведете читателя в удивление. А читатель не любит удивляться. В истории он ищет только вздора, издавна ему известного. Пытаясь чему-нибудь научить читателя, вы лишь обидите и рассердите его. Не пробуйте его просвещать, он завопит, что вы оскорбляете его верования. Историки переписывают друг друга. Таким способом они избавляют себя от лишнего труда и от обвинений в самонадеянности. Следуйте их

примеру, не будьте оригинальны. Оригинально мыслящий историк вызывает всеобщее недоверие, презрение и отвращение. Неужели, сударь, вы думаете, — прибавил мой собеседник, — что я добился бы такого признания и почета, если бы вводил в свои исторические книги какие-нибудь новшества? Ну что такое новшество? Дерзость — и только!

Он встал. Я поблагодарил его за любезный прием и пошел к двери. Он меня окликнул:

— Еще два слова. Если вы хотите, чтобы ваша книга была хорошо принята, не упускайте в ней ни малейшего повода прославить добродетели, составляющие основу всякого общества: почитание богатства, благочестие и особенно смирение бедняков, этот краеугольный камень общественного порядка. Заверьте читателей, что происхождение собственности, благородного сословия и жандармерии будет рассмотрено в вашем труде с подобающим уважением. Предупредите, что вы допускаете возможность вмешательства сверхъестественных сил в ход исторического процесса. При этих условиях вы стяжаете успех у благомыслящей публики.

Я продумал эти разумные указания и стал всемерно руководствоваться ими в своей работе.

Не буду здесь говорить о пингвинах до их превращения. Они интересуют меня лишь с того момента, когда из области зоологии они перешли в область истории и богословия. Ведь именно пингвины были превращены в людей великим святым Маэлем. Но здесь требуется кое-что разъяснить, поскольку в настоящее время термин «пингвин» дает повод к недоразумениям.

По-французски пингвинами называются арктические птицы, принадлежащие к семейству альцидовых; отряд же сфенисцидовых, населяющих антарктические моря, мы называем маншотами. Такое наименование находим мы, например, у г-на Ж. Лекуэнта[1] в его отчете о плавании на «Belgica». «Изо всех птиц, населяющих область Герлахского пролива, — пишет он, — наибольший интерес представляют, несомненно, маншоты. Их иногда ошибочно именуют южными пингвинами». Доктор Ж. Б. Шарко, напротив, утверждает, что именно тех антарктических птиц, которых мы называем маншотами, и следует считать единственно настоящими пингвинами, и ссылается на то, что у голландцев, достигших в 1598 году Магелланова мыса, эти

[1] Примечания: 1

Ж. Лекуэнт. В стране маншотов. Брюссель, 1904, ин- октаво. — *Примеч. авт.*

птицы получили название pinguinos, очевидно, за свою тучность. Но если маншотов надо называть пингвинами, то как же в таком случае будут называться пингвины? Доктор Ж. Б. Шарко не дает указаний, да, по-видимому, это его ничуть и не заботит[2].

Ну что ж! Присваивает ли он впервые своим маншотам название пингвинов или только восстанавливает его, спорить не приходится. Как первый исследователь этих птиц, он тем самым получил право дать им любое название. Но, по крайней мере, пусть предоставит он и северным пингвинам право оставаться пингвинами. Пускай же будут существовать пингвины южные и пингвины северные, антарктические и арктические, альцидовые (или прежние пингвины) и сфенисцидовые (или прежние маншоты). При этом возникнут, быть может, некоторые затруднения для орнитологов, озабоченных описанием и классификацией перепончатолапых; встанет, конечно, вопрос о том, удобно ли, в самом деле, одинаково называть два разные семейства птиц, населяющие полярно противоположные области и отличающиеся к тому же одно от другого

[2] Примечания: 2

Ж. Б. Шарко. Дневник французской антарктической экспедиции. Париж. 1903, 1905, ин-октаво. — *Примеч. авт.*

целым рядом признаков, как то: строение клюва, крыльев и лап. Меня же такое несоответствие нисколько не смущает. Сходство между моими пингвинами и пингвинами г-на Ж. Б. Шарко разносторонней и глубже различий; как для тех, так и для других характерен невозмутимо спокойный, важный вид, какое-то комичное достоинство, дружелюбная доверчивость, добродушное лукавство, неуклюжая торжественность движений. Те и другие миролюбивы, болтливы, чрезвычайно любопытны, отличаются живым интересом к вопросам пингвинской общественной жизни и, быть может, не вполне чужды зависти и тщеславия.

У моих гиперборейцев, по правде сказать, крылья вовсе не чешуйчатые, а покрыты мелкими перышками; хотя ноги у них не так сильно отставлены назад, как у их южных собратьев, но ходят они так же: горделиво, враскачку, грудь колесом, голова кверху; а выдающийся вперед клюв, os sublime, послужил одним из важных поводов к ошибке христианского проповедника, принявшего их за людей.

Настоящий труд мой, следует признать, относится к истории в старом понимании этого слова — то есть в известной последовательности

излагает события, о коих сохранилась память, и указывает по мере возможности их причины и следствия, — так что принадлежит скорее к области искусства, чем науки. Существует мнение, что подобный метод перестал уже удовлетворять умы, требующие точных знаний, и что древняя Клио по нынешним временам попросту болтунья. И, разумеется, когда-нибудь появится история более достоверная, исследующая условия существования, устанавливающая, что производил и потреблял тот или иной народ в ту или иную эпоху в разных областях своей деятельности. Такая история будет уже не искусством, а наукой, соблюдая точность, старой истории недоступную. Но для этого необходимо множество статистических данных, коими народы — и, в частности, пингвины — до сих пор не располагают. Возможно, что современные нации дадут когда-нибудь материал для создания подобного рода истории. Что же касается прошлого, то, боюсь, придется ограничиваться и впредь повествованием на старый лад. Достоинства такого повествования зависят главным образом от проницательности и добросовестности рассказчика.

Как сказал один из великих писателей Альки, жизнь народа соткана из преступлений, бед-

ствий и безумств. Пингвиния в данном случае не исключение, однако в ее истории попадаются страницы, способные даже вызвать восторг, и надеюсь, я достаточно осветил их.

Долгое время пингвины отличались большой воинственностью. Один из них, а именно Жако Философ, оставил маленькую картинку их нравов, которую я приведу, — уверен, к удовольствию читателей:

«Мудрый Грациан объезжал Пингвинию во времена последних Драконидов. Однажды, углубившись в зеленеющую долину, где в чистом воздухе звенели колокольчики коровьего стада, он присел отдохнуть на скамью под сенью дуба, возле какой-то хижины. На пороге женщина кормила ребенка грудью; рядом другой ребенок, мальчик, играл с большой собакой; слепой старик, греясь на солнце, впивал полуоткрытыми устами теплоту ясного дня.

Хозяин дома, молодой человек богатырского сложения, предложил Грациану хлеба и молока.

Совершив сельскую трапезу, мудрец из страны дельфинов сказал:

— Благодарствуйте, милые жители милой страны! Как все у вас дышит весельем, сердечным согласием и миром!

В это время мимо прошел пастух, наигрывая на волынке какой-то марш.

— Что это за резкие звуки? — спросил Грациан.

— Это гимн, призывающий к войне с дельфинами, — ответил крестьянин. — У нас все поют его. Младенцы знают его прежде, чем научатся говорить. Все мы — истинные пингвины.

— Вы не любите дельфинов?

— Ненавидим!

— По какой же причине вы их ненавидите?

— Что за вопрос! Разве дельфины не соседи пингвинам?

— Соседи.

— Ну вот поэтому-то пингвины и ненавидят дельфинов.

— Разве это причина для ненависти?

— Разумеется. Сосед — значит, враг. Посмотрите на это поле, рядом с моим. Его хозяина я ненавижу больше всех на свете. После него злейшие враги мои — жители вон той деревни, что лепится по горному склону с другой стороны долины, пониже березовой рощи. В ущелье, стиснутом горами, только и есть что две деревни — наша и та; они и враждуют одна с другой. Стоит нашим парням встретиться с их парнями, как сейчас же начинается перебранка, а там и потасовка. И

вы хотите, чтобы пингвины не питали вражды к дельфинам. Неужели вы не понимаете, что такое патриотизм! Нет, из моей груди рвутся лишь клики: “Да здравствуют пингвины! Смерть дельфинам!”»

Тринадцать веков подряд пингвины вели войны против всех народов на свете — с неослабевающим пылом, хотя и с переменным успехом. Потом, за какие-нибудь несколько лет, они прониклись отвращением к тому, что так долго любили, и стали отдавать решительное предпочтение миру, выражая новые чувства, конечно, с подобающей сдержанностью, но от всей души. Их генералы прекрасно приспособились к новым веяниям; вся армия, офицеры, унтер-офицеры, рядовые, новобранцы и ветераны не за страх, а за совесть прониклись этим духом. Одни только бумагомараки и библиотечные крысы выражали недовольство, да безногие инвалиды все никак не могли утешиться по поводу такой перемены.

Упомянутый Жако Философ составил нечто вроде нравоучительного рассказа, где с большой комической силой были изображены разные деяния человечества; для этого рассказа он позаимствовал многие черты из истории своей собственной страны, своего народа. Некоторые

спрашивали его, зачем он создал эту карикатуру на историю человечества и какую пользу может она принести его родине.

— Превеликую пользу, — отвечал философ. — Когда мои соотечественники-пингвины узрят себя представленными на такой манер и лишенными всяких прикрас, они будут справедливее судить о своих деяниях и, быть может, станут разумнее.

Я старался не упустить в своей истории ничего, способного заинтересовать людей искусства. Они найдут здесь особую главу, посвященную пингвинской живописи Средних веков, и если мне не удалось развить эту тему с той полнотой, как хотелось бы, то не по моей вине, в чем можно убедиться, прочтя о страшном случае, описанием которого я и заканчиваю настоящее предисловие.

В июне прошлого года я возымел мысль посоветоваться по поводу происхождения и развития пингвинского искусства с незабвенным Фульгенцием Тапиром, просвещенным автором «Всеобщего летописания живописи, ваяния и зодчества».

Меня проводили к нему в кабинет, и за письменным столом с цилиндрической крышкой,

среди невероятного нагромождения бумаг, я увидел маленького человечка в золотых очках, беспрестанно мигающего подслеповатыми, чрезвычайно близорукими глазками.

Компенсируя недостаток зрения, он исследовал внешний мир своим длинным подвижным носом, наделенным тончайшей чувствительностью. При помощи этого органа Фульгенций Тапир и общался с царством красоты и искусства. Установлено, что во Франции музыкальные критики по большей части глухи, а критики в области живописи — слепы. Это помогает им самоуглубляться, что необходимо для эстетического мышления. Если бы Фульгенций Тапир обладал зрением, способным различать формы и краски, облекающие полную тайн природу, — разве достиг бы он, преодолев гору документов, опубликованных в печати и рукописных, вершины доктринального спиритуализма? Разве воздвиг бы он величайшую теорию, согласно которой искусство всех времен и народов в своем развитии устремлено было к единой высокой цели — Французскому Институту!

На стенах кабинета, на полу, даже под потолком громоздились кипы бумаг, чудовищно разбухшие папки, ящики, набитые неисчислимым

множеством карточек, — и, полный восхищения, а вместе с тем и ужаса, я созерцал эти хляби учености, готовые разверзнуться.

— Дорогой мэтр, — произнес я взволнованно, — прибегаю к вашей неисчерпаемой снисходительности и таким же неисчерпаемым познаниям. Не согласитесь ли вы руководить моими изысканиями в столь трудной области, как происхождение пингвинского искусства?

— Милостивый государь, — отвечал мне мэтр, — в моем распоряжении все искусство, да, да, все искусство, разнесенное на карточки в алфавитном порядке, а также по содержанию. Считаю своим долгом предоставить вам все относящееся к пингвинам. Поднимитесь на эту стремянку и выдвиньте вон тот ящик, наверху. Вы найдете в нем все, что вам надобно.

Я повиновался, весь дрожа. Но едва я выдвинул злополучный ящик, как из него посыпались голубые карточки и, скользя у меня между пальцев, полились дождем. Вслед за этим — видимо, из чувства солидарности — пооткрывались соседние ящики, и оттуда вырвались целые потоки карточек, розовых, зеленых, белых, а после этого один за другим все ящики стали извергать карточки разного цвета, и те с шумом хлынули вниз,

подобно горным водопадам апрельскою порой. В одну минуту пол покрылся толстым слоем бумаги. Изливаясь с возрастающим гулом из своих неисчерпаемых хранилищ, она все яростней обрушивалась с высоты. Утопая в ней по колени, Фульгенций Тапир при помощи своего внимательного носа следил за катаклизмом. Он понял причину происшедшего и побледнел от ужаса.

— Какие богатства искусства! — воскликнул он.

Я позвал его, наклонился, чтобы помочь ему взобраться на лестницу, начинавшую гнуться под ливнем. Слишком поздно! Подавленный, полный отчаяния, жалкий, потеряв свою бархатную ермолку и золотые очки, тщетно отбивался он коротенькими ручками от новых и новых волн, захлестнувших его по самые плечи. Вдруг налетел целый смерч карточек и закружил его в гигантском водовороте. На какую-то секунду в пучине промелькнула блестящая лысина ученого и его толстенькие ручки, затем бездна сомкнулась — ни звука, ни движения, а над нею продолжал бушевать потоп. Чтобы самому не утонуть подобным же образом на стремянке, я выскочил наружу, проломив верхнее стекло окна.

Киберон, 15 сентября 1907 г.

Книга первая
Происхождение

Глава I
Жизнь святого Маэля

Маэль, отпрыск камбрийского королевского рода, был на девятом году жизни отдан в Ивернское аббатство, ради книжного обучения, духовного и светского. В возрасте четырнадцати лет он отказался от наследства и принес обет служения Господу. Сообразно с монастырским уставом, он посвящал свое время пению гимнов, занятиям грамматикой и размышлениям над вечными истинами.

Вскоре же небесное благоухание возвестило всему монастырю о добродетелях нового инока. И когда преставился настоятель Ивернской обители, блаженный Галл, то молодой Маэль стал его преемником в управлении монастырем. Он устроил там школу, больницу, странноприимный дом, кузницу, мастерские всякого рода, судостроительные верфи, а также заставил монашескую братию распахать близлежащие земли. Он сам возделывал монастырский сад, обрабатывал металлы, наставлял послушников, и жизнь его текла безмятежно, подобно реке, отражающей

небо и несущей плодородие окрестным нивам.

На склоне дня сей служитель Господа имел обыкновение сидеть на краю обрывистого берега, в том месте, которое и поныне называют креслом св. Маэля. А внизу, у ног его, огромные скалы, похожие на черных драконов, поросшие зелеными и бурыми водорослями, выставляли навстречу пенистым волнам свои чудовищные груди. Он смотрел, как солнце опускается в океан, алое, будто вино причастия, и обагряет славной кровью своей облака в небесах и гребни морских волн. И праведник прозревал в этом образе тайну креста, на котором пролита была божественная кровь, облекшая всю землю царской багряницей. В открытом море виднелась темно-синяя полоса — берег острова Гад, где св. Бригита, принявшая пострижение от св. Мало, управляла женским монастырем.

Наслышанная о заслугах преподобного Маэля, Бригита высказала желание получить как драгоценнейший дар какое-либо изделие его рук. Маэль отлил для нее медный колокольчик и, закончив работу над ним, благословил его и бросил в море. И колокольчик, звеня, поплыл к берегам острова Гад, где св. Бригита, услышав над волнами медный звон, благоговейно приняла

дар и, в сопровождении своих духовных дщерей, под пение псалмов, торжественно перенесла его в монастырскую часовню.

Так праведник Маэль совершенствовался в добродетелях. Он уже прошел две трети жизненного пути и надеялся дождаться безмятежной кончины среди братий своих во Христе, как вдруг ему было знамение, возвещающее о том, что божественная мудрость располагает иначе и что Господь призывает его к трудам не столь мирным, но не менее славным.

Глава II
Апостольское призвание святого Маэля

Однажды, погруженный в раздумье, шел он по берегу спокойной маленькой бухты, защищенной, словно естественной плотиной, грядою скал, выдавшихся далеко в море, — и вдруг он увидел каменное корыто, плывущее по водам, подобно ладье.

А ведь в каменных чанах св. Гирек, великий св. Коломбан, шотландские и ирландские монахи отправлялись проповедовать Евангелие в Арморике. И еще недавно св. Авойя, прибыв из Англии, поплыла вверх по течению реки Орэ в ступе из розового гранита — той самой, куда впоследствии сажали детей, чтобы они росли сильными; святой же Вуга переправился из Иверниии в Корнуэльс на скале — потом ее обломки, сохранившиеся в Пенмархе, начали исцелять от лихорадки, стоило богомольцам приложиться к ним головой; св. Самсон приплыл в залив близ горы Св. Михаила в гранитном чане, впоследствии названном мисой св. Самсона. Вот почему при виде этого

каменного корыта св. Маэль понял, что Господь предназначил его для просвещения язычников, еще во множестве обитавших по бретонским островам и на побережье.

Он вручил свой ясеневый посох Будоку, человеку святой жизни, тем самым передавая ему управление обителью. Затем, захватив с собою каравай хлеба, бочонок пресной воды и святое Евангелие, сел в каменное корыто, и оно тихо поплыло с ним к острову Эдику.

На острове этом постоянно бушуют ветры. Бедняки ловят там рыбу в расщелинах между скалами и с трудом выращивают кое-какие овощи на песчаной и каменистой земле своих огородов, окруженных либо невысокой каменной стеною сухой кладки, либо тамарисковой изгородью. В лощине росла могучая смоковница, широко раскинувшая ветви. Островитяне поклонялись ей как божеству.

И сказал им Маэль, человек святой жизни:

— Вы поклоняетесь этому дереву, потому что оно прекрасно. Значит, вы чувствительны к красоте. Так вот, я пришел раскрыть перед вами красоту сокровенную.

И он проповедал им Евангелие. И, наставив их, окрестил солью и водой.

Морбиганские острова были в те времена многочисленнее, чем ныне. Ибо с тех пор многие из них погрузились в море. На шестидесяти островах проповедал св. Маэль христианскую веру. Затем в своем гранитном корыте он поднялся вверх по реке Орэ и после трехчасового плавания вышел на берег перед каким-то римским домом. Над крышей вился дымок. Святой переступил порог, украшенный мозаичным изображением собаки с ощеренными зубами и напряженными мускулами лап. Его приняли в этом доме престарелые супруги — Марк Комбаб и Валерия Мэренс, жившие плодами своей земли. Вокруг внутреннего двора высились колонны портика, снизу до половины выкрашенные в красный цвет. В стене был устроен фонтан из раковин, а под портиком стоял алтарь с нишей, куда хозяин дома поместил терракотовых идолов, побеленных известкой. Некоторые из них изображали крылатых детей, другие — Аполлона или Меркурия, а иные были в виде нагой женщины, выжимающей воду из волос. Разглядывая эти фигурки, св. Маэль нашел среди них изображение молодой матери с младенцем на коленях.

Тотчас же, указывая на нее, он сказал:

— Это Пресвятая Дева, Матерь Божья. Поэт

Вергилий возвестил о ней в Сивиллиных песнях еще до ее рождения и ангельским голосом воспел ее: «Jam redit et virgo»[3]. И среди язычников распространены были фигурки, пророчествующие о ней, подобно вот этой на твоем алтаре, о Марк! Она, без сомнения, была благосклонна к твоим скромным дарам. Таким-то образом все послушно следующие естественному закону уже подготовлены к тому, чтобы воспринять откровение истины.

Марк Комбаб и Валерия Мэренс, просвещенные этой речью, обратились в христианскую веру. Они приняли святое крещение вместе с их юной вольноотпущенницей Целией Авителлой, которую любили, как свет своих очей. В тот же день отреклись от язычества и были крещены все колоны.

Марк Комбаб, Валерия Мэренс и Целия Авителла посвятили с тех пор свою жизнь подвигам добродетели. А после праведной кончины были причислены церковью к лику святых.

Так на протяжении тридцати семи лет блаженный Маэль просвещал язычников внутренних областей. Его тщанием воздвигнуто было две-

---

[3] Примечания: 3
Дева вернулась уже (*лат.*).

сти восемнадцать часовен и семьдесят четыре монастыря.

Но вот однажды, пребывая в городе Ванн и проповедуя там Евангелие, прослышал он, что в его отсутствие иверские монахи отступили от устава св. Галла. Тотчас же, рьяный, как наседка, собирающая своих цыплят, поспешил он к заблудшим чадам своим. Ему шел тогда уже девяносто седьмой год; но, согбенный годами, он сохранял еще силу в руках, а звуки его голоса широко разносились вокруг, как зимний снег по глубоким долинам.

Аббат Будок вернул св. Маэлю ясеневый посох и поведал ему о том жалком состоянии, в коем находился монастырь. Монахи рассорились из-за того, когда надлежит праздновать Пасху. Одни стояли за римский календарь, другие — за греческий, и обитель раздирали ужасы хронологического раскола.

Царила в ней и другая причина беспорядков. Монахини острова Гад, в прискорбном забвении былой добродетели, то и дело подплывали в лодке к иверскому берегу. Монахи принимали их в странноприимном доме, и греховный соблазн распространялся все больше и больше, приводя в отчаяние благочестивые души.

Свое правдивое повествование аббат Будок закончил следующими словами:

— Появление этих инокинь погубило невинность и покой наших монахов.

— Готов этому поверить, — отвечал блаженный Маэль. — Ибо женщина — это ловко расставленная западня. Только почуял ее — и уже попался. Увы, восхитительная прелесть этих созданий издали действует еще сильнее, чем вблизи. И чем меньше они удовлетворяют страстное желание, тем больше внушают его. Именно потому и сказал поэт, обращаясь к одной из них:

> *Вы здесь – от вас бегу, вас нет – я снова с вами.*

Оттого-то мы и видим, сын мой, что приманки плотской любви более властны над отшельниками и монахами, нежели над мирянами. Бес похоти всю жизнь искушал меня разными способами, и самым сильным искушениям подвергался я вовсе не при встрече с какой-либо женщиной, даже прекрасной и благоуханной. Они порождались во мне образом женщины отсутствующей. Еще и поныне, на закате дней моих, когда я вступаю в девяносто восьмой год жизни, враг рода человеческого нередко вводит

меня в грех против целомудрия, по крайней мере в помыслах моих. По ночам, когда я зябну на своем ложе и старые кости мои глухо стучат одна о другую, я слышу чьи-то голоса, читающие мне второй стих Третьей книги Царств: «И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего, царя, молодую девицу, чтоб она предстояла царю и ходила за ним и лежала с ним, — и будет тепло господину нашему, царю». И диавол показывает мне отроковицу в расцвете первой юности, и она говорит мне: «Я — твоя Ависага. Я — твоя сунамитянка, господин мой, дай мне место на ложе твоем».

— Поверьте мне, — добавил старик, — только особая милость Божья помогает монаху блюсти целомудрие в делах и в помыслах.

Приступив к восстановлению в монастыре мира и чистоты нравов, он исправил календарь сообразно хронологическим и астрономическим исчислениям и обязал всех монахов отныне его придерживаться; падших духовных дочерей св. Бригиты он отослал в их обитель — однако не только не изгнал их с позором, но и велел проводить на корабль с пением псалмов и литаний.

— Окажем уважение им, как дщерям Бригиты и невестам Христовым! — говорил он. — Не

уподобимся фарисеям, лицемерно презирающим грешниц. Нужно унизить в этих женщинах грех, а не их самих, и заставить их стыдиться содеянного, а не самих себя: ведь они — создания Божьи.

И святой обратился к своим монахам с увещанием соблюдать монастырский устав.

— Когда над кораблями не властвует кормило, — говорил он, — над ними властвуют подводные скалы.

Глава III
Искушение святого Маэля

Не успел блаженный Маэль восстановить благочиние в Ивернском аббатстве, как до него дошла весть, что жители острова Эдика, первые его новообращенные, самые дорогие его сердцу, снова впали в язычество и снова стали вешать венки из цветов и шерстяные повязки на ветви священной смоковницы.

Лодочник, принесший это прискорбное известие, высказал опасение, как бы эти заблудшие не предали огню и разорению воздвигнутую на берегу острова часовню.

Святой решил незамедлительно навестить неверных чад своих, дабы вернуть их на стезю истинной веры и удержать от святотатственных бесчинств. Подойдя к бухте, где стояло на причале его каменное корыто, он обратил свои взоры на судостроительные верфи, уже тридцать лет как сооруженные им в глубине бухты и в этот час оглашаемые визгом пил и стуком молотков.

И тут диавол, неутомимый в своих кознях, вышел из верфей, приблизился к святому, приняв

обличье одного из монахов, по имени Самсон, и стал так искушать его:

— Отец мой, жители острова Эдика непрерывно предаются греху. С каждым мгновением они все больше удаляются от Бога. Они уже готовы предать огню и разорению часовню, воздвигнутую трудами славных рук твоих на берегу острова. Время не терпит. Не полагаешь ли ты, что твое каменное корыто быстрее пойдет по водам, если оснастить его как судно, снабдив рулем, мачтой и парусом? Ведь тогда тебе будет помогать ветер. Руки твои еще сохранили силу и способны управлять судном. А также неплохо бы к передней части твоего апостолического корыта приладить острый волнорез. В своей мудрости ты сам, должно быть, уже подумал об этом.

— Конечно, время не терпит, — отвечал святой старец. — Но поступить по твоему совету, сын мой Самсон, — не значит ли уподобиться маловерам, не желающим положиться на помощь Божью? Не значит ли это презреть дар самого Господа, пославшего мне каменное корыто без всякой оснастки и без паруса?

На этот вопрос диавол, превеликий богослов, ответил другим вопросом:

— Но, отец мой, похвально ли будет ждать

сложа руки помощи свыше и испрашивать все у Всемогущего, вместо того чтобы действовать по человеческому разумению, своими силами?

— Конечно, нет, — ответил св. Маэль. — Отказываться действовать по человеческому разумению — значит искушать Господа Бога.

— А в наших обстоятельствах, — продолжал диавол, — не велит ли человеческое разумение оснастить корыто?

— Это было бы так при невозможности другим способом поспеть вовремя к цели.

— Хе-хе, значит, твое корыто так быстроходно?

— Оно так быстроходно, как это угодно Господу Богу.

— Что ты об этом знаешь? Оно способно двигаться не быстрее, чем мул нашего аббата Будока. Это просто старый башмак. Разве нам возбраняется прибавить ему быстроты?

— Сын мой, доводы твои блестящи, но чрезмерно смелы. Не забывай, что корыто мое обладает чудесным свойством.

— Все это так, отец мой. Гранитное корыто, плавающее по воде, как пробка, несомненно обладает чудесным свойством. Но что из этого следует?

— Я в большом затруднении. Надлежит ли со-

вершенствовать человеческими, естественными средствами столь чудесное судно?

— Отец мой, если ты потеряешь правую ногу и Господь вернет ее тебе, будет ли такая нога чудесной?

— Несомненно, сын мой.

— Будешь ли ты обувать ее?

— Разумеется.

— Так вот, если ты допускаешь, что можно обувать в простой башмак чудесную ногу, то должен допустить и простую оснастку для чудесного судна. Это ясно как день! Ах, отчего даже у самых праведных людей дух подвержен порою затмению и нерешительности! Казалось бы, кто из вероучителей Бретани достиг большей славы, кто более способен свершать дела, достойные вечной хвалы?.. Но дух медлителен, и руки ленивы. Что ж, отец мой, прощай. Плыви себе полегоньку, а когда достигнешь наконец берегов Эдика, полюбуйся дымом пожарища на месте часовни, воздвигнутой и освященной твоими руками. Язычники сожгут ее — и с нею бедного диакона, поставленного тобою, который будет поджарен, как колбаса.

— Я в великом смущении, — отвечал слуга Господень, отирая рукавом выступивший на лбу

пот. — Но послушай, сын мой Самсон, ведь не так-то легко будет оснастить это каменное корыто. И, взявшись за такую работу, не потеряем ли мы время, вместо того чтобы выиграть его?

— Ах, отец мой, — воскликнул диавол, — не успеет один только раз просыпаться песок в часах, как все будет готово. Мы найдем необходимые снасти на верфях, некогда заложенных тобою здесь, на берегу, и на складах, обильно снабжаемых благодаря твоим заботам. Я собственноручно оснащу корыто. Ведь до поступления в монастырь я был матросом и плотником, да и на кое-что другое неплохим мастером. Приступим!

И вот он увлекает святого в сарай, полный всяких принадлежностей для мореплавания.

— Забирай, отец мой!

И взваливает ему на спину парус, мачту, гафель и гик. Затем, сам нагрузившись форштевнем и рулем с кормовой частью киля, прихватив мешок со столярным инструментом, бежит он к берегу, таща за полы святого мужа, а тот едва поспевает за ним, задыхаясь, весь в поту, согбенный под тяжестью паруса и деревянных снастей.

Глава IV
Плавание святого Маэля по Ледовитому океану

Подоткнув свою одежду к самым подмышкам, диавол вытащил корыто на песок, и не прошло и часу, как оснастил его.

Лишь только св. Маэль взошел на борт, корыто на всех парусах стало разрезать волны с такою быстротой, что берег вскоре исчез из виду. Старец правил на юг, намереваясь обогнуть Лендз-Энд. Но непреодолимое течение относило его к юго-западу. Проплыв вдоль южного берега Ирландии, судно вдруг повернуло к северу. Вечером ветер посвежел. Тщетно пытался Маэль свернуть парус. Корыто неистово неслось вперед, к баснословным морским далям.

В лунном свете пышнотелые северные сирены, с волосами цвета конопли, плавали вокруг, выставляя из воды свои белые груди и розовые бедра; они ударяли изумрудными хвостами по вспененным волнам под мерные звуки своей песни:

Куда тебя, кроткий Маэль,

Несет, обезумев, корыто?
Вздувается парус на нем —
Так грудь у Юноны вздымалась,
Млечный Путь в небесах оставляя.

Некоторое время они, при свете звезд, преследовали его гармоническим смехом. Но корыто шло во сто крат быстрее красной ладьи викинга, и буревестники, настигнутые на лету, запутывались лапами в волосах святого мужа.

Вскоре поднялась буря, и, гонимое яростным ветром сквозь мрак и вой, корыто летело, как чайка, среди тумана и клокочущих волн.

После этой ночи, длившейся трое суток, пелена мрака внезапно разорвалась. И вдали, на самом горизонте, святой муж увидел берег, сверкающий ярче алмаза. Берег рос на глазах, и вскоре, при ледяном свете солнца, застывшего низко в небе, перед Маэлем возник над волнами белый город с пустынными улицами; более обширный, чем стовратные Фивы, он далеко, насколько видит глаз, простирал развалины своего снежного форума, своих дворцов, одетых изморозью, хрустальных арок, обелисков, переливающихся перламутровым блеском.

Океан был весь в плавучих льдинах, среди кото-

рых ныряли моржи с диким и кротким взглядом. Пронесся Левиафан, извергая к самым облакам целый столб воды.

Между тем на ледяной глыбе, плывущей рядом с каменным корытом, Маэль увидел белую медведицу с медвежонком у груди и слышал, как она тихо прошептала стих из Вергилия: «Incipe, parve puer…»[4]

И старец заплакал, полный печали и смятения.

Бочонок с пресной водою лопнул, так как вода в нем замерзла. Чтобы утолить жажду, Маэль сосал льдинки. И ел хлеб, пропитанный соленой водою. Волосы в бороде и на голове его стали ломкими, как стеклянные. Обледенелая одежда при каждом движении царапала ему тело. Чудовищные волны поднимались вокруг, разверзая на старца свои покрытые пеной пасти. Раз двадцать лодку затопляло водой. Святое Евангелие в пурпурном переплете с золотым крестом, столь заботливо хранимое проповедником, было поглощено океаном.

Но вот, на тридцатый день, море успокоилось. И вдруг, под ужасающий грохот в небесах и на водах, ослепительно белая гора высотою в триста

---

[4] Примечания: 4
Маленький мальчик, начни… (*лат.*)

футов надвинулась на каменное корыто. Маэль правит в сторону, но румпель в руках его ломается. Чтобы избежать столкновения со скалой, он хочет свернуть часть паруса. Но когда он пытается подвязать линьки, ветер вырывает их у него из рук, и трос, резко выскальзывая, обжигает ему ладони нестерпимою болью. И он видит трех демонов с черными кожистыми крыльями, усеянными множеством крючков: повиснув на мачте, демоны дуют в парус.

При виде их он понимает, что поддался наущениям врага рода человеческого, и осеняет себя крестным знамением. И сразу же бешеный порыв ветра, в котором слышатся рыдания и вой, поднимает каменное корыто, уносит мачту и парус, срывает руль и волнорез.

И корыто, отнесенное течением в сторону, опустилось в спокойных водах. Преклонив колени, святой муж возблагодарил Господа за спасение из диавольской западни. Тут он снова увидел на ледяной глыбе медведицу-мать, говорившую человеческим голосом среди бури. Она прижимала к груди свое любимое дитя, а в лапах держала книгу в пурпурном переплете с золотым крестом. Подплыв на своей льдине к гранитному корыту, она приветствовала святого мужа словами: «Рах

tibi, Mael!»[5] — и протянула ему книгу.

Святой муж узнал свое Евангелие и, изумленный, огласил потеплевший воздух гимном во славу Творца и его творения.

[5] Примечания: 5
Мир тебе, Маэль! (*лат.*)

Глава V
Крещение пингвинов

Отнесенный течением в сторону, святой муж через час пристал к узкой береговой полосе, ограниченной островерхими горами. Целый день и целую ночь шел он вдоль берега, обходя скалы, высившиеся непреодолимой преградой. И таким образом убедился, что попал на округлый остров, посредине которого возвышалась увенчанная облаками гора.

С восторгом впивал он свежее дыхание влажного ветра. Шел дождь, и дождь этот был так сладостен, что святой муж сказал Господу:

— Господи, остров сей — остров слез покаянных.

Взморье было безлюдно. Изнемогая от усталости и голода, он сел на камень и увидел рядом с собою, в углублении камня, птичьи яйца, желтые, в черных крапинках и по размерам сходные с лебедиными. Но он не притронулся к ним, говоря:

— Птицы — живые славословия Господу. Не хочу, чтобы хоть одно из этих славословий исчезло по моей вине.

И стал жевать лишайники, росшие в расселинах камня.

Святой муж обошел уже почти весь остров, не встретив никаких обитателей, как вдруг обнаружил на своем пути обширную круглую площадь, замкнутую бурыми и рыжими скалистыми горами, которые звенели множеством водопадов и уходили голубоватыми вершинами под самые облака.

Глаза у старца были обожжены сиянием полярных льдов. Но все же набухшие веки пропускали еще слабый свет. И он различил каких-то живых существ, громоздившихся на выступах скал, подобно человеческой толпе на ступенях амфитеатра. А в то же время и уши его, оглушенные ревом морских волн, казалось, различили слабые звуки голосов. Полагая, что перед ним люди, еще живущие лишь по естественным законам, и что Господь послал его к этим людям, дабы наставить их в законе божеском, он стал проповедовать им Евангелие.

Взобравшись на высокий камень посередине этого природного амфитеатра, он обратился к ним со словами:

— Островитяне! Хоть вы и малорослы, но больше похожи на сенаторов некоего благоустро-

енного государства, чем на толпу рыболовов и моряков. Степенные, молчаливые, спокойные, вы на своем собрании посреди этих диких скал подобны римским отцам города, сошедшимся на совещание в храм Победы, или, скорей, даже афинским философам, дискутирующим на скамьях Ареопага. Конечно, вы не обладаете ни их ученостью, ни их дарованиями, но, быть может, в глазах Господа нашего вы их и превосходите. Я догадываюсь, что вы простодушны и добры. Обойдя берега вашего острова, я не обнаружил ни следов смертоубийства, ни признаков кровопролития, ни вражеских голов или скальпов, вздетых на высокие шесты или пригвожденных к сельским воротам. Мне кажется, вы не знаете ремесел и не обрабатываете металлов. Но сердца ваши чисты, и руки не запятнаны греховными делами. И истина легко проникает к вам в души.

Однако те, кого он принял за людей, хоть и малорослых, но степенных, были пингвинами, собравшимися на птичий базар, как это бывает весною, — они сидели парами на естественных выступах скалистой горы, а большие белые животы придавали им величественную осанку. Порою они взмахивали своими короткими, похожими на руки крыльями и мирно покрикивали. Они не

боялись людей, так как не знали их и никогда не видели от них зла, а от этого монаха веяло такой кротостью, что он внушал доверие самым пугливым животным — и пингвинам чрезвычайно понравился. С дружественным любопытством каждый из них обратил к нему свой круглый глазок с белой овальной каемкой, удлиняющей его спереди и придающей взгляду нечто странное и как бы человеческое.

Тронутый их невозмутимым спокойствием, святой стал проповедовать им Евангелие:

— Островитяне, сей земной день, только что взошедший над вашими скалами, есть образ духовного дня, восходящего в душах ваших. Ибо я несу вам внутренний свет; несу свет и тепло духовные. Подобно тому как солнце растапливает ледники у вас на горах, Иисус Христос растопит лед сердец ваших.

Так говорил старец. А всюду в природе один голос вызывает в ответ другой, и все живое на земле любит песенную перекличку — вот почему на слова старца откликнулись все пингвиньи глотки. И голоса были нежны, так как это время года для пингвинов — пора любви.

Святой, убежденный, что пред ним племя идолопоклонников и что они на своем языке

признали истинность христианской веры, тут же предложил им принять крещение.

— Полагаю, что вы часто купаетесь, — сказал он им. — Ведь все впадины этих скалистых гор полны чистой воды, и я сам, идя сюда, видел, как многие из вас погружались в эти естественные купели. Так знайте же, что чистота телесная есть образ чистоты духовной.

И он поведал им о происхождении, природе и последствиях крещения.

— Крещение, — объяснил он, — это Присоединение, Возрождение, Восстановление, Просвещение.

И растолковал им это по пунктам.

А затем, предварительно благословив воду горных водопадов и творя очистительные молитвы, он окрестил новообращенных, пролив каждому на голову каплю воды и произнеся при этом священные слова.

Так крестил он птиц три дня и три ночи.

Глава VI
Совещание в раю

Когда вести о крещении пингвинов дошли до рая, они вызвали там не радость, не печаль, но крайнее удивление. Сам Господь Бог не знал, как быть. Он созвал ученых и богословов, чтобы обсудить с ними вопрос, имеет ли такое крещение силу.

— Никакой! — заявил св. Патрик.

— Почему никакой? — спросил св. Галл, просветитель Корнуэльса, воспитавший святого мужа Маэля для апостольских трудов.

— Таинство крещения недействительно, — отвечал св. Патрик, — если оно совершено над птицами, подобно тому как недействительно таинство брака, если оно совершено над евнухом.

Но св. Галл возразил:

— Что же общего между крещением птиц и браком евнуха? Ровно ничего! Брак есть таинство условное, так сказать, предвосхищающее. Священник заранее благословляет некий акт; совершенно очевидно, что в случае, если этот акт не осуществится, благословение не будет иметь

действия. Это каждому ясно. В земной своей жизни я знавал в городе Антриме богатого человека по имени Садок. Он состоял в сожительстве с одной женщиной и прижил с нею девять детей. В старости, уступая моим увещаниям, он согласился обвенчаться с нею, и я благословил их союз. К несчастью, преклонные лета не позволили Садоку осуществить этот брак. Немного времени спустя он лишился всех своих богатств, и Гермина (так звали женщину), будучи не в силах выносить такую нужду, просила о расторжении брака, оставшегося неосуществленным. Папа исполнил эту просьбу, ибо она была справедлива. Вот как обстоит дело с таинством брака. Что же касается крещения, то оно не ограничено никакими условиями и оговорками. Не может быть сомнений: таинство над пингвинами совершено.

Когда попросили поделиться своим мнением по этому поводу св. Дамасия, папу, он высказался следующим образом:

— Чтобы определить, имеет ли крещение силу и вызовет ли оно нужные последствия, то есть освятит ли крещаемых, следует знать, кто его совершает, а не над кем оно совершается. В самом деле, освящение, происходящее при этом таинстве, есть результат внешнего действия,

совершенного над крещаемым, меж тем как сам он в своем освящении не принимает никакого участия; будь это иначе, не крестили бы новорожденных. И чтобы крестить, нет надобности в каких-либо особых условиях, нет необходимости пребывать в состоянии благодати — достаточно возыметь намерение поступить сообразно с указаниями церкви: произнести священные слова и исполнить предписываемый обряд. А нельзя сомневаться в том, что преподобный Маэль соблюл все эти условия. Следовательно, пингвины крещены.

— Вот как? — спросил св. Гвенолий. — Тогда, по-вашему, что ж такое крещение? Крещение — это акт обновления, при котором крещаемый вновь рождается из воды и духа, ибо, войдя в воду весь запятнанный грехами, он выходит из нее новопосвященным христианином, совершенно другим существом, предуготовленным к подвигам праведности; в крещении, как в зерне, заключено бессмертие; крещение — залог воскресения; крещение есть сопогребение с усопшим Христом и совосстание с ним из гроба. Сей дар — не для птиц! Посудите сами, отцы! Крещением смывается первородный грех, но ведь пингвины не зачаты в грехе; оно освобождает от наказа-

ния за грехи, но ведь пингвины не грешат; оно осеняет благодатью и готовит к добродетельной жизни, соединяя христиан с Иисусом Христом, как части тела соединены с головою, но ведь нельзя допустить и мысли, чтобы пингвины могли украшаться добродетелями наподобие христианских исповедников, дев и вдовиц, могли осеняться благодатью и приобщаться к…

Св. Дамасий не дал ему окончить.

— Это доказывает только, что крещение было напрасно, — живо заметил он, — но отнюдь не доказывает, что оно недействительно.

— Однако в таком случае, — отвечал ему св. Гвенолий, — можно крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа погружением в воду или окроплением не только птиц и четвероногих, но также и неодушевленные предметы — статуи, столы, стулья и тому подобное. И такое животное стало бы христианином, такой идол, такой стол были бы христианами? Что за нелепость!

Затем взял слово св. Августин. Его выслушали в глубоком молчании.

— Я сейчас покажу вам на примере могущество ритуала, — сказал пламенный епископ Гиппонский. — Правда, дело идет о заклятии диавольском. Но если установлено, что ритуал,

внушенный диаволом, оказывает действие на неразумных животных или даже на неодушевленные предметы, как же усомниться в том, что священный ритуал оказывает действие на разум животных и на косную материю? Вот пример.

При жизни моей была в городе Мадавре, на родине философа Апулея, одна волшебница, умевшая привлекать к себе на ложе любого мужчину: для этого ей достаточно было сжечь на своем треножнике несколько волосков с головы ее избранника, подкладывая при этом в огонь какие-то травы и произнося какие-то слова. Но однажды, пожелав таким способом добиться любви некоего юноши, она введена была в обман своею служанкой и вместо волосков с головы юноши сожгла клочок шерсти, выдернутый из козлиной шкуры, которая служила кабатчику мехом для вина. И вот ночью мех этот, полный вином, сорвался со стены и проскакал через весь город прямо к порогу волшебницы. Случай совершенно достоверный. В таинстве, как и в волшебстве, все зависит от соблюдения формы. Действие божественного ритуала не может быть слабее и ограниченней, чем действие ритуала адского.

Высказавшись таким образом, великий Августин сел на свое место под шум рукоплесканий.

Какой-то блаженный муж преклонных лет и унылого вида попросил слова. Никто не знал его. Он звался Пробом и не числился в списке канонизированных святых.

— Прошу прощения у почтенных слушателей. У меня нет ореола, и я не прославлен блестящими подвигами, хоть и достиг вечного блаженства. Но после всего сказанного великим святым Августином я считаю уместным поделиться с вами собственным жестоким опытом, благодаря которому я узнал, чем обусловлена действенность таинства. Справедливо сказал епископ Гиппонский: в таинстве все зависит от ритуала. В ритуале — его сила, в ритуале и его слабость. Выслушайте, исповедники и священнослужители, мою горестную повесть. Я был священником в Риме, в правление императора Гордиана. Не отличаясь выдающимися заслугами, подобными вашим, я все же с благоговением отправлял свои священнические обязанности. Сорок лет священствовал я при церкви Святой Модесты-за-стенами. Жизнь моя протекала размеренно. Каждую субботу я ходил к кабатчику по имени Бархас, занимавшему со своими амфорами помещение у Капенских ворот, и покупал у него вино, дабы освящать его ежедневно всю неделю.

За долгий срок моего священства не случилось ни разу, чтобы я не отслужил утром обедни с пресуществлением святых даров. И, однако, я не знал радости, и тоска стесняла мне сердце, когда я вопрошал на ступенях алтаря: «Отчего ты печальна, душа моя, и отчего смущаешь меня?» Приобщая верующих, я испытывал постоянные огорчения, ибо, можно сказать, еще ощущая на языке вкус тела и крови Христовой, полученных из моих рук, они снова впадали в грех, как если бы таинство не имело силы и не оказывало на них никакого действия. Наконец исполнились сроки земных испытаний моих, и я, опочив в Господе, пробудился в блаженных селениях. И вот тогда из уст ангела, перенесшего меня сюда, услышал я, что кабатчик Бархас продавал у Капенских ворот под видом вина какой-то отвар из овощей и древесной коры, в котором не содержалось ни капли виноградного сока; что я не мог претворять такое варево в кровь, ибо это было не вино, — а одно лишь вино претворяется в кровь Христову; что, следовательно, и совершаемое мною таинство не имело силы, а я с моею паствой, сами того не ведая, на протяжении сорока лет лишены были таинства евхаристии — и, значит, по существу, отлучены от церкви. Я был поражен таким откры-

тием, и поныне угнетающим меня в сих райских селениях. Я непрестанно обхожу их от начала до конца, но не встречал еще здесь ни одного из тех, кому некогда давал причастие в базилике блаженной Модесты.

Лишенные хлеба небесного, они были бессильны противостоять самым отвратительным порокам и все попали в ад. Утешаю себя мыслию, что и кабатчик Бархас осужден на адские муки. В этом есть логика, достойная создателя всяческой логики. Тем не менее мой горестный пример показывает, как бывает иногда прискорбно, что в таинствах форма важнее содержания. И я смиренно вопрошаю: не может ли мудрость предвечного оказать здесь целебное действие?

— Нет, — отвечал Господь. — Лекарство опаснее самой болезни. Если бы для спасения души содержание имело больше силы, чем форма, это означало бы уничтожение священства.

— Увы, Господи, — со вздохом промолвил смиренный Проб, — поверьте моему печальному опыту: сводя таинства к соблюдению ритуала, вы создаете ужасающие помехи своему правосудию.

— Знаю лучше вас! — отвечал Господь. — Я охватываю одним взором и трудные задачи нынешних времен, и задачи времен грядущих, не

менее трудные. И вот могу возвестить вам, что, когда Солнце совершит еще двести сорок раз свой путь вокруг Земли…

— Какой возвышенный язык! — воскликнули ангелы.

— И достойный Творца Вселенной! — поддержали священнослужители.

— Такие обороты речи связаны с моей старой космогонией, — заметил Господь, — и, если я откажусь от нее, это нанесет ущерб моей неизменности… Итак, когда Солнце совершит еще двести сорок раз свой путь вокруг Земли, в Риме не останется ни одного ученого, знающего латинский язык. В церквах, при пении литаний, будут взывать к святым Орихилу, Рогуилу и Тотихилу — имена же эти, как вам известно, суть имена диавольские, а не ангельские. Многочисленные воры, желая причаститься, но опасаясь, что их заставят для прощения грехов отдать похищенное в церковь, предпочтут исповедоваться у бродячих священников, которые, не зная ни итальянского, ни латинского языка и говоря только на своем деревенском наречии, будут ходить по городам и весям, отпуская грехи за ничтожную плату, а то и просто за бутылку вина. По всей вероятности, подобные отпущения не будут иметь к нам ника-

кого касательства, как полученные без раскаяния и по этой причине недействительные; но крещения, весьма возможно, еще доставят нам немало забот. Священники станут до такой степени невежественны, что начнут крестить младенцев «во имя отцов, сынов и святых духов», о чем сообщит не без удовольствия Луи де Поттер в третьем томе своей «Философской, политической и критической истории христианства». Разрешать вопрос о действительности такого рода крещения окажется весьма нелегко, ибо если в Священном Писании я мирюсь с греческим языком, далеко уступающим в изяществе языку Платона, и с латынью, отнюдь не цицероновской, но все-таки не могу же я принять в качестве литургического текста полную тарабарщину! Нельзя без содрогания подумать, что такие неправильности будут допущены по отношению к миллионам новорожденных. Но вернемся к нашим пингвинам.

— Ваши божественные речи, о Господи, уже подвели нас снова к этому вопросу, — сказал св. Галл. — В религиозных символах и правилах, от которых зависит спасение души, форма безусловно важнее содержания, и действительность таинства зависит исключительно от формы. Следовательно, нужно только знать, была ли

соблюдена форма при крещении пингвинов: да или нет? Ответ совершенно ясен.

Отцы и ученые-богословы согласились со св. Галлом, но это привело их к еще большему замешательству.

— Обращение пингвинов в христианство сопряжено для них с немалыми трудностями, — сказал св. Корнелий. — Ведь этим птицам надо будет заботиться о своем вечном спасении. Как же они могут его достигнуть? Птичьи нравы во многих отношениях противоречат предписаниям церкви. А у пингвинов нет разумных оснований эти нравы изменять. То есть, я хочу сказать, пингвины недостаточно разумны, чтобы стать благонравными.

— Они не могут измениться, — сказал Господь. — Этому препятствуют мои предначертанья.

— А вместе с тем, — продолжал св. Корнелий, — будучи крещены, они теперь отвечают за свое поведение. Оно станет отныне либо хорошим, либо дурным, достойным похвалы или порицания.

— Да, именно так стоит вопрос, — сказал Господь.

— Я вижу один только выход, — сказал св. Августин. — Пингвины пойдут в ад.

— Но ведь у них нет души, — возразил св. Ириней.

— Досадно, — со вздохом сказал св. Тертуллиан.

— Что и говорить! — согласился св. Галл. — Приходится признать, что праведный Маэль, ученик мой, в слепом рвении своем, создал для Святого Духа немалые трудности богословского характера и погрешил против порядка совершения таинств.

— Легкомысленный старик! — воскликнул, пожимая плечами, св. адъютор Эльзасский.

Но Господь укоризненно взглянул на адъютора и сказал ему:

— Позвольте, позвольте! Ведь святой Маэль, в отличие от вас, блаженный муж, не наделен дарованным свыше знанием. Я недоступен его лицезрению. Он обременен старческими немощами, наполовину глух и на три четверти слеп. Вы слишком суровы к нему. Но признаю, положение в самом деле весьма затруднительно.

— К счастью, это трудность преходящая, — сказал св. Ириней. — Пингвины получили крещение, но их будущие птенцы не получат его, так что ошибка затрагивает лишь нынешнее поколение.

— Не говорите так, сын мой Ириней, — попра-

вил его Господь. — Законы, устанавливаемые естествоиспытателями на земле, допускают возможность исключений, ибо они несовершенны и не вполне соответствуют природе вещей. Но законы, установленные мною, совершенны и не терпят никаких исключений. Надлежит решить участь крещеных пингвинов таким образом, чтобы ни в чем не нарушить божественных законов и десяти заповедей, а равно и предписаний моей церкви.

— Господи, даруйте им бессмертную душу, — предложил св. Григорий Назианзин.

— Увы, Господи, что им делать с нею? — вздыхая, заметил Лактанций. — Ведь нет у них приятного голоса, чтобы воспевать вам хвалу. Они не в состоянии будут совершать святые таинства.

— Они, конечно, не будут соблюдать божественного закона, — поддержал св. Августин.

— Они не в состоянии будут соблюдать его, — сказал Господь.

— Не в состоянии, — повторил св. Августин. — И если вы, Господи, в великой мудрости своей, вдохнете в них бессмертную душу, они пойдут в огонь вечный, согласно с вашими благими предначертаниями. И таким образом верховный порядок, нарушенный этим старым камбрийцем,

восстановится.

— Вы предлагаете мне верное решение, сын Моники, вполне согласное с моей мудростью, — сказал Господь. — Но оно не удовлетворяет моего милосердия. А я, хоть и неизменный в своей сущности, с течением времени все более склоняюсь к кротости. Чтобы почувствовать эти изменения в моем характере, достаточно сравнить Ветхий Завет с Новым.

Так как прения затянулись, не внося в вопрос никакой ясности, и блаженные мужи обнаруживали склонность повторяться, — решено было посоветоваться со св. Екатериной Александрийской. Так обычно поступали во всех затруднительных случаях. Св. Екатерина при земной жизни своей поставила в тупик пятьдесят ученейших богословов. Она одинаково хорошо знала как Священное Писание, так и философию Платона и владела искусством риторики.

Глава VII
Совещание в раю
(Продолжение и окончание)

Святая Екатерина явилась на совещание в венце, украшенном изумрудами, сапфирами и жемчугом, и в платье из золотой парчи. Сбоку она держала пылающее колесо — подобие того, которое осколками своими поразило ее мучителей.

Господь спросил ее мнения, и она сказала следующее:

— Господи, чтобы разрешить задачу, милостиво предложенную мне вами, я не стану подвергать разбору нравы животных вообще и птиц — в частности. Я позволю себе только обратить внимание ученых-богословов, исповедников и священнослужителей, здесь собравшихся, на то обстоятельство, что между человеком и животным нет резкого разделения, поелику существуют чудовища, совмещающие в себе оба эти начала. Таковы химеры — полунимфы и полузмеи; таковы три горгоны; таковы козлоногие; таковы сциллы и сирены, поющие на море. Ведь у последних грудь женская, а хвост рыбий.

Таковы и кентавры: они до пояса — люди, а ниже — лошади. Это благородные чудовища. Вам, конечно, известно, что один из них, ведомый лишь собственным своим разумом, достиг вечного блаженства, и порою можно видеть, как он круто выгибает доблестную грудь свою среди золотых облаков. За свои земные труды кентавр Хирон удостоился быть причисленным к лику блаженных. Он был воспитателем Ахиллеса; и этот юный герой, выйдя из-под начала кентавра, провел два года в девичьих одеждах, среди дочерей царя Ликомеда. Он разделял с ними игры и ложе, не дав повода хотя бы на мгновение заподозрить, что он не юная дева, подобная им. Хирон, воспитавший его столь добродетельным, — единственный праведник, если не считать императора Траяна, достигшего славы небесной соблюдением одного только естественного закона. А ведь Хирон был лишь наполовину человек.

Полагаю, этим примером я доказала, что можно достигнуть вечного блаженства, обладая хоть частью человеческого тела, лишь бы это была часть благородная. И неужели то, чего достиг кентавр Хирон даже без обновляющей силы крещения, будет недостижимо для крещеных пингвинов, если только превратить их в полупингвинов-полу-

людей?! А посему умоляю вас, Господи, даровать пингвинам старца Маэля человеческую голову и стан, дабы они могли достойным образом воздавать вам хвалу, и наделить их бессмертными душами, однако лишь небольшого размера.

Так говорила св. Екатерина, и Отцы Церкви, ученые-богословы, исповедники и священнослужители сопровождали ее речь одобрительным шепотом.

Но св. Антоний, отшельник, поднявшись, воскликнул, простирая ко Всевышнему узловатые красные руки:

— Не делайте этого, Господи Боже мой! Заклинаю Духом Святым, не делайте этого!

В пылу речи он тряс длинной белой бородой, как голодная лошадь трясет подвешенной к морде пустою торбой.

— Не делайте этого, Господи! Да и птицы с человечьей головой — это уже существует. Воображение святой Екатерины не создало ничего нового.

— Воображение соединяет и сопоставляет, оно ничего не создает вновь, — сухо заметила св. Екатерина.

— …Это уже существует, — продолжал св. Антоний, не желая ничего слушать. — Такие создания

зовутся гарпиями, они — самые непристойные твари во всей вселенной. Однажды, когда у меня в пустыне ужинал игумен святой Павел, я накрыл стол у порога своей хижины, под сенью старой смоковницы. На ее ветви слетелись гарпии; они оглушали нас своим пронзительным криком и все время гадили нам в пищу. Несносные чудовища помешали мне выслушать поучения игумена святого Павла, и мы вкушали хлеб наш и латук вместе с птичьим пометом. Да как же поверить, чтобы гарпии могли достойно воздавать вам хвалу, о Господи!

Подвергаясь искушениям, я, конечно, видел немало существ, являвших собою самые странные помеси. Я видел не только женщин-змей и женщин-рыб, но еще более нелепые сочетания, как, например, людей с телами в виде кастрюли, колокола, башенных часов, поставца, полного съестных припасов и посуды, а то и целого дома с дверями и окнами, через которые можно было разглядеть обитателей, занятых домашней работой. Не хватит вечности, чтобы описать всех чудовищных существ, осаждавших меня в моем пустынножительстве, — от китов, оснащенных подобно кораблям, до целого ливня красных козявок, обращавших воду моего колодца в

кровь. Но ни одна из этих тварей не была так отвратительна, как гарпии, спалившие своими испражнениями листву моей прекрасной смоковницы.

— Гарпии — чудовища женского пола с птичьим телом, — заметил Лактанций. — От женщины у них голова и грудь. Женская природа гарпий — источник их наглости, бесстыдства и похотливости, как показал поэт Вергилий в своей «Энеиде». Они сопричастны проклятию, тяготеющему над Евой.

— Не будем больше упоминать об этом проклятии, — сказал Господь. — Вторая Ева искупила грех первой.

Павел Орозий, автор «Всемирной истории», впоследствии нашедший подражателя в лице Боссюэ, поднялся и стал умолять Господа:

— Господи! Внемлите моим мольбам и мольбам Антония. Перестаньте измышлять чудовищ наподобие кентавров, сирен и фавнов, столь любезных грекам, собирателям всяких басен. Вам они не доставят ни малейшего удовлетворения. У таких чудовищ языческие наклонности, и, в силу двойственной природы своей, они не предрасположены к чистоте нравов.

Сладчайший Лактанций возразил на это следу-

ющим образом:

— Мы только что выслушали того, кто является в раю, несомненно, лучшим историком, поскольку Геродот, Фукидид, Полибий, Тит Ливий, Веллей Патеркул, Корнелий Непот, Светоний, Манефон, Диодор Сицилийский, Дион Кассий и Лампридий лишены лицезрения Божия, а Тацит подвергается в аду мукам, положенным за богохульство. Но Павел Орозий далеко не так хорошо знает небеса, как землю. Ибо он не подумал о том, что ангелы, соединяющие в себе человеческое и птичье начала, — сама чистота.

— Мы отклонились от темы, — сказал Предвечный. — При чем тут ваши кентавры, гарпии, ангелы! Дело касается пингвинов.

— Воистину так, Господи, дело касается пингвинов! — воскликнул старейшина пятидесяти ученых мужей, при земной своей жизни поставленных в тупик александрийскою девой. — И я осмеливаюсь выразить мнение, что, дабы прекратить соблазн, смутивший даже небеса, необходимо, как предлагает святая Екатерина, некогда поставившая нас в тупик, даровать пингвинам старца Маэля человеческое тело половинной величины и вечную душу соответствующего размера.

После этой речи в собрании поднялся великий шум от всяких рассуждений и ученых споров. Греческие Отцы Церкви яростно спорили с римскими относительно сущности, природы и размеров души, которую надлежало дать пингвинам.

— Исповедники и священнослужители! — воскликнул Господь. — Не уподобляйтесь конклавам и синодам земным. Не переносите в церковь торжествующую те страсти, что смущают церковь воинствующую. Ибо следует признать, что на всех боговдохновенных соборах в Европе, Азии и Африке благочестивые отцы вцеплялись друг другу в бороды. Но все же они были непогрешимы, ибо я пребывал с ними.

Порядок был восстановлен. Тогда встал старец Гермий и медленно заговорил:

— Слава тебе, Господи, за то, что твоим произволением мать моя Сафира родилась среди твоего народа в те дни, когда небесная роса освежала землю, готовую породить своего спасителя. И еще слава тебе, Господи, за то, что ты дал моим смертным очам увидеть апостолов твоего божественного сына. Произнесу слово свое в этом блестящем собрании, ибо, по воле твоей, устами смиренных глаголет истина. И скажу: преврати этих пингвинов в людей. Только такое решение

достойно твоей справедливости и твоего милосердия.

Многие ученые мужи стали просить слова. Другие брали, не спрашивая. Никто никого не слушал, и все исповедники шумно размахивали пальмовыми ветвями и венками.

Господь мановением десницы утихомирил своих избранных.

— Довольно! — сказал он. — Мнение, высказанное кротким старцем Гермием, одно только согласуется с моими извечными предначертаниями. Эти птицы будут превращены в людей. Предвижу немало осложнений. Многие из таких людей запятнают себя проступками, которые не были бы вменены им в вину, останься они птицами. В связи с превращением участь их, несомненно, будет менее завидна, чем она была бы без крещения и присоединения к семье Авраамовой. Но, как надлежит, мое предвидение не исключает их свободной воли. Дабы не стеснять человеческой свободы, я остаюсь в неведении о том, что знаю, я плотно завешиваю себе очи пеленой, мною самим разорванной, и, в слепой своей прозорливости, дивлюсь тому, что пред-видел.

Затем, призвав к себе архангела Рафаила, сказал ему:

— Лети к святому мужу Маэлю, объясни ему, в какую он впал ошибку, и повели, чтобы именем моим он превратил пингвинов в людей.

Глава VIII
Превращение пингвинов

Спустившись на остров пингвинов, архангел застал святого мужа спящим в углублении между скалами, среди своих новых учеников. Он положил ему руку на плечо и, пробудив его, сказал тихим голосом:

— Не бойся, Маэль!

Святой муж, ослепленный ярким светом, опьяненный дивным благоуханием, понял, что это ангел Господень, и простерся ниц.

И тогда ангел сказал:

— Узнай, Маэль, что ты впал в ошибку: думая окрестить детей Адамовых, ты окрестил птиц; и вот из-за тебя пингвины присоединены к церкви Божией.

Услышав это, старец остолбенел.

Ангел же продолжал:

— Встань, Маэль, вооружись всесильным именем Божиим и повели этим птицам: «Станьте людьми!»

И святой Маэль после слезной молитвы вооружился всесильным именем Божиим и повелел

птицам:

— Станьте людьми!

Тотчас вслед за этим пингвины преобразились. Лоб у них раздался в ширину, а череп стал выпуклым, как купол церкви Св. Марии Округлой, что в городе Риме. Удлиненные глаза их широко раскрылись на мир божий; мясистый нос облек щели ноздрей; клюв превратился в рот, и оттуда послышались слова; шея стала короче и толще, крылья преобразились в руки, а лапы — в ноги; грудь стала обиталищем беспокойной души.

Все же в них остались кое-какие следы первоначальной их природы. Они не утратили привычки поглядывать искоса; при ходьбе продолжали раскачиваться на своих коротких ножках; на теле у них сохранился легкий пушок.

Маэль возблагодарил Господа за присоединение этих пингвинов к семье Авраамовой.

Но он скорбел при мысли о том, что вскоре навсегда покинет этот остров и что без него, быть может, вера пингвинов, оставленная без попечения, погибнет, подобно слишком молодому и слишком слабому деревцу. И он задумал переместить их остров к берегам Арморики.

— Пути вечной премудрости Божией неисповедимы, — рассудил он. — Но если Богу угодно,

чтобы остров был перемещен, кто может этому воспрепятствовать!

И изо льна епитрахили своей он сплел тоненькую веревку длиною в сорок футов. Одним концом веревки он обвязал верхушку скалы, торчавшей среди прибрежных песков, другой конец взял в руки и так вошел в свое каменное корыто. Корыто заскользило по морю и потащило остров пингвинов за собою. После девятидневного плавания оно вместе с островом благополучно достигло бретонских берегов.

Книга вторая
Древние времена

Глава I
Первые одежды

В тот день св. Маэль сел на берегу океана на камень и почувствовал, что камень горяч. Он решил, что это от солнца, и возблагодарил Создателя, не подозревая, что здесь только что сидел диавол.

Проповедник стал ждать прибытия ивернских монахов, коим поручено было доставить большой груз тканей и шкур, дабы одеть жителей острова Альки.

Вскоре он увидел, как на берег сошел монах по имени Магис с сундуком на спине. Монах этот славился святой жизнью.

Приблизившись к старцу, он поставил сундук на землю и сказал, отирая лоб рукавом:

— Так, значит, отец мой, вы хотите одеть своих пингвинов?

— Это крайне необходимо, сын мой, — отвечал ему старец. — С тех пор как пингвины присоединены к семье Авраамовой, они причастны проклятию, тяготеющему над Евой, и сознают свою наготу, чего раньше не было. Следует неза-

медлительно всех одеть, ибо у них уже сходит с тела пушок, оставшийся после превращения.

— Это верно, они голы, — сказал Магис, оглядывая берег, где пингвины были заняты ловлей креветок или собиранием ракушек, а то пели песни или спали. — Но как вы полагаете, отец мой, не лучше ли оставить их голыми? Зачем их одевать? Нося одежды и подчиняясь законам нравственности, они возгордятся, станут лицемерными и слишком жестокими.

— Неужели, сын мой, ты такого низкого мнения о законах нравственности! — со вздохом сказал старец. — Ведь им подчиняются даже язычники.

— Законы нравственности, — заметил Магис, — обязывают людей, каковые суть те же звери, жить не по-звериному, — это для них тягостно, но в то же время весьма лестно и успокоительно. А так как люди чванливы, трусливы и падки на удовольствия, они охотно подчиняются принуждениям нравственности, ибо это тешит их самолюбие и внушает им уверенность в нынешнем дне, а также надежду на будущее блаженство. Такова основа всякой нравственности… Но не будем отклоняться в сторону. Мои спутники сгружают на этот остров ткани и звериные шкуры. Пока есть еще время, подумайте

хорошенько, отец мой! Решение одеть пингвинов может привести к весьма важным последствиям. В настоящее время, когда какой-нибудь пингвин пожелает пингвинку, ему точно известно, чего он желает, и его вожделения ограничены вследствие ясного представления о вожделенном. Вот и сейчас, на берегу, две-три четы пингвинов на солнышке предаются любви. Смотрите, с какой простотой это делается! Никто не обращает на них внимания, да и сами они не так уж увлечены всем этим. Но когда пингвинки облекут себя покровами, пингвины уже не так хорошо будут отдавать себе отчет в том, что же их привлекает. Их неясные желания превратятся в грезы и иллюзии — словом, отец мой, они познают любовь и ее безумные муки. А между тем пингвинки будут опускать глазки и поджимать губки с таким видом, как будто скрывают под своими одеждами некое сокровище… Тошно подумать!

Зло будет еще терпимо, пока жизнь этих племен останется грубой и скудной; но погодите, отец мой, через какую-нибудь тысячу лет вы увидите, сколь опасным оружием снабдили вы дочерей Альки. Если позволите, я вам заранее покажу это наглядно. В сундуке у меня имеются кое-какие тряпки. Подзовем любую из этих пинг-

винок, на которых пингвины обращают сейчас так мало внимания, и постараемся по возможности принарядить ее.

Да вот какая-то пингвинка идет в нашу сторону. Она ни красивей, ни безобразней других. Молодая. Никто на нее и не взглянет. Она беспечно бродит среди прибрежных скал, ковыряя в носу и почесываясь ниже поясницы. Сами видите, отец мой, плечи у нее узкие, груди обвислые, живот жирный, желтый, ноги короткие. Колени красные и при каждом шаге образуют морщины, словно это гримасничают две обезьяньи мордочки. Жилистые растопыренные ступни цепляются за скалы четырьмя крючковатыми пальцами, а большие пальцы ног торчат кверху, словно две змеи, настороженно поднявшие головы. Она всецело занята ходьбой; все ее мышцы напряжены в этой работе. И, видя ее тело в действии, мы получаем впечатление, что это машина, предназначенная больше для ходьбы, чем для любви, хотя, совершенно очевидно, она пригодна и для того и для другого, обладая вдобавок еще рядом разных приспособлений. Посмотрите же, досточтимый отец проповедник, что я из нее сделаю!

При этих словах монах Магис в три прыжка настигает пингвинку, хватает ее поперек тела,

тащит, подметая ее волосами землю, и бросает, охваченную ужасом, к ногам святого Маэля.

Она плачет, умоляет пощадить ее, а Магис меж тем вынимает из сундука пару сандалий и приказывает ей примерить их.

— Стянутые шерстяными тесемками, ее ступни будут казаться меньше, — пояснил он старцу. — Благодаря подошвам толщиною в два пальца ноги у нее изящно удлинятся, и она приобретет величественную осанку.

Завязывая на ногах сандалии, пингвинка с любопытством бросила взгляд в открытый сундук и, видя, что он полон нарядов и драгоценностей, улыбнулась сквозь слезы.

Монах свернул ее волосы узлом на затылке и надел ей на голову шляпу с цветами. Руки ее он украсил золотыми запястьями, а затем, поставив ее перед собою, опоясал широкой льняной повязкой, утверждая, что это придает бо`льшую пышность груди, гибкость стану и округлость бедрам.

Вынимая изо рта булавку за булавкой, он принялся закалывать на пингвинке пояс.

— Можно чуть потуже, — сказала она.

Старательно и умело придав форму дряблым грудям пингвинки, он надел на нее розовую ту-

нику, мягко обрисовавшую линии тела.

— Хорошо ли сидит? — спросила пингвинка. Изогнувшись, повернув голову набок и уперев подбородок в плечо, она внимательно изучала фасон своего туалета.

Магис спросил, не находит ли она, что платье длинновато, но пингвинка с уверенностью отвечала, что нисколько не длинновато и что она будет подбирать его рукою.

И тотчас же левой рукой подхватила юбку сзади, обтянула ее на себе повыше икр, притом так, чтобы были чуть-чуть видны пятки. Затем она удалилась мелкими шажками, покачивая бедрами. Она не оборачивалась по сторонам, но, проходя мимо ручья, краешком глаза поглядела на свое отражение.

Какой-то пингвин, которому она попалась навстречу, остановился в изумлении, потом, повернув назад, пошел за нею. Все время, пока она шла по берегу, пингвины, возвращаясь с рыбной ловли, подходили к ней, глядели во все глаза и поворачивали за нею следом. Лежавшие на песке поднимались с места и присоединялись к толпе.

При ее приближении все новые и новые пингвины спускались к ней с горных тропинок, выходили из расщелин между скалами, появ-

лялись из воды, так что свита ее непрестанно росла. И все они — зрелые мужчины с могучими плечами и волосатой грудью, гибкие юноши, старики с розовыми морщинистыми телами, поросшими седой щетиной и трясущимися на ходу, или с заплетающимися ногами, тоньше, суше той можжевеловой палки, что служила им в качестве третьей ноги, — все спешили к пингвинке, задыхаясь, издавая острый запах и громко сопя. Но она оставалась спокойной, словно ничего не замечала.

— Отец мой, — воскликнул Магис, — полюбуйтесь, как все они шагают за ней, нацелившись носами в сферический центр сей молодой особы, — а все оттого, что он прикрыт розовой тканью. Своими разнообразными свойствами шар вызывает у геометров немало размышлений. А если он принадлежит к миру телесному и живому, то приобретает новые качества. И для того чтобы пингвинам открылось полностью все значение этого геометрического тела, понадобилось, чтобы они перестали отчетливо воспринимать его своим зрением и вынуждены были представлять себе в уме. Да, чувствую, что и меня самого неудержимо повлекло к этой пингвинке. Потому ли, что юбка придала необходимую выпуклость

ее заду и, сочетая в нем простоту с величием, облекла его синтетическим, обобщающим смыслом, выявила в нем лишь чистую идею, лишь божественный принцип, — не знаю, но мне кажется, если я обниму ее, то достигну вершины чувственной радости. Несомненно, стыдливость делает женщин непреодолимо заманчивыми. Я полон такого волнения, что не в силах его скрывать.

При этих словах, бесстыдно подняв полы своего одеяния, он устремляется к толпе пингвинов, оттесняет их в сторону, расшвыривает, опрокидывает на землю, топчет их ногами, наконец нагоняет дочь Альки, обхватывает руками ее розовый сфероид, привлекавший к себе взгляды и желания целого племени, — и она, уносимая монахом, внезапно скрывается в прибрежной пещере.

Тут пингвинам показалось, будто солнце померкло. А св. Маэль понял, что это диавол обернулся монахом Магисом, чтобы дать одежду дочери Альки. Плотское искушение овладело и самим старцем, и душа его впала в скорбь. Медленно возвращаясь к своему отшельническому жилищу, он видел, как маленькие пингвиночки, лет шести-семи, не больше, плоскогрудые и

тонконогие, опоясались повязками из морских водорослей и разгуливают по берегу, поглядывая, не идут ли за ними мужчины.

Глава II
Первые одежды
(Продолжение и окончание)

Святой Маэль был до глубины души огорчен тем, что первые покровы, надетые на дочь Альки, нанесли только вред целомудрию пингвинов, а отнюдь не послужили ему на пользу. Однако он упорно оставался при своем намерении одеть обитателей чудесного острова. Созвав их на берег, он роздал им привезенную ивернскими монахами одежду. Пингвины получили штаны и короткие туники, пингвинки — длинные платья. Но платья эти произвели далеко не столь сильное впечатление, как туалет той пингвинки. Они были не такие красивые, покрой у них был простой, неизящный, и никто на них не обращал внимания, потому что их можно было видеть на всех. Так как пингвинки занимались стряпней и работали в поле, у них скоро остались одни грязные кофты да измызганные юбки. Пингвины взваливали на несчастных своих подруг непосильную работу, так что те уподоблялись рабочему скоту. Пингвины не знали сердечных волнений и по-

рывов страсти. Нравы их были безыскусственны. Нередкое среди них кровосмешение отличалось сельской простотой, и если какому-нибудь молодому парню случалось в пьяном виде совершить насилие над собственной бабушкой, то на следующий день он об этом уже не помнил.

Глава III
Межевание полей и возникновение собственности

Остров пингвинов отнюдь не сохранял того сурового вида, как во времена, когда, окруженный плавучими льдами, он в скалистом амфитеатре своем давал приют бесчисленному птичьему населению. Гора, некогда высоко возносившая свою снежную вершину, осела, превратившись в небольшую возвышенность, с которой можно было видеть берега Арморики, окутанные вечным туманом, и океан, усеянный угрюмыми скалами, выглядывавшими из водных глубин, подобно неким чудовищам. Берега, более плоские, чем прежде, были глубоко изрезаны, так что остров стал похож на лист тутового дерева. Он вдруг порос солоноватой травою, до которой так лакомы стада, ивами, могучими смоковницами и величественными дубами. Об этом имеются свидетельства у Беды Достопочтенного и у многих других авторов, заслуживающих полного доверия.

На севере берег образовывал глубокую бухту,

где впоследствии возник порт, один из самых прославленных во всем мире. На востоке, вдоль берегов, где, набегая на скалы, пенились морские валы, простиралась пустынная низменность, поросшая благовонными травами. Это был Берег Теней, куда островитяне не отваживались проникать, опасаясь змей, гнездившихся в расщелинах скал, и боясь встретить души умерших, скользившие там бледными языками пламени. На юге плодовые сады и рощи окаймляли теплую Гагарью бухту. На этом благословенном берегу старец Маэль поставил церковь и деревянную монастырскую обитель. На западе две речки, Кланж и Сюрель, орошали плодородные долины — Далльскую и Домбскую. И вот однажды, осенним утром, прогуливаясь по берегу Кланжа с одним ивернским монахом по имени Буллок, блаженный Маэль увидел, что по дорогам движутся отряды разъяренных людей, вооруженных каменьями. В то же самое время он услышал со всех сторон крики и стоны, поднимавшиеся из долины к спокойным не-бесам.

И он сказал Буллоку:

— С грустью замечаю, сын мой, что, с тех пор как жители острова превратились в людей, они стали вести себя менее разумно, чем прежде.

Будучи птицами, они ссорились друг с другом только в пору любви. А теперь они враждуют во всякое время, готовые вступать в драку зимою и летом. Где то величавое спокойствие, которое некогда господствовало на собрании пингвинов, придавая ему сходство с сенатом мудро устроенного государства!

Взгляни, сын мой Буллок, в сторону Сюрели. Там, посреди свежей зелени долины, двенадцать пингвинов заняты тем, что убивают друг друга лопатами и мотыгами, вместо того чтобы обрабатывать ими землю. А женщины, еще более жестокие, чем мужчины, ногтями раздирают лицо своим врагам. Увы, сын мой Буллок, почему они истребляют друг друга?

— Из чувства общественности, отец мой, и в предусмотрении будущего, — отвечал Буллок. — Ибо человек по природе своей существо предусмотрительное и общественное. Таков его характер. Человек не представляет себе существование без приобретения собственности. Эти пингвины, учитель, заняты тем, что приобретают землю.

— Но разве нельзя приобретать ее без такого насилия? — спросил старец. — Сражаясь друг с другом, они обмениваются бранью и угрозами. Я

не разбираю слов, но в голосах слышен гнев.

— Они обвиняют друг друга в воровстве и захватничестве, — отвечал Буллок. — Таков основной смысл их пререканий.

В это мгновение св. Маэль, всплеснув руками, испустил глубокий вздох.

— Смотри, сын мой, — воскликнул он, — смотри, как яростно вон тот пингвин впился зубами в нос своего поверженного противника, а другой мозжит голову женщине огромным камнем!

— Вижу, — отвечал Буллок. — Они заняты тем, что создают право, устанавливают собственность, утверждают основы цивилизации, устои общества и законы.

— Каким же это образом? — спросил старец Маэль.

— Межуя свои поля. Это начало всякого общественного порядка. Твои пингвины, учитель, выполняют величественнейшую задачу. Дело их будет на протяжении веков освящено законоведами, поддержано и утверждено судьями.

Пока монах Буллок говорил это, какой-то крупный пингвин, белокожий и рыжий, спустился в долину, неся на плече ствол дерева. Приблизившись к черному от загара маленькому пингвину, поливавшему свой латук, он крикнул ему:

— Твое поле принадлежит мне!

Произнеся эти властные слова, он ударил маленького пингвина дубиной по голове, и тот пал мертвым на землю, возделанную его собственными руками.

При таком зрелище св. Маэль задрожал всем телом и пролил обильные слезы.

И голосом, сдавленным от страха и отвращения, он вознес к небесам такую молитву:

— Господи Боже мой! Ты, приявший жертву Авеля и предавший Каина проклятию, отмсти, Господи, за этого пингвина, без вины убиенного на поле своем, да восчувствует убийца тяжесть десницы твоей. Ибо есть ли, о Господи, более гнусное злодеяние, более тяжкое оскорбление правосудию твоему, чем сие убийство и сей грабеж?

— Имейте в виду, отец мой, — кротко возразил ему Буллок, — то, что вы называете убийством и грабежом, не что иное, как война и завоевание, священные основы империй, источники всех доблестей и всего величия человеческого. В особенности подумайте о том, что, порицая большого пингвина, вы нападаете на собственность в самом ее зарождении и сущности. Я без труда докажу вам это. Возделывать землю — одно, владеть

ею — совсем другое. Эти явления не следует смешивать. В области собственности право первого заимщика весьма неопределенно и юридически слабо обосновано. Право завоевателя, напротив, покоится на прочном основании. Только оно достойно уважения, ибо только оно принуждает уважать себя. Собственность имеет своим единственным и достославным источником силу. Сила порождает собственность, и она же охраняет ее. Поэтому собственность священна и уступает только большей силе. Вот почему справедливо утверждение, что, кто владеет собственностью, тот благороден. И этот высокий рыжий человек, убивая земледельца, дабы завладеть его полем, положил начало одному из благороднейших родов своей страны. Пойду поздравить его.

И Буллок подошел к высокому пингвину, который, опираясь на свою палицу, стоял у окровавленной борозды.

И, поклонившись ему в пояс, промолвил:

— Грозный владыка, великий Греток, я пришел воздать вам уважение как основателю законной власти и родового богатства. Зарытый в вашей земле череп жалкого пингвина, поверженного вами, останется вечным доказательством священных прав ваших потомков на эту землю,

облагороженную вами. Счастливы дети ваши и дети детей ваших. Они будут носить имя Гретоков, герцогов Скаллских, и будут править островом Алькой.

Затем, повернувшись к святому старцу Маэлю, громко прибавил:

— Отец мой, благословите Гретока. Ибо всякая власть от Бога.

Маэль стоял, не двигаясь, безмолвно подняв глаза к небу; доктрина монаха Буллока вызывала в нем горькие сомнения. И, однако, именно этому учению суждено было торжествовать в эпохи высокой цивилизации. Буллока можно считать создателем гражданского права в Пингвинии.

Глава IV
Первое собрание Генеральных Штатов Пингвинии

— Сын мой Буллок, — сказал старец Маэль, — надобно произвести перепись пингвинов и внести их всех в книгу.

— Это необходимо, — отвечал Буллок. — Без переписи невозможно никакое управление.

И тотчас же проповедник с помощью двенадцати монахов приступил к всенародной переписи.

Потом старец Маэль сказал:

— Теперь, когда у нас есть списки жителей острова, сын мой Буллок, следует установить справедливые налоги, дабы иметь средства на общественные расходы и на содержание монастыря. Каждый должен облагаться сообразно своему достатку. Поэтому, сын мой, созови алькских старейшин, и совокупно с ними мы установим налоги.

Старейшины, числом тридцать, собрались во дворе деревянного скита, под большой смоковницей. Это было первое собрание пингвинских Генеральных штатов. На три четверти оно со-

стояло из богатых крестьян с берегов Сюрели и Кланжа. Греток, как самый знатный среди пингвинов, сидел на самом высоком камне.

Преподобный Маэль, заняв место посреди своих монахов, обратился к собравшимся со следующим словом:

— Дети мои, Господь наш своим соизволением дает людям богатство и отнимает его. И вот я собрал вас здесь, дабы совместно с вами наложить на народ наш подати для получения средств на общественные нужды и на содержание монахов. Подати эти, я полагаю, надлежит взимать сообразно достатку каждого. Так, имеющий сто быков отдаст из них десять, имеющий десять — одного.

Когда святой муж окончил свою речь, поднялся Морио, земледелец из Аниса-на-Кланже, один из самых богатых пингвинов, и сказал:

— О отец мой Маэль! Я признаю, что совершенно справедливо брать с каждого на общественные расходы и церковные нужды. Уж я-то готов лишиться всего своего имущества ради братьев моих пингвинов, рубашку с себя и ту готов отдать. Все старейшины народные тоже согласны пожертвовать своими богатствами. Кто усомнится в их преданности своей стране и вере! Поэтому надо считаться только с общественной пользой и

все подчинить ее требованиям. И вот, отец мой, общественная польза требует, она предписывает не брать много с тех, кто многим владеет, ибо тогда богатые станут менее богаты, а бедные — еще бедней. Ведь бедные питаются добром богатых, поэтому богатство священно. Не трогайте его, это бесполезная суровость! Отнимая у богатых, вы не получите никакой выгоды: ведь богатых немного; напротив, вы лишитесь последнего, так как страна впадет в нищету. Между тем если вы обратитесь за небольшой помощью к каждому из жителей острова, независимо от достатка, то собранного хватит на общественные нужды, и вы избавитесь от необходимости разузнавать о доходах граждан, которых подобного рода расследования способны глубоко задеть. А накладывая тяготы в небольших размерах на всех равномерно, вы пощадите неимущих, потому что оставите им такую подмогу, как богатство имущих. Да и возможно ли распределять налог в зависимости от достатка! Вчера у меня было двести быков, сегодня их шестьдесят, а завтра будет сто. Клюник владеет тремя коровами, но тощими; Никклю — только двумя, зато жирными. Кто же из них богаче — Клюник или Никклю? Признаки благосостояния очень обманчивы. Несомненно только

одно: каждый ест и пьет. Вот и установите налог на еду и питье. Это будет мудро и справедливо.

Так сказал Морио, и старейшины рукоплескали ему.

— Эта речь достойна быть запечатленной на бронзовых таблицах! — воскликнул монах Буллок. — В ней — завет будущим поколениям; через полторы тысячи лет лучшие среди пингвинов будут высказываться точно таким же образом.

Еще не стихли рукоплескания старейшин, как Греток, положив руку на рукоять меча, объявил без лишних слов:

— Я благороден и налога платить не буду, платить налог неблагородно. Пусть платит чернь.

Выслушав это, старейшины молча разошлись.

Так же, как было в Риме, перепись стали производить в Пингвинии каждые пять лет, и благодаря этому было установлено, что народонаселение быстро растет. Несмотря на необычайную детскую смертность, несмотря на то что голод и моровая язва то и дело, с поразительной настойчивостью, опустошали целые селения, новые пингвины, все более многочисленные, содействовали своей личной нищетой общественному процветанию.

Глава V
Брак Кракена и Орброзы

В те времена жил на острове Альке один сильный и хитрый пингвин по имени Кракен. Он поселился в пещере на Берегу Теней, куда жители острова никогда не отваживались ходить, опасаясь змей, гнездившихся в расщелинах скал, и боясь встретить души пингвинов, умерших некрещеными; эти души блуждали по мрачному берегу, похожие на бледные языки пламени, испуская протяжные стоны. Все полагали, неизвестно почему, что среди пингвинов, превращенных блаженным Маэлем в людей, некоторые не получили крещения и теперь, после смерти, бродят по берегу и плачут под завывания бури. На этом диком берегу и поселился Кракен в неприступной пещере. В нее можно было проникнуть только через естественный подземный ход длиной в сто футов, скрытый в лесной чаще.

Но вот как-то вечером Кракен шел по пустынному полю и вдруг встретил прелестную молодую пингвинку. Это была та самая, которую некогда своими руками одел монах Магис, первая среди

пингвинок, стыдливо прикрывшая свою наготу. В память о дне, когда восхищенная толпа пингвинов следила за ее торжествующим бегом в платье цвета зари, эта дева получила имя Орброзы[6].

При виде Кракена она испустила крик ужаса и бросилась бежать. Но герой схватил ее за развевающиеся одежды и обратился к ней со словами:

— Дева, скажи мне, как тебя зовут, какого ты рода, из какой страны?

Однако Орброза смотрела на Кракена по-прежнему с ужасом.

— Вы ли сами передо мною, господин мой, или это ваша беспокойная душа? — с трепетом спросила она.

Она говорила так потому, что жители Альки, ничего не зная о Кракене с тех пор, как он поселился на Берегу Теней, думали, что он умер и стал ночным духом.

— Не бойся, дочь Альки, — отвечал Кракен. — С тобой говорит не блуждающая душа, но сильный и могущественный человек. Скоро я буду владеть огромным богатством.

И юная Орброза спросила:

---

[6] Примечания: 6

Orbe — поэтическое название шара в применении к небесным телам. В широком смысле слова — всякого рода шарообразное тело (Литтре). — *Примеч. авт.*

— Как же рассчитываешь ты приобрести огромное богатство, о Кракен? Ведь ты только пингвин.

— Я достигну этого при помощи своего ума, — отвечал Кракен.

— Да, я знаю, — сказала Орброза, — живя среди нас, ты славился своею ловкостью как рыболов и охотник. Никто не может с тобою сравняться в искусстве ловить рыбу сетью или пронзать стрелою быстролетных птиц.

— Это занятия низкие и утомительные, о юная дева. Я открыл способ приобрести большое богатство, не изнуряя себя трудом. Но скажи мне, кто ты?

— Меня зовут Орброзой, — отвечала юная дева.

— Почему же ты оказалась в ночную пору так далеко от своего жилища?

— На то была воля неба, Кракен.

— Что это значит, Орброза?

— Это значит, что само небо, о Кракен, поставило меня на твоем пути с неведомой мне целью.

Кракен долго смотрел на нее в странном молчании. Потом вдруг ласково промолвил:

— Войди в мой дом, Орброза. Это дом самого искусного и самого храброго среди сынов Пингвинии. Если ты пойдешь за мною, то станешь

моей подругой.

Тогда, опустив глаза, она прошептала:

— Я пойду за вами, господин мой.

Так прекрасная Орброза стала подругой героя Кракена. Этот брак не был ознаменован торжественными песнопениями при свете факелов, потому что Кракен не хотел показываться пингвинскому народу: укрывшись в своей пещере, он создавал великие замыслы.

Глава VI
Алькский дракон

Потом пошли осматривать кабинет естествоведения. Хранитель показал мне какую-то соломенную плетенку, сообщив, что в ней находятся кости дракона. «Доказательство, что дракон – существо отнюдь не баснословное», – прибавил он.

Мемуары Джакомо Казановы, т. IV.Париж, 1843, с. 404, 405

Между тем обитатели Альки предавались мирным трудам. Те, кто жил на северном побережье, ездили на лодках ловить рыбу и собирать ракушки. Домбские земледельцы сеяли овес, рожь и пшеницу. В Далльской долине богатые пингвины разводили домашний скот, а жители Гагарьей бухты занимались садоводством. Купцы из Порт-Альки вели с Арморикою торговлю соленой рыбой. Бретонское и британское золото, проникая на остров, облегчало торговые сношения. Пингвинский народ спокойно наслаждался плодами своих трудов, как вдруг зловещая молва побежала из селенья в селенье. Всюду сразу стало

известно, что ужасный дракон дотла разорил две фермы в Гагарьей бухте.

А за несколько дней до того пропала дева Орброза. Ее хватились не сразу, так как и прежде то один, то другой сильный мужчина, воспылав к ней любовью, похищал ее. И пингвинские мудрецы не удивлялись этому: ведь она была прекраснейшей из дев Пингвинии. Было замечено, что иногда она даже шла навстречу своим похитителям: ведь от судьбы не уйдешь. Однако на этот раз, видя, что ее нет и нет, все испугались: уж не сожрал ли ее дракон?

Вместе с тем жители Далльской долины вскоре убедились, что этот дракон не пустая выдумка женщин, любящих поболтать у источника. Ибо однажды ночью в деревне Анис чудовище сожрало шесть кур, барана и сиротку-мальчика по имени Эло. Наутро от похищенных не осталось и следа.

Сельские старейшины немедленно собрались на площади Совета и, усевшись на каменную скамью, стали обсуждать, что делать в подобных ужасных обстоятельствах. И, призвав к себе всех, кто видел дракона в эту зловещую ночь, спросили их:

— Заметили ли вы, каков он видом и что у него

за повадки?

И все по очереди отвечали:

— У него львиные когти, орлиные крылья и змеиный хвост.

— На спине у него щетинистый гребень.

— Весь он покрыт желтой чешуей.

— Взгляд его зачаровывает и поражает, как молния. Из пасти его извергается пламя.

— Он заражает воздух своим дыханием.

— У него голова драконья, когти львиные, хвост как у рыбы.

Но одна жительница Аниса, слывшая женщиной положительной и разумной, — та самая, у которой дракон похитил трех кур, — сообщила следующее:

— С виду он совсем как человек. Я даже обозналась и подумала было, что это мой муженек, так что сказала ему: «Иди ты спать, дурачина!»

Другие говорили:

— Он вроде облака.

— Он словно гора.

А какой-то ребенок пришел и сказал:

— Я видел, как у нас в риге дракон снял с себя голову, чтобы поцеловать мою сестрицу Минни.

И еще спрашивали старейшины:

— Какой величины был дракон?

Им отвечали:

— Как бык.

— Как большие торговые корабли бретонцев.

— Ростом с человека.

— Выше смоковницы, под которой вы сидите.

— Не больше собаки.

На вопрос, какого он цвета, жители отвечали:

— Красного.

— Зеленого.

— Синего.

— Желтого.

— Голова у него совсем зеленая, крылья ярко-оранжевые, с розовым отливом и серебристо-серыми краями; зад и хвост в коричневую и розовую полоску; живот ярко-желтый в черную крапинку.

— Какого он цвета?.. Бесцветный!

— Цвет у него драконий.

Услышав эти показания очевидцев, старейшины пребывали в недоумении, что же надлежит предпринять. Одни предлагали подстеречь дракона, напасть на него и пронзить множеством стрел. Другие, считая безнадежным противиться столь могучему чудовищу, советовали умиротворить его приношениями.

— Будем платить ему дань, — сказал один из

них, пользовавшийся славой мудреца. — Мы можем умилостивить его дарами — вином, плодами, ягнятами, юной девственницей.

Наконец, третьи советовали отравить источники, из которых он обычно пьет, или напустить дыма в его пещеру, чтобы он там задохся.

Но ни одно из этих мнений не возобладало. Долго тянулись споры, и старейшины разошлись, так и не приняв никакого решения.

Глава VII
Алькский дракон
(Продолжение)

Весь месяц, посвященный римлянами их ложному богу Марсу, или Маворсу, дракон разорял далльские и домбские фермы; он уволок пятьдесят баранов, двенадцать свиней и трех мальчиков. Все семьи были в горе, и остров оглашался жалобными воплями. Чтобы заклинаниями избавиться от всеобщего бедствия, старейшины несчастных селений, орошаемых Кланжем и Сюрелью, уговорились собраться и сообща идти за помощью к блаженному Маэлю.

На пятый день месяца, название которого на языке латинян означает «открытие», потому что с него начинается год, процессия старейшин подошла к деревянному скиту, возвышающемуся на южном берегу острова. Впущенные в ограду, они огласили обитель стонами и рыданиями. Тронутый их жалобами, старец Маэль покинул монастырский покой, где предавался занятиям астрономией и размышлениям над Священным Писанием, и спустился к ним, опираясь на свой

пастырский посох. Старейшины при виде его простерлись ниц, протягивая к нему зеленые ветви. А некоторые стали курить благовонными травами.

И святой муж, сев у монастырского колодца, под древней смоковницей, обратился к ним с таким словом:

— О дети мои, потомки пингвинов, почему предаетесь вы плачу и стенаниям? Почему протягиваете ко мне с мольбою эти ветви? Почему возносите к небесам благовонные курения? Надеетесь ли вы, что я отвращу от вашей главы некое несчастие? О чем умоляете вы меня? Я готов жизнь мою отдать за вас. Скажите же мне, чего ждете вы от своего отца?

На его вопросы ответил первый из старейшин:

— О Маэль, отец детей алькских! Дозволь мне говорить от имени всех. Ужасный дракон опустошает наши поля, уводит наш скот и уносит к себе в логово цвет нашего юного потомства. Он пожрал маленького Эло и еще семь мальчиков. Он растерзал своими хищными зубами деву Орброзу, прекраснейшую из пингвинок. Ни одно селение не может уберечься от его смертоносного дыхания и опустошительных набегов.

Подвергаясь столь страшному бедствию, мы

обращаемся с мольбою к тебе, о Маэль, дабы ты, мудрейший, пришел на помощь жителям острова и не дал прекратиться древнему роду пингвинов!

— О первый из алькских старейшин, — отвечал Маэль, — слова твои погружают меня в глубокую скорбь, и я сокрушаюсь при мысли о том, что над вашим островом свирепствует жестокий дракон. Случай сей не единственный, и в книгах можно найти немало рассказов о свирепых драконах. Эти чудовища водятся большей частью в пещерах, у воды и главным образом среди языческих народов. Может быть, некоторые из вас, хотя и получили святое крещение и были причислены к семье Авраамовой, продолжали все же поклоняться идолам, по примеру древних римлян, или же вешали разные изображения, обетные таблички, шерстяные повязки и гирлянды цветов на ветви какого-нибудь священного дерева. А то еще, может быть, пингвинки плясали вокруг волшебного камня и пили воду из источников, где обитают нимфы. Если это так, то следует думать, что Господь Бог наслал на вас дракона, дабы покарать всех за преступления некоторых и побудить вас, о сыновья пингвинов, уничтожить в вашей среде кощунство, суеверие и нечестие.

А потому укажу вам на спасительное средство против постигнувшей вас беды: тщательно разыскивайте и искореняйте следы идолопоклонства у себя в жилищах. И еще, полагаю, помогут вам молитва и покаяние.

Так сказал святой старец Маэль. И старейшины пингвинского народа, облобызав стопы его, вернулись обнадеженные в свои селения.

Глава VIII
Алькский дракон
(Продолжение)

Следуя советам св. Маэля, жители Альки стали усердно искоренять суеверия, зародившиеся среди пингвинов. Они следили за тем, чтобы пингвинские девушки не ходили больше танцевать вокруг дерева фей, произнося заклинания. Они сурово запретили молодым матерям прикладывать своих младенцев, для придания им силы, к камням, воздвигнутым в полях. Один домбский старец, занимавшийся предсказаниями по ячменным зернам, которые он встряхивал на сите, был брошен в колодезь.

Но чудовище продолжало еженощно опустошать птичники и стойла. Перепуганные крестьяне, ложась спать, заваливали двери изнутри, кто чем мог. Одна беременная женщина, выглянув в слуховое окно и увидев на дороге, голубой от лунного света, тень дракона, так испугалась, что тут же выкинула раньше срока.

В эти дни испытаний св. Маэль непрестанно размышлял о природе дракона и способах его

одолеть. После полугода изысканий и молитв ему показалось, что он нашел то, что искал. Однажды вечером, прогуливаясь по берегу моря вместе с молодым монахом по имени Самуил, он изложил ему свою мысль в следующих словах:

— Я долго изучал историю и нравы драконов — не из пустого любопытства, но в надежде найти примеры, поучительные в нынешних обстоятельствах. Такова польза, приносимая историей, сын мой Самуил.

Известно, что драконы отличаются поразительной способностью непрестанно бодрствовать. Они никогда не спят. Поэтому им часто поручают охранять сокровища. Так, дракон охранял в Колхиде золотое руно, пока оно не было захвачено с боя Ясоном. Другой дракон стерег золотые яблоки в садах Гесперид. Он был убит Гераклом и превращен Юноною в небесное созвездие. Об этом рассказано в книгах; если это правда, то тут действовала магия, ибо языческие боги — в действительности диаволы. Еще один дракон не позволял людям, грубым и невежественным, пить из Кастальского ключа. Следует упомянуть также дракона Андромеды, убитого Персеем.

Но оставим языческие басни, где к истине постоянно примешиваются заблуждения. Мы

обнаруживаем драконов и в повествовании о преславном архангеле Михаиле, о святых Георгии, Филиппе, Иакове Старшем, Патрике, о святых Марфе и Маргарите. В этих-то рассказах, достойных всяческого доверия, надлежит нам искать утешительных советов.

Так, история силенского дракона может послужить нам драгоценным примером. Надобно знать тебе, сын мой, что на берегу обширного озера, неподалеку от города Силены, жил страшный дракон, который время от времени приближался к городским стенам и отравлял своим дыханием воздух предместий. И чтобы дракон не пожрал всех жителей Силены, они каждое утро отдавали ему одного на съедение. Кого назначить в жертву, метали жребий. И вот в конце концов жребий пал на царскую дочь.

Но святой Георгий, который был военным трибуном, приехав в город Силену, узнал, что царскую дочь только что отвели к дракону. Он тотчас же снова вскочил на коня и, вооружившись копьем, помчался вослед дракону, которого застиг в то мгновение, когда чудовище уже готово было сожрать царственную деву. Когда же святой Георгий поверг дракона на землю, царская дочь обвязала шею зверя своим поясом, и он последо-

вал за нею, словно собака на поводке.

Из этого примера видно, как сильна власть дев над драконами. История святой Марфы может служить еще более убедительным тому доказательством. Знаешь ли ты ее историю, сын мой Самуил?

— Да, отец мой, — отвечал Самуил.

И блаженный Маэль продолжал:

— На берегах Роны, между Арлем и Авиньоном, жил в лесу дракон, полузверь-полурыба, больше быка величиной, с острыми, как рога, зубами и с большими крыльями. Он топил корабли и пожирал всех, кто плыл на них. И вот святая Марфа, вняв мольбам народа, пошла к дракону, который в это время пожирал какого-то человека. Она повязала своим поясом шею чудовища и без труда привела его в город.

Эти два примера внушают мне мысль прибегнуть к могуществу какой-либо девы, дабы победить дракона, сеющего ужас и смерть на острове Алька.

А потому, сын мой Самуил, тебе надлежит препоясать чресла твои и обойти с двумя спутниками все селения острова, оповещая о том, что только непорочная дева может спасти остров от чудовища, истребляющего народ.

Пой псалмы и гимны и возглашай повсюду: «О сыновья пингвинов! Если есть у вас чистая дева, да поднимется она и, осенив себя крестным знамением, да поспешит одолеть дракона».

Так сказал старец, и юный Самуил обещал исполнить его повеление. На другой день он препоясал чресла свои и пустился в дорогу с двумя спутниками, дабы возвестить жителям Альки, что только непорочная дева способна освободить пингвинов от ярости дракона.

Глава IX
Алькский дракон
(Продолжение)

Орброза любила своего супруга — но не только его. В час, когда на бледном небе загоралась Венера, а Кракен наводил ужас на деревни, она спешила в маленький домик на колесах, где ее ждал молодой далльский овчар по имени Марсель, таивший в изящном теле своем неистощимую силу. Прекрасная Орброза предавалась наслаждениям, разделяя с пастухом благоухающее травами ложе. Но, отнюдь не желая открывать ему свое настоящее имя, она назвалась Бригитой и выдавала себя за дочь садовника из Гагарьей бухты. Когда, с сожалением вырвавшись из его объятий, она шла по дымящимся туманами лугам к Берегу Теней и невзначай встречала какого-нибудь запоздалого крестьянина, то принималась помахивать покрывалом, словно большими крыльями, и кричала громким голосом:

— Прохожий, опусти взор, дабы не пришлось тебе говорить потом: «Увы! Увы! Горе мне, ибо я видел ангела Господня!»

Крестьянин, дрожа, повергался ниц. И на острове стали поговаривать, что ночью по дорогам ходят ангелы и кто их увидит, тот умрет.

Кракен ничего не знал о любовных утехах Орброзы и Марселя, ибо он был герой, а герои не догадываются о проделках своих жен. Но, не подозревая об этой любви, он наслаждался ее благотворными последствиями. Возвращаясь к своей подруге, он видел, что с каждой ночью она становится все более радостной и прекрасной, что она так и дышит сладострастием, распространяя вокруг себя на супружеском ложе чудесное благоухание дикого укропа и вербены. Она любила Кракена любовью, которая была беззаботна и не слишком требовательна, так как распространялась не на него одного.

И счастливая неверность Орброзы вскоре спасла героя от большой опасности, навсегда утвердив его благополучие и славу. Ибо, повстречав в сумерках одного бельмотского волопаса, который подгонял своих волов стрекалом, она полюбила его еще сильнее, чем овчара Марселя. Он был горбат, голова у него ушла по уши в плечи, колченогое тело раскачивалось из стороны в сторону, злые косые глаза дико глядели из-под всклокоченных волос. Говорил он грубым голо-

сом, смеялся пронзительно и резко; от него пахло хлевом. Но ей он показался прекрасным. Одному полюбилось растение, другому — река, третьему — животное, как сказал Гнатон.

И вот однажды в деревенском амбаре, вздыхая и предаваясь истоме в объятиях волопаса, она вдруг услышала звуки рожка, топот толпы и гул голосов; выглянула в слуховое окно и увидела, что на рыночной площади собрались жители селения и обступили какого-то молодого монаха, взобравшегося на камень и говорившего громким голосом:

— Жители Бельмонта! Игумен Маэль, досточтимый отец наш, возвещает вам моими устами, что победа над драконом не зависит ни от силы рук, ни от оружия, — одолеть его может только невинная дева. Так если есть среди вас дева, сохранившая себя в нетронутой чистоте, пусть она встанет и пойдет навстречу чудовищу. А приблизившись к нему, пусть обовьет ему шею своим поясом, и оно последует за нею покорно, как собачонка.

И, накинув капюшон себе на голову, молодой монах пошел возвещать по другим селеньям слова блаженного Маэля.

Он был уже далеко, а Орброза, поджав ноги, все

сидела на соломенном ложе любви; облокотясь на колено и подперев подбородок рукою, она размышляла о словах монаха. Хоть она и считала, что могущество невинной девы гораздо менее опасно для Кракена, чем сила оружия, — однако извещение от блаженного Маэля внушило ей тревогу; какое-то неясное, но верное чутье, управлявшее ее мыслями, подсказывало ей, что отныне Кракен уже не может безнаказанно оставаться драконом.

— Сердечко мое, что ты думаешь насчет дракона? — спросила она волопаса.

Мужлан ответил, качая головой:

— В старину, это верно, драконы опустошали землю; и были среди них громадные, величиною с гору. Но теперь таких не бывает. И что бы у нас там ни толковали про чудовище, покрытое чешуей, а мне сдается, тут все дело в морских разбойниках или купцах, — это они уволокли к себе на корабль и красавицу Орброзу, и самых красивых алькских ребят. Пусть только кто из этих разбойников попробует увести у меня быков, уж я как-нибудь, силою либо хитростью, отважу его от этих проделок.

Слова волопаса еще больше встревожили Орброзу, и она еще сильнее почувствовала необ-

ходимость позаботиться о судьбе любимого супруга.

Глава X
Алькский дракон
(Продолжение)

Шли дни за днями, и на острове все не объявлялось девственницы, чтоб одержать победу над чудовищем. И в деревянном скиту старец Маэль, сидя на скамье под сенью древней смоковницы вместе с благочестивым монахом по имени Регименталий, с грустью и тревогой спрашивал себя, как же это во всей Альке не найдется ни одной непорочной девы, способной одолеть зверя.

Он вздохнул, брат Регименталий — тоже. Увидев в это мгновение юного Самуила, входящего в сад, старец Маэль подозвал его и промолвил:

— Я снова раздумывал, сын мой, о том, как уничтожить дракона, что пожирает цвет нашего юношества, наши стада и наши жатвы. В этом деле история драконов святого Риока и святого Павла Леонского представляется мне особенно назидательной. Дракон святого Риока был длиною в шесть туазов; головой он походил одновременно на петуха и на василиска, а туловищем был змеебык. Он опустошал бере-

га Элорна во времена короля Бристока. Святой Риок, будучи тогда двух лет от роду, отвел его на бечевке к самому морю, где чудовище покорно утопилось. Не менее страшен был дракон святого Павла, длиною в шестьдесят футов. Блаженный просветитель Леонский обвязал его своей епитрахилью, а другой конец вложил в руку одному знатному юноше, известному своей чистотой. Эти примеры показывают, что девственник не менее угоден Господу, чем девственница. Перед небом они равно достойны. А потому, сын мой, если ты согласен со мною, мы отправимся вдвоем на Берег Теней; подойдя к пещере чудовища, мы громким голосом вызовем дракона из его логова, и, когда он появится, я обвяжу ему шею своей епитрахилью, а ты отведешь его на берег моря, где он всенепременно утопится.

При этих словах Самуил опустил голову и ничего не ответил.

— Ты как будто колеблешься, сын мой, — сказал Маэль.

Брат Регименталий, вопреки своей привычке, заговорил, не дожидаясь, чтобы спросили его мнения.

— Поневоле заколеблешься, — сказал он. — Ведь святому Риоку было только два года, когда

он одолел дракона. Кто поручится, что и лет через девять-десять он мог бы сделать то же самое? Не забывайте, отец мой, что дракон, опустошающий наш остров, пожрал ведь маленького Эло и еще нескольких мальчиков. Брат Самуил не настолько самонадеян, чтобы в девятнадцать лет мнить себя чище двенадцатилетних или четырнадцатилетних. Увы, — со вздохом продолжал монах, — кто может похвалиться своей чистотой в этом мире, где мы всюду видим примеры любовной страсти, где все в природе — животные и растения — предается на наших глазах сладострастию и внушает нам стремление к любовным утехам. Животные жаждут соединяться на свой лад, но никакие сочетания четвероногих, птиц, рыб и пресмыкающихся не сравнятся в отношении сладострастия с браками среди растений. Все чудовищные непристойности, измышленные язычниками в своих баснях, бледнеют перед тем, что творит простой полевой цветок, и, если бы ты подумал о блудодействах лилий и роз, ты удалил бы с алтарей своих эти чаши распутства, эти сосуды соблазна.

— Не говори так, брат Регименталий, — возразил старец Маэль. — Покорствуя закону естества, животные и растения остаются невинными. У

них нет души, о спасении коей надлежало бы заботиться, меж тем как человек…

— Ты прав, — отвечал брат Регименталий, — это дело другого сорта. Но не посылай юного Самуила к дракону: тот его съест. Вот уже пять лет, как Самуил потерял способность удивлять чудовищ своей невинностью. В год кометы диавол-искуситель поставил ему на дороге молочницу, подтыкавшую себе юбку, чтобы перейти брод. Самуил почувствовал соблазн, но не поддался ему. Тогда диавол, неутомимый в своих кознях, показал ему во сне образ этой молодой девицы, и сонное видение оказалось могущественнее, чем явь: Самуил пал. Пробудившись, он оросил слезами свое сокровенное ложе. Увы! Раскаяние не вернуло ему невинности.

Слушая этот рассказ, Самуил недоумевал, как тайна его могла быть открыта: не знал он, что диавол принял на себя облик брата Регименталия, чтобы смущать души алькских монахов.

А старец Маэль пребывал в задумчивости и, тоскуя, вопрошал себя:

— Кто спасет нас от зубов дракона? Кто охранит нас от его дыхания? Кто защитит нас от его взгляда?

Между тем обитатели Альки понемногу осме-

лели. Домбские землепашцы и бельмонтские волопасы клялись, что со свирепой тварью они сами справятся получше всякой девы, и, щупая свои мускулы, восклицали: «А ну-ка, дракон, выходи!» Многие мужчины и женщины уже видели его. Они не могли столковаться насчет его обличия, но только все в один голос утверждали, что он вовсе не так уж огромен, как прежде казалось, и лишь немногим больше человека. Стали заботиться об обороне: по вечерам при входе в деревню выставляли караульщиков, чтобы те в случае опасности подняли тревогу; отряды, вооруженные вилами и косами, охраняли по ночам загоны для скота. Однажды в деревне Анис смелые землепашцы даже настигли дракона в то время, когда он перепрыгивал через ограду во двор к Морио; вооруженные цепами, косами и вилами, они бросились к нему и уже подступили вплотную. Один из них, удалой и ловкий, уверял даже, что пырнул его вилами, да, поскользнувшись в луже, упустил. Остальные наверняка догнали бы его, если б не замешкались, кинувшись ловить кроликов и кур, которых он побросал на бегу.

Эти крестьяне сообщили старейшинам селения, что видом и размерами чудовище показалось

им похожим на человека и только голова да хвост у него были в самом деле такие, что ужасно глядеть.

Глава XI
Алькский дракон
(Продолжение)

В тот день Кракен вернулся к себе в пещеру раньше обычного. Он стащил с головы свой шлем из тюленьей шкуры с парою бычьих рогов наверху и с грозными клыками, торчащими из-под забрала. Бросил на стол свои страшные когтистые перчатки — на концах пальцев к ним были прикреплены клювы зимородков. Расстегнул пояс с извивающимся зеленым хвостом позади. Потом приказал своему пажу Эло снять с него сапоги, и, так как мальчику все не удавалось справиться с этим, он пинком ноги отшвырнул его в другой конец пещеры.

Даже не взглянув на прекрасную Орброзу, которая пряла шерсть, он уселся перед очагом, где жарилась баранья туша, и пробурчал:

— Что за гнусные пингвины… Последнее ремесло на свете — изображать дракона.

— Что вы говорите, господин мой? — спросила прекрасная Орброза.

— Меня перестали бояться, — продолжал

Кракен. — Прежде все разбегались при моем приближении. Я уносил в своем мешке кур и кроликов. Гнал перед собой баранов и свиней, коров и быков. А теперь эта деревенщина стала расставлять караул. Охраняют входы. Только что в Анисе за мною погнались крестьяне, вооруженные цепами, косами и здоровенными вилами, так что мне пришлось побросать кур и кроликов, перекинуть свой хвост через руку и бежать со всех ног. Но, скажите на милость, разве пристало каппадокийскому дракону, подобрав свой хвост, улепетывать, словно какому-нибудь воришке! И вдобавок все эти рога, клыки, гребень, когти и чешуя так стесняли мои движения, что я еле ноги унес от одного негодяя, который на добрых полдюйма всадил мне вилы в левую ягодицу.

При этом он осторожно поднес руку к пострадавшей части тела. Затем, после довольно продолжительного горького раздумья, прибавил:

— Что за олухи эти пингвины! Мне надоело пускать огонь в их дурацкие рожи. Слышишь, что я говорю, Орброза?

После этих слов герой, держа перед собою свой грозный шлем, долго глядел на него в угрюмом молчании. Потом разразился потоком жалоб:

— Я собственными руками скроил себе этот

шлем из тюленьей кожи. Чтобы сделать его еще страшнее, я увенчал его бычьими рогами и оснастил челюстью дикого кабана, пустил поверху конский хвост, крашенный киноварью. Никто из жителей острова не мог вынести его вида, когда он покрывал меня, спускаясь до самых плеч, при мрачном сумеречном свете. Завидев меня, женщины и дети, юноши и старики в ужасе бежали прочь, и все пингвинское племя трепетало передо мною. Каким же образом этот дерзкий народ, забыв прежний страх, осмеливается глядеть прямо на эту свирепую морду и бежать вслед за этой устрашающей гривой?

И он бросил шлем на каменный пол пещеры.

— Так пропади ты пропадом, изменник шлем! — вскричал Кракен. — Клянусь всеми демонами Армора, никогда больше тебя не надену!

И, произнеся эту клятву, он стал топтать ногами свой шлем, перчатки, сапоги и извивающийся хвост.

— Кракен, — сказала прекрасная Орброза, — позвольте вашей покорной служанке прибегнуть к хитрости, ради спасения вашей славы и вашего добра. Не пренебрегайте помощью женщины. Такая помощь вам необходима: ведь все мужчины — глупцы.

— Что ты задумала, женщина? — спросил Кракен.

И прекрасная Орброза сообщила своему супругу, что по городам и весям ходили монахи, оповещая жителей острова о наивернейшем способе победить дракона; что, по их словам, зверя может одолеть девственница и что, если невинная дева обвяжет дракону шею своим поясом, она без малейшего труда поведет его за собою, как собачонку.

— Откуда ты знаешь, что монахи говорят это? — спросил Кракен.

— Друг мой, — отвечала Орброза, — я беседую с вами о таких важных вещах, а вы перебиваете меня пустыми вопросами… «Итак, — говорили монахи, — если есть среди вас невинная дева, пусть она объявится!» Так вот, Кракен, я решила откликнуться на их призыв. Пойду к святому старцу Маэлю и скажу ему: «Я эта дева, избранная небесами для одоления дракона!»

При этих словах Кракен удивленно воскликнул:

— Да какая же ты невинная дева? И почему ты хочешь пойти на меня, Орброза? В своем ли ты уме? Ну уж я не дам себя одолеть!

— Чем сердиться, не лучше ли прежде по-

нять, что я предлагаю? — заметила прекрасная Орброза, кротким вздохом выражая глубокое презрение.

И она изложила свой хитроумный замысел.

Герой слушал ее в раздумье. Когда она кончила свою речь, он сказал:

— Ты очень хитро все придумала, Орброза! И если замысел твой осуществится, то принесет мне большую выгоду. Но как же ты станешь чистой девой, избранной небесами?

— Насчет этого не беспокойся, Кракен, — отвечала она. — А теперь пойдем-ка спать.

Весь следующий день, сидя в пропахшей жиром пещере, Кракен плел из ивовых прутьев какой-то безобразный каркас, затем обтянул его отвратительными кожами со взъерошенной чешуей. Прекрасная Орброза пришила к каркасу с одного конца грозный гребень и мерзкое забрало, служившее Кракену в его опустошительных набегах, а с другого — прикрепила извивающийся хвост, который герой имел обыкновение волочить за собою. Окончив работу, они приказали маленькому Эло и еще пятерым мальчикам, что им прислуживали, влезть в это сооружение и тащить его на себе, чтобы оно ползло, а внутри жечь паклю и дуть в раструбы, чтобы драконья

пасть извергала пламя и дым.

Глава XII
Алькский дракон
(Продолжение)

Надев платье из грубой шерстяной материи, подпоясавшись простою веревкой, Орброза явилась в скит и попросила допустить ее к блаженному Маэлю для беседы. Так как женщинам доступ в ограду монастыря был воспрещен, то старец вышел за ворота, держа в правой руке свой пастырский посох, а левой опираясь на плечо Самуила, самого молодого из учеников.

— Кто ты, женщина? — спросил он.

— Я дева Орброза.

Услышав такой ответ, Маэль воздел дрожащие руки к небу.

— Правду ли говоришь ты, женщина? Всем известно, что Орброзу пожрал дракон. И вот я вижу Орброзу и слышу ее! Не было ли так, о дочь моя, что ты осенила себя крестом во чреве чудовища и вышла невредимой из его пасти? Это представляется мне наиболее вероятным.

— Ты не ошибся, отец мой, — отвечала Орброза. — Именно так и было со мною. Выйдя из

звериного чрева, я удалилась в уединенное место на Берегу Теней. В своем пустынножительстве я предавалась молитве и размышлению, совершая неслыханные подвиги воздержания, как вдруг получила откровение небесное в том, что только девственница может одолеть дракона и что девственница эта — я.

— Покажи мне какой-нибудь знак, свидетельствующий о твоем призвании.

— Этот знак я сама, — отвечала Орброза.

— Мне известно о могуществе тех, кто запечатлел плоть свою печатью невинности, — сказал просветитель пингвинов. — Но действительно ли ты такова, как говоришь?

— Увидишь это по моим делам, — отвечала Орброза.

Тут монах Регименталий приблизился и сказал:

— Это будет лучшим доказательством. Царь Со-ломон изрек: «Три вещи трудно узнать, а четвертую — невозможно: след змеи на камне, птицы — в воздухе, корабля — в воде, мужчины — в женщине». Я считаю дерзкими тех матрон, что выставляют себя в таких делах осведомленнее мудрейшего из царей. Поверьте мне, отец мой, советоваться с ними относительно благо-

честивой Орброзы нет никакого смысла. Если они и выскажут вам свое мнение, это ничего вам не даст. Доказать девственность не менее трудно, чем сохранить ее. Плиний утверждает в своей «Естественной истории», что признаки ее воображаемы или весьма неопределенны[7]. Иная отмечена всеми четырнадцатью знаками растления, но чиста пред очами ангелов, иная же, наоборот, признанная непорочной, после того как матроны оглядели и ощупали ее всю, мнимой невинностью своей обязана уловкам предусмотрительного разврата. Что касается чистоты предстоящей здесь святой девицы, так я готов ручаться за нее, сунув руку в огонь.

Он говорил так потому, что он был диавол. Но старец Маэль не знал об этом. И спросил благочестивую Орброзу:

— Скажи, дочь моя, каким способом предполагаешь ты победить столь свирепого зверя, однажды уже пожравшего тебя?

Дева отвечала:

— Завтра, при восходе солнца, о Маэль, ты созовешь народ на холм, пред которым до самого Берега Теней расстилается пустынная степь, и

[7] Примечания: 7

Мы тщетно искали эту фразу в «Естественной истории» Плиния (Издатель). — *Примеч. авт.*

проследишь за тем, чтобы ни один пингвин не подходил к скалам ближе чем на пятьсот футов — иначе он будет тотчас же отравлен дыханием чудовища. Дракон выйдет из скал, и я обвяжу ему шею своим поясом и поведу его на поводке, как послушную собачку.

— Не возьмешь ли ты в помощь себе какого-нибудь отважного и благочестивого мужа, дабы он поразил дракона? — спросил Маэль.

— Именно так, о старец; я отведу чудовище к Кракену, который зарубит его своим сверкающим мечом. Ибо надобно тебе знать, что благородный Кракен, которого считали мертвым, вернется к пингвинам и убьет дракона. Из брюха дракона выйдут пожранные им дети.

— То, о чем ты мне возвещаешь, о дева, кажется мне чудесным и превышающим человеческие силы! — воскликнул проповедник.

— Да, это действительно так, — отвечала дева Орброза. — Но знай, Маэль, мне было откровение, что народ пингвинский, освобожденный рыцарем Кракеном, должен будет вознаградить его, платя ему ежегодный оброк в виде трехсот цыплят, двенадцати баранов, двух быков, трех свиней, тысячи восьмисот мер хлеба, а также овощей, смотря по времени года; сверх того,

мальчики, вышедшие из брюха дракона, должны быть отданы тому же Кракену в полное его распоряжение, чтобы служить ему и покорно исполнять все, что он прикажет. Если народ пингвинский не исполнит своих обязательств, на острове появится новый дракон, еще ужаснее первого. Я все сказала.

Глава XIII
Алькский дракон
(Продолжение и окончание)

Народ пингвинский, созванный старцем Маэлем, провел ночь у Берега Теней, не преступая указанной святым мужем границы, из опасения, что будет отравлен дыханьем дракона.

Ночной сумрак еще окутывал землю, когда, возвещая о себе хриплым ревом, на скалах неясно обрисовалась движущаяся тень дракона. Он полз по-змеиному, и его извивающееся тело, казалось, имело не менее пятнадцати футов в длину. При виде дракона толпа отпрянула в ужасе. Но тут же все взоры обращаются к деве Орброзе — в лучах занимающейся зари она выходит, вся в белом, на лужайку, поросшую розовым вереском. Бесстрашной и скромной поступью подходит она к зверю, а тот, испуская дикое рычание, разевает огнедышащую пасть. Громкий крик ужаса и жалости вырывается из толпы пингвинов. Но дева, сняв свой льняной пояс, обвязывает им шею дракона и при восторженных кликах присутствующих ведет его за собой, как послушную собаку.

Она уже проходит довольно большое расстояние по равнине, как вдруг появляется Кракен, вооруженный сверкающим мечом. Народ, считавший Кракена мертвым, встречает его изумленным и радостным кличем. Герой устремляется на зверя, опрокидывает его, вспарывает ему брюхо мечом, и оттуда, молитвенно сложив ладони, в рубашонках, с кудрявыми головками, выходят маленький Эло и остальные пять мальчиков, проглоченные чудовищем.

Они тотчас же припадают к ногам девы Орброзы, и та заключает их в объятия, нашептывая им на ухо:

— Идите по деревням и говорите всюду: «Мы бедные малютки, пожранные драконом и вышедшие в рубашках из его брюха». И люди будут щедро одаривать вас всем, чего вы ни пожелаете. А станете рассказывать другое, получите одни щелчки да пинки. Ступайте!

При виде дракона со вспоротым брюхом многие пингвины бросились было к нему, чтоб разорвать его в клочья, одни — в порыве ярости и чувства мести, другие — чтобы завладеть волшебным камнем под названием драконит, образующимся в голове у драконов; матери возвращенных к жизни мальчиков ринулись вперед, чтобы об-

нять дорогих сыночков. Но св. Маэль удержал всех, объяснив им, что они недостаточно добродетельны, чтобы приблизиться к дракону, не поплатившись за это жизнью.

Вскоре маленький Эло с другими мальчиками подошли к народу и сказали:

— Мы бедные малютки, пожранные драконом и вышедшие в рубашках из его брюха.

Все слышавшие целовали их и говорили:

— Благословенные дети! Мы щедро одарим вас всем, чего вы ни пожелаете.

И толпа разошлась в веселии, с пением гимнов и благодарственных молитв.

В память того дня, когда провидение избавило народ от жестокого бедствия, решено было устраивать процессии и носить по улицам изображение дракона, закованного в цепи.

Кракен стал получать оброк и вскоре сделался самым богатым и могущественным среди пингвинов. Для того чтобы внушать благодетельный ужас, он в знак своей победы стал носить на голове драконий гребень и постоянно напоминал народу:

— Теперь, когда чудовище издохло, дракон — это я!

Долго еще обвивала Орброза любвеобильны-

ми руками шею волопасов и овчаров, делая их равными богам. Когда же утратила свою красоту, посвятила себя Господу.

Она пользовалась всеобщим почитанием, а после кончины своей была причислена к лику святых и стала небесной покровительницей Пингвинии.

Кракен оставил после себя сына, носившего, подобно отцу, гребень дракона и по этой причине прозванного Драко. Он основал первую королевскую династию Пингвинии.

Книга третья
Средние века и Возрождение

Глава I
Бриан Благочестивый и королева Гламоргана

Короли Альки, происходившие от Драко, сына Кракена, носили на голове страшный драконий гребень, священный знак, одним видом внушавший всему народу почтение, ужас и любовь. Они непрестанно враждовали либо со своими вассалами и подданными, либо с владетелями островов и близлежащих земель на материке.

Древнейшие из этих королей оставили после себя только имя. К тому же мы не знаем ни как оно произносится, ни как пишется. Первый Драконид, история которого нам известна, — это Бриан Благочестивый, стяжавший славу своей хитростью и отвагой на войне и на охоте.

Он был истинным христианином, любил письменность и покровительствовал людям, посвятившим себя монашеской жизни. В своей дворцовой зале, где под закоптелыми стропилами висели рога оленей и других зверей, он устраивал пиры, на которые собирал арфистов со всей Альки и других островов, да и сам пел

хвалебные песни в честь героев. Справедливый и великодушный, но снедаемый пламенной жаждой славы, он не мог удержаться, чтобы не предавать смерти всякого, кто пел лучше его.

После того как ивернские монахи были изгнаны опустошавшими Бретань язычниками, король Бриан призвал изгнанников в свое королевство и велел поставить для них рядом со своим дворцом деревянный скит. Каждый день вместе с супругой своей Гламорганой он отправлялся в монастырскую часовню, присутствовал при богослужении и пел гимны.

В монастыре был один монах по имени Оддул, во цвете юных лет украшенный познаниями и добродетелями. Это причиняло сильную досаду диаволу, и тот неоднократно пытался ввести его в искушение. Он принимал разные обличия и показывал монаху то боевого коня, то юную деву, то чашу с медовым напитком; а как-то раз встряхнул двумя игральными костями в стаканчике и предложил:

— Хочешь сыграть со мной? Ставлю все царства земные против волоска с твоей головы.

Но человек божий, осенив себя крестным знамением, отринул посягательства врага рода человеческого. Видя, что он не поддается соблаз-

ну, диавол задумал погубить его при помощи хитроумной уловки. Однажды летней ночью он приблизился к королеве, спавшей на своем ложе, представил ей образ молодого монаха, которого она видела каждый день в деревянном скиту, и приворожил ее к этому образу. Тотчас же любовь, как некий тонкий яд, проникла в жилы Гламорганы. Ее охватило желание испытать с Оддулом утехи любви. Она неустанно изыскивала предлоги, чтобы приблизить его к себе. Не раз просила она его учить ее детей читать и петь.

— Я доверяю их вам, — говорила она. — Я сама буду слушать ваши уроки, чтобы учиться у вас. Заодно вы будете наставником и детей, и их матери.

Однако юный монах отказывался, ссылаясь то на недостаток знаний, то на монашеский устав, запрещающий общение с женщинами. Но отказы его только распаляли Гламоргану. Однажды, томясь в невыносимой муке на своей постели, она велела позвать Оддула к себе в спальню. Он повиновался, но стал на пороге, потупя взор. То, что он не хотел даже взглянуть на нее, еще больше разжигало в ней тяжкое нетерпение.

— Ты видишь, — сказала она, — я совсем обессилела. У меня потемнело в глазах. Меня бросает

то в жар, то в озноб.

И так как он молчал, неподвижно стоя на пороге, она позвала его с мольбою:

— Поди, поди ко мне!

И, в исступлении протягивая руки, пыталась схватить его, притянуть к себе.

Но он убежал, порицая ее за бесстыдство.

Тогда, преисполненная гнева и опасаясь, как бы Оддул не стал всем рассказывать о ее позорной страсти, она задумала сама погубить его, чтобы он не погубил ее. Оглашая дворец воплями, она стала звать на помощь, словно находилась в большой опасности. Сбежались прислужницы и увидели, что из спальни убегает молодой монах, а королева натягивает на себя одеяло. Все в один голос закричали: «Держите убийцу!» Когда король Бриан, привлеченный шумом, вошел в спальню, Гламоргана, показывая на свои растрепанные волосы, на свои слезы, на грудь, которую сама же в любовном исступлении разодрала ногтями, сказала ему:

— Мой господин и супруг, смотрите: вот следы постигших меня оскорблений. Побуждаемый гнусной похотью, Оддул приблизился ко мне и пытался насильно овладеть мною.

Услышав ее жалобы, увидев кровь, король, вне

себя от ярости, приказал стражам схватить юного монаха и сжечь его заживо перед дворцом, на глазах у королевы.

Узнав о случившемся, ивернский аббат пошел к королю и сказал ему:

— Король Бриан, на этом примере вы можете видеть разницу между христианкой и язычницей. Римская Лукреция была самой добродетельной среди властительниц, поклонявшихся идолам; и, однако, она не имела сил противостоять нападению изнеженного юноши и, смущенная своею слабостью, впала в отчаяние, между тем как Гламоргана победоносно устояла против нападения преступника, охваченного неистовством и одержимого опаснейшим из бесов.

Тем временем Оддул дожидался в дворцовой темнице того часа, когда ему предстояло быть сожженным заживо. Но Господь не допустил гибели невинного. Он послал к нему ангела, и тот, приняв облик Гудруны, одной из прислужниц королевы, вывел его из узилища и привел в комнату той самой прислужницы.

И сказал ангел юному Оддулу:

— Я люблю тебя, ибо ты дерзаешь.

Юный Оддул, думая, что говорит с Гудруной, ответил, опустив глаза:

— Только милостью Господней дано мне было устоять против бесчинных притязаний королевы, не убоявшись гнева сей могущественной женщины.

Ангел спросил:

— Как! Ты не совершил того, в чем обвиняет тебя королева?

— Воистину нет, я не совершал сего, — ответил Оддул, положа руку на сердце.

— Не совершал?

— Нет, не совершал. Одно помышление о подобном поступке внушает мне ужас.

— Так что же ты тут торчишь, колбаса этакая![8] — воскликнул ангел.

И он открыл дверь, дабы способствовать бегству юного монаха.

Оддул почувствовал, что его с силой вытолкнули наружу. Не успел он выйти на улицу, как чья-то рука опрокинула ему на голову ночной горшок.

«Таинственны предначертания твои и неисповедимы пути твои, Господи!» — подумал он.

---

[8] Примечания: 8

Пингвинский летописец, сообщающий об этом факте, употребляет выражение «species inductilis». Я даю буквальный перевод. — *Примеч. авт.*

Глава II
Драко Великий. Перенесение мощей святой Орброзы

Род Бриана Благочестивого по прямой линии угас к 900 году в лице Коллика Курносого. Этому государю наследовал один из его родственников — Боско Великодушный, который, заботясь о судьбах престола, перебил всю свою родню. От него произошел длинный ряд могущественных королей.

Один из них, Драко Великий, стяжал громкую воинскую славу. Его побеждали чаще, чем кого-либо другого. Именно по такому постоянству в военных поражениях узнаются великие полководцы. За двадцать лет он сжег более ста тысяч деревушек, селений, посадов, малых и больших городов и университетов. Он все предавал огню не только во вражеских землях, но и в собственном своем королевстве. И, чтобы объяснить такой образ действий, обычно говорил:

— Война без пожара — что рубцы без горчицы: слишком пресно!

Он придерживался сурового правосудия. Ко-

гда захваченные им в плен крестьяне не могли внести за себя выкуп, он вешал их на дереве, а если какая-нибудь несчастная женщина, жена несостоятельного плательщика, приходила к нему с мольбой за своего мужа, Драко Великий приказывал привязать ее за косы к хвосту своего коня и пускал его вскачь. Жил он совсем просто, по-солдатски. Видимо, он соблюдал чистоту нравов. Он не только не уронил прежней славы своего королевства, но и, напротив, во всех превратностях судьбы мужественно поддерживал честь пингвинского народа.

Драко Великий велел перенести в Альку священные останки св. Орброзы.

Тело блаженной погребено было в пещере на Берегу Теней, в конце благоуханной равнины. Первыми богомольцами, являвшимися к ней на поклонение, были юноши и девушки ближних селений. Они ходили туда большей частью парами и по вечерам, как бы невольно ища уединенного места, где можно было бы под покровом темноты удовлетворить свои благочестивые стремления. Ревниво оберегая тайну от взора непосвященных, они пылко и скрытно чтили святую; они избегали говорить вслух о том, что им довелось испытать в ее пещере; но порою их заставали там шепчу-

щими друг другу слова любви, радости и восторга вперемежку с упоминанием св. Орброзы; одни томно вздыхали, твердя, что там можно забыть весь мир; другие уверяли, что после посещения пещеры чувствуешь покой и удовлетворенность. Девицы делились между собою воспоминаниями об испытанном там блаженстве.

Таковы были чудеса, творимые алькской девственницей на заре ее вечной славы: в них были нежность и неясность рассвета. Но вскоре тайна пещеры, подобно вкрадчивому благоуханию, распространилась по всей стране. Для чистых сердцем в этом были радость и назидательность, и напрасно люди развращенные пытались при помощи лжи и злословия отвратить верующих от источника благодати, струившегося из гроба святой. Церковь озаботилась тем, чтобы эта благодать стала доступна не только нескольким отрокам и отроковицам, но осенила всех христиан Пингвинии. Пещерой завладели монахи; они выстроили на берегу монастырь, часовню и странноприимный дом, и вскоре началось многолюдное паломничество к этим местам.

Как бы обретая все новые силы по мере своего пребывания на небесах, блаженная Орброза совершала теперь более значительные чудеса

над всеми, кто приходил с приношениями на ее могилу; она обнадеживала бесплодных женщин, посылала сонные видения ревнивым старикам, дабы внушить им доверие к их молодым женам, несправедливо заподозренным в измене; она охраняла страну от моровой язвы, от падежа скота, от голода, от бурь и от каппадокийских драконов.

Но во время смут, постигших страну при короле Коллике Курносом и его преемниках, богатая гробница св. Орброзы была разграблена, монастырь сожжен, монахи разбрелись кто куда; дорога, исхоженная столькими благочестивыми богомольцами, вся заросла дроком, терновником и голубым репейником, произрастающим в песках. Целых сто лет чудотворную гробницу посещали одни гадюки, совы да летучие мыши, как вдруг святая девственница явилась одному тамошнему крестьянину по имени Момордик.

— Я дева Орброза, — сказала она ему. — Ты избран мною, дабы восстановить мое святилище. Оповести жителей сих мест, что если они и впредь оставят память обо мне в небрежении, а гробницу мою без почестей и богатых даров, то явится новый дракон и опустошит страну пингвинов.

Ученые церковники исследовали природу этого видения и признали его истинным, не диавольским, а вполне небесным; впоследствии же было отмечено, что во Франции, при аналогичных обстоятельствах, св. Фидес и св. Екатерина поступили подобным же образом и держали такую же речь.

Обитель была восстановлена, и снова к ней стали стекаться богомольцы. Дева Орброза творила все более поразительные чудеса. Она исцеляла от самых тяжких болезней, как то: искривление стопы, водянка, паралич и пляска святого Витта. Монахи, взявшие гробницу под свою охрану, достигли уже завидного благосостояния, когда святая, явившись королю Драко Великому, повелела провозгласить ее небесной покровительницей королевства и перенести славные останки ее в Алькский собор.

Во исполнение этого благоуханные мощи девы были с великой торжественностью отнесены в столичную церковь и водружены перед самым алтарем в золотой раке, украшенной эмалью и драгоценными каменьями.

Церковный капитул стал вести запись чудес, совершаемых по предстательству блаженной Орброзы.

Драко Великий, неустанный защитник и ревнитель христианской веры, принял благочестивую кончину, оставив церкви большие богатства.

Глава III
Королева Крюша

После смерти Драко Великого начались ужасающие смуты. Преемников этого государя нередко обвиняли в слабости. И в самом деле, никто из них ни в малой степени не следовал примеру своего доблестного предка.

Сын его Шом, страдавший хромотою, пренебрегал расширением пингвинских границ. Боло, сын Шома, в девятилетнем возрасте был убит дворцовой стражей, когда готовился взойти на престол. Ему наследовал брат его Гун. Семилетний мальчик, он во всем подчинялся матери, королеве.

Королева Крюша была красива, образованна, умна. Но она не умела сдерживать свои страсти.

Вот как отзывается в своей рукописи досточтимый Тальпа́ об этой прославленной королеве.

«Красотою лица и стройностью телосложения королева Крюша не уступает ни Семирамиде вавилонской, ни царице амазонок Пентесилее, ни Саломее, дочери Иродиады. Но она отличается некоторыми особенностями, кои можно счесть прекрасными или безобразными, соответственно

противоречивым вкусам людей и мирским суждениям. Во лбу у нее — маленькие рожки, которые она искусно прикрывает своими густыми золотистыми волосами; один глаз — голубой, другой — черный, шея пригнута влево, как у Александра Македонского; правая рука шестипалая, а под пупком имеется как бы подобие обезьяньей головки. Поступь у нее величественная, обращение обходительное. Она славится щедростью, но не всегда умеет обуздывать свои желания доводами рассудка.

Однажды, заметив в дворцовых конюшнях молодого конюха необычайной красоты, она внезапно воспылала к нему любовью и доверила ему командование войсками. Что в этой королеве, несомненно, заслуживает похвал, так это ее обильные пожертвования на церкви, монастыри и часовни Пингвинии, в особенности на святую обитель Бергардинскую, где милостью Господней я, по четырнадцатому году жизни, принес монашеский обет. Она сделала столько вкладов для служения обеден за упокой ее души, что каждый священник церкви пингвинской стал, можно сказать, живою свечой, возжженной пред Господом, — да не будет августейшая Крюша оставлена милосердием Божьим».

По этим строкам, а также некоторым другим выдержкам, коими я украсил свое повествование, можно судить о научных и литературных достоинствах «Gesta Pinguinorum»[9]. К сожалению, летопись обрывается на третьем году правления Дракo Простодушного, бывшего преемником Гуна Слабого. Подойдя в своем повествовании к этому моменту, я горько сетую по поводу утраты такого приятного и надежного руководителя.

В продолжение двух следующих веков Пингвиния была охвачена кровавой анархией. Все искусства погибли. Среди всеобщего невежества монахи под сенью монастырей предавались ученым трудам и с неутомимым рвением переписывали Священное Писание. Так как пергамент был редок, они соскабливали старые рукописи, чтобы запечатлевать вместо них слово Божье. И по всей пингвинской земле расцветали Библии, подобно кустам роз.

Один монах ордена св. Бенедикта, по имени Эрмольд Пингвин, собственноручно соскоблил четыре тысячи греческих и латинских рукописей, чтобы переписать четыре тысячи раз Евангелие св. Иоанна. Так было уничтожено большое коли-

---

[9] Примечания: 9
«Деяния пингвинов» (*лат.*).

чество лучших произведений античной поэзии и красноречия. По единодушному признанию историков, пингвинские монастыри были в Средние века убежищами просвещения.

Конец этого периода заполняют столетние войны с дельфинами. Относительно этих войн чрезвычайно трудно установить что-либо достоверное — не по недостатку исторических свидетельств, а из-за их изобилия.

Дельфинские летописцы во всем противоречат пингвинским. Но мало того, пингвины противоречат друг другу так же, как дельфины. Я обнаружил двух летописцев, согласных между собой, но один списал у другого. Несомненно только, что в это время не прекращались убийства, насилия, пожары и грабежи.

При несчастном короле Боско IX государство было на волосок от гибели. Получив весть о том, что дельфинский флот, в составе шестисот больших кораблей, показался в виду острова Альки, епископ назначил крестный ход; капитул, выборные лица из судейского сословия, магистратура, члены парламентского суда, университетские ученые направились в собор, подняли раку св. Орброзы и обнесли ее вокруг города в сопровождении всех горожан, певших гимны. Воззвание к

святой покровительнице Пингвинии не осталось неуслышанным; но дельфины все же осадили город одновременно и с суши и с моря, взяли его приступом, а затем три дня и три ночи жгли, грабили, убивали и совершали насилия с безразличием, порожденным привычкой.

Достойно величайшего удивления, что в эти века диких войн среди пингвинов непоколебимо сохранилась вера. Свет истины озарял тогда души, не испорченные софизмами. Этим и объясняется единство верований. Счастливому единодушию паствы, несомненно, способствовало также одно обыкновение, которого придерживалась пингвинская церковь, — немедленно сжигать всякого инакомыслящего.

Глава IV
Письменность. Иоанн Тальпа

Во время малолетства короля Гуна бергардинский монах Иоанн Тальпа, давший обет монашества еще в четырнадцатилетнем возрасте и за свою жизнь ни разу не покинувший монастырской ограды, составил на латинском языке знаменитую летопись «De gestis Pinguinorum»[10] в двенадцати книгах.

Бергардинская обитель возносит свои высокие стены на неприступной горной вершине; вокруг — только синие горы да облака.

Иоанн Тальпа предпринял составление «Gesta Pinguinorum» уже в преклонных летах. Достойнейший инок сам сообщает об этом в своей книге. «Уже давно голову мою, — пишет он, — перестали украшать светлые кудри, и череп мой уподобился тем выпуклым металлическим зеркалам, с коими так прилежно и внимательно совещаются пингвинские дамы. От природы невысокий, с годами я стал еще ниже ростом, и стан мой согнулся. Белая борода укрывает грудь мою от холода».

---

[10] Примечания: 10
«О деяниях пингвинов» (*лат.*).

С очаровательным простодушием сообщает Тальпа о некоторых обстоятельствах своей жизни и кое-каких чертах своего характера. «Происходя из знатного рода, — пишет он, — и с отроческих лет предназначенный к духовному званию, я изучал грамматику и музыку. В грамоте наставлял меня учитель по имени Амикус, хотя вернее было бы назвать его Инимикус. Так как я туго усваивал буквы, то он сек меня розгами столь сильно, что, можно сказать, запечатлел азбуку жгучими письменами на моих ягодицах».

В другом месте Тальпа признается, что от природы наделен был сладострастными влечениями. Вот как выразительно пишет он об этом: «В юности плоть моя была столь пылкой, что даже в тени лесной я чувствовал себя так, словно кипел в котле, а не вдыхал лесную свежесть. Я избегал женщин. Но напрасно! При одном виде какой-нибудь незабудки или бутылки предо мною вставал женский образ».

Пока он составлял свою летопись, жестокая война, одновременно и с иноземными врагами, и междоусобная, опустошала пингвинскую землю. Солдаты Крюши, явившись в Бергардинский монастырь для защиты его от дельфинских варваров, прочно там укрепились. Чтобы сделать

обитель неприступной, они пробили бойницы в ее стенах и сняли с церкви свинцовую крышу на пули для пращей. Во дворах и крытых галереях они жгли по ночам большие костры, над которыми жарились целые туши быков, вздетых на стволы столетних горных елей, как на вертела; и, собравшись вокруг огней, в дыму, насыщенном запахом смолы и жира, солдаты вышибали днища у бочек с вином и брагой. Их песни, проклятия и споры заглушали утренний благовест.

Но вот наконец дельфины, пройдя горными ущельями, осадили монастырь. Это были северные витязи в медных доспехах. Они приставляли к отвесным скалам свои лестницы длиною в полтораста туазов, но те во мраке бурной ночи обрушивались под тяжестью людей и доспехов, и целые гроздья человеческих тел летели во рвы и в горные пропасти. В потемках слышался только протяжный вой, замолкавший где-то внизу. И начинался новый приступ. Пингвины потоками лили со стен кипящий вар, и осаждающие вспыхивали, как факелы. Шестьдесят раз дельфины яростно бросались на приступ — и шестьдесят раз были отбиты.

Уже целых десять месяцев монастырь был плотно обложен врагами, когда в праздник Кре-

щения какой-то пастух указал им потайную тропу, ведущую на вершину горы, и они проникли в подземелье монастыря, а оттуда хлынули в дворовые галереи, в кухни, в церковь, в залы капитула, в книгохранилище, в прачечную, в монашеские келии, в трапезные и спальни, предавая их огню, бесчинствуя и убивая всех, без различия пола и возраста. Застигнутые во время сна, пингвины бросились к оружию. Ночная тьма и страх мешали им видеть, и они сослепу нападали друг на друга, в то время как дельфины, тоже пуская в ход топоры, отнимали друг у друга священные сосуды, кадильницы, паникадила, ризы, богатые раки и осыпанные драгоценными каменьями золотые распятия.

В воздухе стоял едкий запах горелого человеческого мяса. Из пламени неслись крики и стоны умирающих. По краю кровель, уже готовых обрушиться, во множестве, как всполошенные муравьи, бежали монахи и падали в ущелье. А Иоанн Тальпа все писал свою летопись. Солдаты королевы Крюши, поспешно отступив, завалили все выходы из монастыря каменными глыбами, оставляя дельфинов в пылающих зданиях. А чтобы давить врагов, обрушивая на них камни и обломки стен, они пользовались как тараном

стволами вековых дубов. С громовым грохотом рушились пылающие стропила и обваливались великолепные церковные своды, когда шестьсот человек, раскачав гигантское дерево, разом ударяли им в стену. Вскоре от всей богатой и обширной обители осталась только келья Иоанна Тальпы, чудом уцелевшая среди дымящихся развалин на верхушке обгорелой стены. А старый летописец все писал и писал…

Такая поразительная сосредоточенность мысли может все же показаться чрезмерной у летописца, ведущего записи о событиях своего времени. Но, как бы ни был человек рассеян и как бы ни был отрешен от окружающей жизни, он не может не чувствовать на себе ее влияния. Я ознакомился с оригиналом рукописи Иоанна Тальпы, хранящимся в Национальной библиотеке (Пингв. фонд, К. L6, 12390 quater). Это рукопись на пергаменте, состоящая из шестисот двадцати восьми листов. Почерк крайне неровен; буквы не ложатся прямыми строчками, но скачут в разные стороны, сталкиваются и налетают одна на другую в беспорядке или, вернее, в полном смятении. Они так плохо выписаны, что в большинстве случаев невозможно не только разобрать их, но и даже отличить от многочисленных чернильных клякс.

Всем видом своим эти бесценные страницы говорят о потрясениях, среди которых они были начертаны. Читать их трудно. Стиль же бергардинского монаха, напротив, не носит никаких следов волнения. Тон «Gesta Pinguinorum» отличается неизменной простотой. Повествование кратко и настолько сжато, что порою впадает в сухость. Рассуждения встречаются редко и в большинстве случаев обоснованны.

Глава V
Искусства. Примитивы пингвинской живописи

Пингвинские критики обычно утверждают, что искусство пингвинов с самого зарождения отличалось прелестным и мощным своеобразием и что нигде у других народов нельзя найти такой глубины и такого изящества, какими характеризуются эти ранние произведения. Дельфины же заявляют, что это их художники были первыми учителями и постоянными наставниками пингвинов. Трудно судить, кто прав, поскольку пингвины стали восхищаться своими ранними художниками уже после того, как уничтожили все их творения.

Такая утрата в высшей степени плачевна. Я чувствую ее с особенной остротой, так как высоко чту пингвинские древности и преклоняюсь перед первобытным искусством.

Эти художники очаровательны. Нельзя сказать, что все они между собою схожи, но у них есть общие черты, присущие всем школам, — иначе говоря, обязательные для всех приемы и

некая законченность, ибо то, что эти художники знают, они знают хорошо. К счастью, о пингвинских примитивах можно составить понятие по примитивам итальянским, фламандским, немецким и особенно французским, превосходящим все остальные; как заметил г-н Грюйе, во французских больше логики, потому что логика — это качество чисто французское. Возможно, кто-нибудь не согласится с таким мнением; но, во всяком случае, надо отдать справедливость Франции, сохранившей свои примитивы, меж тем как другими народами они утрачены. В 1904 году на выставке французских примитивов в Марсанском павильоне было показано несколько маленьких панно времен последних Валуа и Генриха IV.

Я совершил немало путешествий, чтобы видеть картины братьев ван Эйков, Мемлинга, Рогира ван дер Вейдена, автора «Успенья Богородицы», Амброджо Лоренцетти и старых умбрийцев. Но все же мое окончательное приобщение к подобной живописи совершилось не в Брюгге, Кёльне, Сиене или Перудже; убежденным приверженцем безыскусственной живописи я стал в маленьком городке Ареццо. Это произошло лет десять тому назад, а то и раньше. При тогдашней бедности и

простоте нравов, городские музеи были во всякое время на замке, но во всякое время открывались для forestieri[11]. Однажды вечером старушка со свечой показала мне за пол-лиры грязный музей города Ареццо, и я обнаружил там картину Маргаритоне «Св. Франциск», которая исторгла у меня слезы своей благочестивой печалью. Я был глубоко растроган; с тех пор Маргаритоне из Ареццо стал для меня самым любимым из ранних художников.

Я сужу о ранних художниках Пингвинии по произведениям этого мастера. Поэтому будет нелишним уделить ему здесь некоторое внимание и, не останавливаясь на подробностях, дать о нем хотя бы самое общее и, смею так выразиться, ясное представление. Сохранилось пять-шесть картин, носящих его подпись. На главном его полотне, хранящемся в Лондонской National Gallery[12], изображена Дева Мария, сидящая на престоле с Христом-младенцем на руках. Что поражает при первом взгляде, так это пропорции фигуры. Тело, от шеи до ступней, больше головы только вдвое: оно кажется чрезвычайно корот-

---

[11] Примечания: 11
Иностранцев (*ит.*).

[12] Примечания: 12
Национальной галерее (*англ.*).

ким и приземистым. Не менее, чем рисунком, произведение это замечательно и своими красками. Цвета, бывшие в распоряжении великого Маргаритоне, весьма немногочисленны, и он применял их во всей чистоте, никогда не смешивая тонов. Вот почему в колорите у него больше живости, чем гармонии. Щеки Богоматери и младенца — великолепного алого цвета, причем старый мастер, простодушно предпочитая четкие очертания, румянец на обоих лицах изобразил в виде кругов, до такой степени правильных, словно они вычерчены циркулем.

Ученый критик XVIII столетия аббат Ланци отнесся к работам Маргаритоне с великим презрением. «Это грубая мазня, — писал он. — В те злосчастные времена не умели ни рисовать, ни писать красками». И такого мнения единодушно придерживались все эти знатоки искусства в напудренных париках. Но великий Маргаритоне и его современники вскоре были отмщены за столь жестокое презрение к ним. В XIX веке в благочестивой Англии, среди деревенских приверженцев Библии и в коттеджах реформистов, народилось множество маленьких Самуилов и святых Иоаннов, курчавых, как барашки, — они-то к 1840–1850 годам превратились в очкастых

ученых, установивших культ примитивов.

Выдающийся теоретик прерафаэлизма сэр Джемс Теккет смело причисляет Мадонну в National Gallery к лучшим произведениям христианского искусства. «Придавая голове Богоматери размер, равный трети всей фигуры, — пишет сэр Джемс Теккет, — старый мастер тем самым настойчиво привлекает внимание зрителя к наиболее благородной части человеческого облика, — в особенности к глазам, которые недаром называются “зеркалом души”. В этой картине колорит, в полном согласии с рисунком, преследует цель создать впечатление чего-то идеального и мистического. Алый румянец щек не похож на естественный; скорей кажется, что старый мастер украсил лица Святой Девы и младенца райскими розами».

На подобного рода критике, так сказать, играет отблеск превозносимой ею картины; однако серафический эдинбургский эстет Мак-Силли еще острей и проникновенней передал впечатление, произведенное на его душу созерцанием этого примитива. «Мадонна Маргаритоне достигает трансцендентной цели искусства, — говорит почтенный Мак-Силли, — она пробуждает в тех, кто на нее смотрит, невинность, чистоту, уподобляя

их малым детям. До какой степени это верно, можно убедиться по тому, что в возрасте шестидесяти лет, после упоительного созерцания этой картины в течение трех часов подряд, я вдруг почувствовал себя грудным младенцем. Проезжая в кебе по Трафальгар-сквер, я тряс футляром от очков, как детской погремушкой, заливаясь смехом и что-то лепеча. А когда в семейном пансионе, где я живу, служанка подала мне обед, я принялся черпать ложкой суп и с детской непринужденностью лить его себе в ухо».

«Подобное действие могут оказывать только совершеннейшие произведения искусства», — добавляет Мак-Силли.

«Маргаритоне, — сообщает Вазари, — умер в возрасте семидесяти семи лет, сожалея о том, что дожил до того времени, когда появилось новое искусство и новые художники были увенчаны славой». Эти строки, приведенные здесь мною дословно, вдохновили в свое время сэра Джемса Теккета на создание страниц, быть может, самых прелестных во всем его литературном наследии. Они входят в состав «Настольной книги эстетов»; все прерафаэлиты знают их наизусть. Я хочу процитировать их здесь, дабы они послужили драгоценнейшим украшением моей книги. По

общему мнению, ничего более возвышенного не было написано со времени израильских пророков.

ВИДЕНИЕ МАРГАРИТОНЕ

Однажды Маргаритоне, обремененный годами и трудом, посетил мастерскую молодого художника, недавно поселившегося в городе. Он заметил в мастерской одну Мадонну, только что написанную, которая при всей своей строгости и суровости отличалась известной правильностью пропорций и прямо диавольской игрой света и тени, что придавало ей пластичность и жизненность. В этой картине простосердечный и высокий духом мастер из Ареццо с ужасом провидел живопись будущего.

Закрыв лицо руками, он прошептал:

— Какой позор предчувствую я, глядя на это изображение! Я предугадываю в нем конец христианского искусства, которое изображает душу, внушая жгучую тоску по небесам. Будущие художники не ограничатся тем, что станут, подобно этому юноше, воспроизводить на стене или на деревянной доске наше отмеченное проклятием естество — они будут славить и восхвалять его. Они придадут изображениям пагубное сходство

с живым существом, оденут их плотью. У святых появятся тела, под одеждой будут чувствоваться человеческие формы. У святой Магдалины будут женские груди, у святой Марфы — живот, у святой Варвары — бедра, у святой Агнессы — ягодицы (buttocks); святой Себастиан обнажит юношескую красоту своего тела, а святой Георгий выставит из-под доспехов богатую мускулатуру зрелого мужчины. Апостолы, исповедники, ученые-богословы и сам Бог Отец предстанут в образах непотребных стариков совсем как мы, грешные; ангелы будут смущать сердца своей таинственной красой, двусмысленною и дразнящей. Могут ли подобные изображения вызывать в нас жажду небесного? Отнюдь нет; вместо этого они станут прививать вкус к формам земной жизни. Остановятся ли художники в своих нескромных поисках и на этом? Нет, не остановятся. Они дойдут до того, что станут показывать мужчин и женщин обнаженными наподобие римских идолов. Будет существовать искусство мирское и искусство священное, но и священное будет таким же мирским.

— Сгиньте, бесы! — воскликнул вдруг старый художник.

Ибо в пророческом видении пред ним возник-

ли праведники и святые, подобные задумчивым атлетам; возникли Аполлоны, играющие на скрипке на вершине горы, среди цветов, в окружении нимф, чуть прикрытых легкими туниками; возникли Венеры, спящие под тенистыми миртами, и Данаи, подставляющие золотому дождю свои восхитительные чресла; возникли Иисусы, под колоннадами, среди патрициев, светлокудрых дам, музыкантов, пажей, негров, собак и попугаев; возникли, в беспорядочном смешении человеческих тел, раскинутых крыльев и развевающихся тканей, Вифлеемские пещеры, едва вмещающие множество суетливых фигур; дородные Святые семейства; торжественные Распятия; возникли святые Екатерины, святые Варвары, святые Агнессы, затмевающие патрицианок бархатом, парчою и перлами роскошных своих нарядов и ослепительной белизною своих обнаженных грудей; возникли Авроры, разбрасывающие охапки роз; возникли многочисленные нагие Дианы и нимфы, застигнутые врасплох среди тенистых зарослей на берегу ручья. И умер великий Маргаритоне, задохнувшись от страшного предчувствия всех ужасов Возрождения и Болонской школы.

Глава VI
Марбод

До нас дошел драгоценный памятник пингвинской литературы XV века — повесть о хождении по преисподней, которое совершил Марбод, монах ордена св. Бенедикта, пламенный поклонник поэта Вергилия. Этот рассказ, написанный на недурном латинском языке, был опубликован г-ном Дюкло де Люном. Ниже приводится впервые французский перевод. Полагаю, что окажу услугу моим соотечественникам, дав им возможность познакомиться с этими страницами, конечно, не единственными в своем роде среди произведений средневековой латинской литературы. Из подобных фантастических рассказов назовем, например, «Плавание св. Брендана», «Видение Альберика», «Чистилище св. Патрика» — вымышленные описания предполагаемого загробного мира, вроде «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Рассказ Марбода — одно из самых поздних произведений на такую тему, но отнюдь не наименее странное.

СОШЕСТВИЕ МАРБОДА В ПРЕИСПОДНЮЮ

В году тысяча четыреста пятьдесят третьем от воплощения Сына Божия, незадолго до того, как враги честно́го животворящего креста вошли в град Елены и великого Константина, даровано было мне, брату Марбоду, недостойному монаху, видеть и слышать то, чего никто доныне не слышал и не видел. Я составил о том правдивое повествование, дабы память о происшедшем не исчезла вместе со мною, ибо краток срок жизни человеческой. В первый день мая означенного года, в час, когда в Корриганском аббатстве служили вечерню, я, сидя на камне возле колодца, укрытого под сенью шиповника, читал, по обыкновению своему, одну из песен излюбленного мною поэта Вергилия, поведавшего о труде земледельческом, о пастухах и вождях. Вечер уже окутывал складками своей багряницы своды монастыря, и я в волнении шептал стихи о том, как Дидона Финикиянка влачит дни свои под миртами преисподней, чувствуя боль еще не зажившей раны. Тут мимо меня прошел брат Гилярий, сопровождаемый братом Гиацинтом, монастырским привратником.

Взращенный в варварское время, до возрожде-

ния муз, брат Гилярий не приобщен к античной мудрости; однако поэзия Мантуанца, словно свет факела, пронизывающий тьму, заронила луч свой и в его разум.

— Брат Марбод, — спросил он меня, — что за стихи произносишь ты прерывистым шепотом, с таким волнением, что у тебя вздымается грудь и сверкают глаза? Не из великой ли они «Энеиды», от которой ты не отрываешь взора с утра до вечера?

Я ответил ему, что читал то место у Вергилия, где сын Анхиза увидал Дидону, подобную луне за листвою деревьев[13].

— Брат Марбод, — заметил он, — я не сомневаюсь, что Вергилий во всех случаях высказывает мудрые суждения и глубокие мысли. Но песни, которые он наигрывал на сиракузской флейте, полны такой красоты и такого высокого смысла, что способны просто ослепить нас.

— Будь осторожен, отец мой, — испуганно воскликнул брат Гиацинт. — Вергилий был волшебник и совершал чудеса при помощи демонов.

---

[13] Примечания: 13

У Вергилия: «...qualem primo qui surgere mense / Aut videt aut videsse putat per nubila lunam» (...как тот, кто видит или кому кажется, что он видел, как в начале месяца появляется в облаках луна) (*лат.*).

Брат Марбод, впадая в странную ошибку, созданный поэтом образ заменяет совершенно другим. — *Примеч. авт.*

Именно так прорыл он насквозь гору близ Неаполя и сделал бронзового коня, обладавшего силой исцелять все конские болезни. Он был некромант, и еще ныне в одном из городов Италии показывают зеркало, в котором он заставлял появляться мертвых. Но все-таки женщина провела этого могущественного колдуна: одна неаполитанская куртизанка поманила его из окошка и склонила его сесть в подъемную корзину, служившую для доставки наверх провизии, а затем коварно оставила его висеть всю ночь между двумя этажами.

Но брат Гилярий, словно не слыша этих речей, сказал:

— Вергилий — пророк. Да, он пророк, далеко превзошедший сивилл с их священными песнями, и дочь царя Приама, и великого прорицателя — Платона Афинского. В четвертой из своих сиракузских песней он предрекает рождество Господа нашего, причем речь его кажется скорей небесной, чем земной[14].

В те дни, когда я еще учился, впервые прочитанные мною слова: «Jam redit et virgo» — погрузили

---

[14] Примечания: 14

За три столетия до того времени, как жил наш Марбод, в церквах на Рождество пели:

Maro, vates gentilium.

Da Christo testimonium. — *Примеч. авт.*

(О Марон, прорицатель народов, свидетельствуй о Христе) (*лат.*).

меня в бесконечное блаженство; но тут же я почувствовал себя уязвленным печалью при мысли о том, что, навсегда лишенный лицезрения Господа, автор этой пророческой песни, самой прекрасной среди песней, когда-либо исходивших из уст человеческих, томится в вечном мраке, вместе с язычниками. Эта жестокая мысль не оставляла меня. Она преследовала меня даже во время моих занятий, молитв, размышлений и подвигов воздержания. Думая о том, что Господь навеки отвратил от Вергилия лицо свое и тот, быть может, даже разделяет участь всех осужденных на адские мучения, я не знал ни радости, ни покоя и каждый день многократно восклицал, воздевая к небесам руки: «Открой мне, Господи, какую участь назначил ты тому, кто пел на земле, подобно ангелам в небесах?»

Тревога моя прекратилась через несколько лет, когда в одной древней книге я прочитал, что великий апостол, призвавший язычников в церковь Христову, — святой Павел, прибыв в Неаполь, слезами своими освятил гробницу

царя поэтов[15]. Это дало мне основание полагать Вергилия, как императора Траяна, допущенным в рай за то, что он из тьмы заблуждений своих прозревал истину. Такой вывод не обязателен, но мне сладостно убеждать себя в этом.

Затем старец Гилярий пожелал мне мирного и благостного сна и удалился вместе с братом Гиацинтом.

Я снова предался наслаждению моим любимым поэтом. Пока я с книгою в руке размышлял о тех, кто, сраженный Амуром, погиб от жестокой муки и тайными тропами бродит теперь по зарослям миртовой рощи, в воде монастырского колодца к лепесткам шиповника примешались отсветы звезд. Внезапно огоньки, благоухания ночи, спокойствие небосвода — все исчезло. Чудовищный Борей, бушуя во мраке, с ревом обрушился на меня, поднял меня в воздух и, как соломинку, понес через города и веси, через реки и горы, сквозь грохочущие громом тучи и нес всю долгую, долгую ночь, слившуюся из целой вереницы дней и ночей. И когда наконец упорная

---

[15] Примечания: 15

Ad Maronis mausoleum Ductus, fudit super eum Piae rorem lacrymae. Quem te, inquit, reddidissem, Si te vivum invenissem. Poetarum maxime!

Приведенный к гробнице Марона, он пролил росу благочестивой слезы и сказал: «Кем бы я тебя сделал, если бы застал живым, о величайший из поэтов!» (*лат.*)

и жестокая ярость урагана утихла, я оказался далеко от родных мест, в глубине некоей долины, окаймленной кипарисами.

И приблизилась ко мне женщина, исполненная мрачной красоты, в длинных, влачащихся по земле одеждах. Положив левую руку мне на плечо и указывая правой на широколиственный дуб, она сказала:

— Смотри!

Тогда я понял, что это Сивилла, охранительница священной Авернской рощи, и в густой листве дерева, на которое указывал ее перст, я различил золотую ветвь, любезную прекрасной Прозерпине.

Поднявшись с земли, я воскликнул:

— Так, значит, о вещая дева, ты разгадала мое желание и удовлетворила его! Ты показала мне дерево со сверкающей ветвью, без которой никому не дано войти живым в обитель мертвых. А я воистину пламенно желал беседовать с тенью Вергилия.

Сказав так, я сорвал с древнего дуба золотую ветвь и бесстрашно устремился в дымящуюся пропасть, через которую пролегает путь к тинистым берегам Стикса, туда, где, подобно опавшим листьям, кружатся тени умерших. При виде вет-

ви, посвященной Прозерпине, Харон пустил меня к себе в ладью, заскрипевшую под тяжестью моего тела, и я доплыл до брега мертвых, где меня встретил беззвучным лаем трехголовый Цербер. Я замахнулся на него тенью камня, и призрачное чудовище убежало в свое логово. В тех местах, среди камышей, кричат младенцы, едва раскрывшие глаза навстречу сладостному сиянию дня и тут же сомкнувшие их; в глубине мрачной пещеры судит смертных Минос. Я проник в миртовую рощу, где, тоскуя, влачатся жертвы любви — Федра, Прокрида, печальная Эрифила, Эвадна, Пасифая, Лаодамия, и Кения, и Дидона Финикиянка; вслед за тем перешел пыльные поля, отведенные для знаменитых воинов. По ту сторону полей берут начало две дороги. Левая — в Тартар, местопребывание нечестивцев. Я пошел по правой, ведущей к Елисейским полям и обители Дия. Повесив священную ветвь у дверей богини, я достиг отрадных лугов, одетых пурпуровым светом. Тени философов и поэтов вели там между собой степенную беседу. Грации и музы водили на траве легкие хороводы. Под звон своей сельской лиры пел старый Гомер. Глаза его были закрыты, но уста струили свет божественно прекрасных образов. Я видел Солона, Демокри-

та и Пифагора, следивших за играми юношей на зеленом лугу, а сквозь листву древнего лавра заметил Гесиода, Орфея, меланхолического Еврипида и мужественную Сафо. Проходя мимо прохладного ручья, я среди сидящих на берегу узнал поэта Горация, Вария, Галла и Лукрецию. Немного в стороне от них Вергилий, прислонившись к темному падубу, задумчиво озирал рощу. Высокий, с тонким станом, он и здесь сохранил свой деревенский вид, свой загар и небрежность одежды — весь грубоватый облик, под которым при жизни скрывался его гениальный дар. Я благоговейно склонился перед ним и долго не мог произнести ни слова. Наконец, преодолев смущение, сжимавшее мне горло, я воскликнул:

— О любимец авзонийских муз, прославивший имя латинян! О Вергилий, ты дал мне познать красоту, ты приобщил меня к пиршеству богов и ложу богинь. Не отвергни хвалы смиреннейшего из твоих почитателей.

— Встань, чужестранец! — отвечал мне божественный поэт. — Я узнаю в тебе живого по длинной тени, отбрасываемой на траву твоим телом при свете этого вечно длящегося вечера. Ты не первый из смертных, сошедший еще при жизни в эти обители, как ни трудно какое-либо

общение между живыми и нами. Но перестань восхвалять меня: я не люблю похвал — смутный шум славы всегда оскорблял мой слух. Вот почему, бежав из Рима, где я был известен в среде праздных и любопытных, я уединенно трудился в моей милой Партенопее. И потом, чтобы оценить значение твоих похвал, я недостаточно уверен, что мои стихи понятны людям твоего века. Кто ты?

— Я Марбод, из королевства Альки. Принял постриг в Корриганском монастыре. Читаю стихи твои днем и ночью. Только ради того, чтобы видеть тебя, спустился я в преисподнюю: я жаждал знать, какова здесь твоя участь. На земле ученые часто спорят об этом. Одни полагают в высшей степени вероятным, что, прожив всю жизнь при господстве демонов, ты горишь ныне в неугасимом огне; другие, более осторожные, не высказывают никакого суждения, считая все рассказы о мертвых малодостоверными и полными вымыслов; некоторые — надо сказать, не из самых больших умников — утверждают, что, дав голосу муз сицилийских звучать на возвышенный лад и провозвестив пришествие нового сына небес, ты, подобно императору Траяну, был допущен в христианский рай, чтобы вкушать там

вечное блаженство.

— Ты видишь, что все это не так, — с улыбкой промолвила тень.

— В самом деле, о Вергилий, я встретил тебя среди героев и мудрецов, в Елисейских полях, описанных тобою самим. Так, значит, вопреки всему, что многие думают на земле, никто не приходил сюда за тобою от имени того, кто царит в небесах?

После довольно долгого молчания он отвечал:

— Не скрою от тебя ничего. Он посылал за мною; один из его посланцев, какой-то простодушный человек, пришел сказать мне, что меня ждут и что хотя я не приобщен к их таинствам, но, во внимание к моим пророческим песням, мне обеспечено место среди приверженцев новой секты. Однако я отказался от приглашения. Мне совсем не хотелось переселяться. Это не значит, что я разделяю восхищение греков их Елисейскими полями и что я вкушаю здесь утехи, из-за которых Прозерпина забыла свою мать. Я никогда особенно не верил тому, что сам рассказывал обо всем этом в «Энеиде». Воспитанный философами и физиками, я предчувствовал, каково истинное положение дел. Жизнь в преисподней чрезвычайно ограниченна; здесь не испытывают

ни радости, ни страдания; существуют как бы не существуя. Мертвые обладают здесь только тем бытием, каким их наделяют живые. И все же я предпочел остаться здесь.

— Но как объяснил ты, Вергилий, столь странный отказ?

— О, весьма убедительно. Я сказал посланцу Бога, что не заслуживаю такой чести и что стихам моим придают смысл, которого они не имеют. На самом деле в четвертой эклоге своей я нисколько не изменил вере предков. Только невежественные евреи могли истолковать в пользу некоего варварского бога песнь, где я славлю наступление нового золотого века, возвещенного прорицаниями Сивиллы. Вот я и сослался на то, что не имею никакого права занять место, отводимое мне по ошибке. Затем я указал на свой темперамент и вкусы, не соответствующие нравам новых небес.

«Я отнюдь не нелюдим, — сказал я этому человеку. — При жизни я отличался мягким и легким характером. Крайняя простота всего моего обихода давала повод подозревать меня в скупости, но я ничего не приберегал для себя одного; моя библиотека была доступна каждому, и я согласовывал свое поведение с прекрасными словами Еврипида: “У друзей все должно быть общим”.

Хвалы мне докучали, когда имели в виду меня, но доставляли удовольствие, когда были обращены к Варию или Макру. Однако больше всего влечет меня простая сельская жизнь; мне по нраву общение с животными; я так тщательно их наблюдал, так о них заботился, что прослыл, и не без оснований, очень хорошим ветеринаром. Мне говорили, что люди из вашей секты признают наличие бессмертной души у себя, но отрицают ее у животных, — это нелепость, заставляющая меня сомневаться в их разуме. Я люблю стада и — быть может, немного слишком — пастухов. У вас на это взглянули бы косо. Есть правило, которому я всегда стремился следовать в своих поступках: ничего “слишком”! Не только слабое здоровье, но главным образом усвоенная мною философия приучила меня во всем соблюдать меру. Я воздержан в пище: какой-нибудь латук, несколько маслин да глоток фалернского составляли всю мою трапезу. Я лишь изредка посещал ложе чужестранок; я не засиживался в таверне, глядя, как молодая сирийка пляшет под звуки кротала[16]. Но если я сдерживал свои страсти, то лишь ради самого себя и в силу хорошего воспитания; а бо-

[16] Примечания: 16

Если верить Марбоду, эта фраза, по-видимому, подтверждает, что «Сора» принадлежит Вергилию. — *Примеч. авт.*

яться радости и избегать наслаждений казалось мне всегда самым отвратительным оскорблением, какое можно нанести природе. Меня уверяли, что среди избранников твоего Бога некоторые при жизни воздерживались от пищи и избегали женщин из любви к лишениям, добровольно подвергая себя бесполезным страданиям. Я боялся бы встретиться с подобными преступниками, омерзительными для меня своим неистовством. От поэта нельзя требовать слишком строгого подчинения какой-нибудь физической или моральной доктрине. К тому же я римлянин, а римлянам, в отличие от греков, недоступно сложное искусство погружаться в глубины отвлеченной мысли: если они принимают какую-нибудь философскую систему, то главным образом с целью извлечь из нее практическую пользу. Сирон, которого у нас высоко ценили, преподал мне учение Эпикура, тем самым избавив меня от пустых страхов и отвратив от жестокости, которую внушает религия своим невежественным последователям; Зенон научил меня терпеливо переносить неизбежные страдания; я воспринял мысли Пифагора о том, что душа есть и у людей, и у животных и что у тех и других она божественного происхождения. Это учит нас не гордиться собою, но не

стыдиться за себя. Я узнал от александрийцев, как земля, сначала мягкая и податливая, постепенно затвердела, когда Нерей стал отступать от нее, углубляясь то тут, то там в свою влажную обитель; как незаметно образовалась природа; каким образом дождь, падая из облегчаемых туч, питал молчаливые леса и, наконец, какое долгое развитие потребовалось для того, чтобы первые животные стали бродить по безыменным горам. Я уже не способен примениться к вашей космогонии, более пригодной для погонщиков верблюдов где-нибудь в сирийских песках, чем для ученика Аристарха Самосского. Да и что мне делать в ваших блаженных селениях, где я не встречу ни своих друзей, ни предков, ни учителей, ни богов, где мне не дано будет видеть могущественного сына Реи, Венеру со сладостной улыбкой на устах, мать Эннеад, Пана, юных дриад, сильванов и старого Силена, которому Эглея вымазала лицо пурпурным соком тутовых ягод?»

Вот какие доводы я привел простодушному посланцу, с тем чтобы он представил их преемнику Юпитера.

— А с тех пор, о великая тень, к тебе уже не являлись посланцы?

— Нет, никто не являлся.

— Утешать в твоем отсутствии возложено там на трех поэтов: Коммодиана, Пруденция и Фортуната, рожденных в темную пору, когда не знали больше ни просодии, ни грамматики. Но скажи, о Мантуанец, ужели не получил ты больше никакой вести о Боге после того, как столь неосмотрительно отверг общение с ним?

— Если память не изменяет мне, никакой.

— А разве ты не сказал, что я не первый сошел живым в эти селения и предстал пред тобою?

— Ах да, ты напомнил мне… Вот уже полтораста лет (насколько могу судить, ибо трудно теням вести счет дней и годов), как глубокий покой мой был потревожен странным посещением. Бродя по берегам Стикса, осененным призрачно-бледной листвой, я вдруг увидел пред собой человеческий образ, более плотный и темный, чем обитатели этих мест; я догадался, что это — живой. Он был высокого роста, тощий, с орлиным носом, с острым подбородком, ввалившимися щеками; черные глаза его метали пламя; красный капюшон с надетым поверх него лавровым венком прикрывал впалые виски. У него проступали кости под узкой одеждой бурого цвета, доходившей ему до пят. Поклонившись мне с почтительностью, особенно заметной при какой-то мрачной

гордости всего его облика, он обратился ко мне на языке, еще более неправильном и темном, чем у галлов, которыми божественный Юлий наводнил легионы и курию. Мне все же удалось понять, что он рожден близ Фезул, в этрусской колонии, основанной Суллою на берегу Арнуса и впоследствии достигшей процветания; что там он уже занимал почетные должности в городском управлении, но, когда между сенатом, всадниками и народом возникли кровавые распри, он со всем пылом вмешался в них и теперь, побежденный, высланный из родного города, влачил по свету долгие дни изгнания. Он рассказал мне об Италии, еще более жестоко раздираемой смутами и междоусобицами, чем во времена моей молодости, и воздыхающей о приходе нового Августа. Я пожалел его, памятуя о своих собственных тяжких испытаниях.

В нем чувствовалась страстность отважной души, ум его питал широкие замыслы, но, увы, грубым невежеством своим человек этот свидетельствовал о торжестве варварства. Он не знал ни поэзии, ни науки греков, ни даже их языка, и взгляды древних на происхождение мира и природу богов были ему неизвестны. Он с важностью повторял басни, над которыми в Риме моего

времени посмеялись бы даже самые маленькие дети, допускаемые бесплатно в баню. Чернь легко верит в существование разных чудовищ. В особенности этруски населили преисподнюю безобразными демонами, подобными горячечным видениям больного. Что этруски сохранили приверженность к детским своим вымыслам на протяжении стольких веков, можно объяснить длительными и со временем даже возросшими невежеством и нищетою; но чтобы одно из их должностных лиц, человек в умственном отношении выдающийся, разделял пустые народные верования и боялся отвратительных демонов, которых во времена Порсены местные жители изображали на стенах гробниц, — это может огорчить даже мудреца. Этруск прочел мне свои стихи, составленные на новом наречии, которое он называет народным языком, но смысла их я разобрать не мог. Мне показалось скорее странным, чем привлекательным, его обыкновение подчеркивать ритм, повторяя три-четыре раза через правильные промежутки одни и те же звуки. Такое ухищрение вовсе не кажется мне удачным, но не мертвым судить живых.

Впрочем, этому колону Суллы я ставлю в упрек не то, что, рожденный в злосчастные времена,

он слагает неблагозвучные стихи, что он, если только это возможно, такой же плохой поэт, как Бавий и Мевий, — за ним есть другие провинности, которые больше задевают меня. Поистине чудовищно и почти невероятно! Этот человек, вернувшись на землю, распространил обо мне отвратительные измышления; он уверяет во многих местах дикой поэмы своей, будто я водил его по новому Тартару, которого я совершенно не знаю; он нагло возвестил повсюду, будто я считаю римских богов ложными и лживыми богами, а истинным богом зову нынешнего преемника Юпитера. Друг мой, когда ты снова увидишь сладостный свет солнца и вернешься к себе на родину, опровергни эти гнусные выдумки; убеди народ свой, что певец благочестивого Энея никогда не воскурял фимиама еврейскому Богу.

Меня уверяют, что могущество его клонится к упадку и что несомненные признаки позволяют предвидеть его скорое падение. Такие вести доставили бы мне некоторую радость, если бы можно было радоваться в этих местах, где не испытывают ни страха, ни желаний.

Так он сказал и, безмолвно простившись со мной, удалился. Я смотрел, как тень эта скользит по цветам асфоделей, не сгибая стеблей; видел,

как она становится все меньше и туманней, по мере того как удаляется от меня; затем она совершенно исчезла, не достигнув вечнозеленой лавровой рощи. Тогда я понял смысл его слов: «Мертвые обладают только тем бытием, каким их наделяют живые», — и, ступая в задумчивости по бледной зелени лугов, я пошел ко вратам из рога.

Заверяю, что все здесь написанное — истинная правда[17].

---

[17] Примечания: 17

Одно место в рассказе Марбода весьма достойно внимания — именно то, где корриганский монах описывает Алигьери именно таким, как мы его себе представляем в настоящее время. На цветных миниатюрах одной из старейших рукописей «Божественной комедии» — в «Codex venetianus» — поэт изображен в виде толстенького человечка в короткой тунике, вздернутой на животе. Что же касается Вергилия, то он еще на деревянных гравюрах XVI в. представлен с бородою, приличествующей философу.

Равным образом невозможно допустить, чтобы Марбоду или даже Вергилию известны были этрусские гробницы Кьюзи и Корнето, где действительно имеется стенная живопись со множеством страшных и нелепых изображений дьяволов, на которых очень похожи дьяволы Орканьи. Тем не менее подлинность «Сошествия Марбода в преисподнюю» не вызывает никаких сомнений: г-н Дюкло де Люн убедительно доказал ее; усомниться в ней — значит усомниться в самой палеографии. — *Примеч. авт.*

Глава VII
Знаки на Луне

Когда Пингвиния еще коснела во мраке невежества и варварства, Жиль Луазелье, францисканский монах, известный своими сочинениями под именем Эгидия Авкуписа, с неугасимым пылом изучал литературу и науки. Он посвящал свои ночные бдения математике и музыке, называя их двумя прелестными сестрами, гармоническими дочерьми Числа и Фантазии. Он знал медицину и астрологию. Его подозревали в занятиях магией, и, кажется, он в самом деле производил превращения и умел находить спрятанное. Монахи его обители, обнаружив у него в келье греческие книги, читать которые были не в состоянии, решили, что это книги заклинаний, и донесли на своего слишком ученого брата, обвиняя его в колдовстве. Эгидий Авкупис бежал на остров Ирландию, где прожил тридцать лет, предаваясь ученым занятиям. Он посещал монастыри, разыскивая греческие и латинские рукописи, которые там хранились, и делал с них списки. Изучал он также физику и алхимию. Он достиг всеобщего

знания и, в частности, раскрыл многие тайны животного, растительного и минерального мира. Однажды его застали запершимся наедине с женщиной совершенной красоты, которая пела, аккомпанируя себе на лютне, а потом оказалось, что это был механизм, собственноручно им сделанный.

Он часто переплывал Ирландское море, чтобы посетить монастырские книгохранилища Уэльса. Во время одной из таких поездок, стоя ночью на палубе, он увидел под водою двух осетров, плывших рядом с кораблем. Он обладал тонким слухом и знал язык рыб.

И вот он слышит, как один осетр говорит другому:

— Человек с вязанкой хвороста за плечами, которого издавна видели на луне, упал в море.

А другой осетр добавил:

— И теперь на серебряном диске увидят изображение двух влюбленных, целующих друг друга в губы.

Через несколько лет, вернувшись в свою родную страну, Эгидий Авкупис увидел, что там возродилась античная литература и что науки опять в почете. Нравы стали мягче; люди перестали преследовать нимф источников, лесов

и гор своими оскорблениями. Они пристойно украшали сады статуями муз и граций и, как в древние времена, воздавали должные почести Усладительнице людей и богов, вкушающих амброзию с ее божественных уст. Помирившись с природой, они попирали ногами пустые страхи и глядели в небеса, не боясь прочитать в них, как прежде, знаки гнева и угрозы вечных мучений.

При виде сего Эгидий Авкупис вспомнил в душе своей то, о чем возвещали два осетра в Эринском море.

Книга четвертая
Новое время Тринко

Глава I
Рукениха

Эгидий Авкупис, пингвинский Эразм, не ошибся: наступило время свободного исследования. Но великий человек увидел смягчение нравов там, где проявлялось лишь щегольство гуманизмом, и не предвидел, к каким последствиям приведет пробуждение мысли у пингвинов. Оно повлекло за собой реформацию; католики стали истреблять протестантов, протестанты стали истреблять католиков — таковы были первые достижения свободной мысли. В Пингвинии одержали верх католики. Но, сами того не сознавая, они проникнулись духом исследования; они стали примирять веру с разумом, стараясь очистить религию от позорящих ее суеверных обычаев, как впоследствии освобождали здания соборов от прилепившихся к ним лавчонок сапожников, перекупщиц и старьевщиков. Слово «легенда», первоначально означавшее то, что надлежит читать верующим, стало названием для всяких благочестивых россказней и ребяческих сказок.

От такого состояния умов пришлось немало

пострадать святым обоего пола. Например, некий каноник по имени Пренсто, весьма ученый, весьма строгий, весьма суровый, такое количество их объявил недостойным особого праздника, что его прозвали опустошителем церковных ниш. Он не признавал, что молитва св. Маргарите, приложенная в виде припарки к животу роженицы, облегчает родовые муки.

Заступница Пингвинии, столь чтимая святая, тоже не избежала его суровой критики. Вот что говорит он о ней в своих «Алькских древностях»:

«Чрезвычайно недостоверна история и даже самый факт существования св. Орброзы. Один старый анонимный составитель анналов, домбский монах, сообщает, что диавол овладел женщиной по имени Орброза в пещере, куда потом — еще и во времена самого анналиста — деревенские мальчишки и девчонки приходили играть в диавола и прекрасную Орброзу. Он добавляет, что женщина эта стала наложницей ужасного дракона, опустошавшего страну. Это совершенно невероятно, однако и в том виде, в каком история Орброзы излагалась впоследствии, она заслуживает не больше доверия.

Житие этой святой составлено аббатом Симплициссимусом спустя триста лет после того

времени, когда якобы произошли описываемые события; автор проявляет чрезмерное легковерие и полное отсутствие критического чутья».

Сверхъестественное происхождение пингвинов стало казаться сомнительным. Историк Овидий Капито решился даже отрицать их чудесное превращение. Свои «Анналы Пингвинии» он начинает так:

«Эти события окутаны мраком неизвестности, и не будет преувеличением сказать, что повествование в них соткано из ребяческих сказок и простонародных небылиц. Пингвины считают, что они будто бы произошли от птиц, окрещенных св. Маэлем и при посредстве этого славного проповедника обращенных Богом в людей. Они утверждают также, что, первоначально расположенный в Ледовитом океане, остров пингвинов стал плавучим, подобно Делосу, достиг морей, благословленных небом, и воцарился среди них. Я предполагаю, что в этом мифе отразились переселения пингвинов, происходившие в древние времена».

В следующее столетие, в век философов, скептицизм стал еще более разъедающим, — в подтверждение достаточно привести хотя бы знаменитый отрывок из «Опыта о нравственности»:

«Прибывшие неведомо откуда (ибо происхождение их далеко не ясно), подвергавшиеся одному вражескому нашествию за другим, последовательно покоряемые четырьмя или пятью народами юга, запада, востока и севера, скрестившись, смешав свою кровь, породнившись и слившись с ними, пингвины похваляются чистотою своей расы, и они правы, так как образовали действительно чистую расу. Из такого смешения племен — краснокожих, черных, желтых и белых, круглоголовых и длинноголовых — с течением веков образовалось довольно однородное человеческое семейство, обладающее некоторыми постоянными признаками, выработанными общностью жизни и нравов.

Мысль о том, что они принадлежат к прекраснейшей из всех рас на свете и составляют в ней прекраснейшее из семейств, внушает им благородную гордость, неукротимое мужество и ненависть ко всему человечеству.

Жизнь каждого народа — не что иное, как смена бедствий, преступлений и безумств. Это так же справедливо относительно пингвинов, как и относительно других народов. Тем не менее история пингвинов достойна восхищения от начала до конца».

Два классических века пингвинской истории слишком хорошо известны, чтобы здесь на них останавливаться; однако до сих пор обращалось недостаточно внимания на то, как теологи-рационалисты, вроде каноника Пренсто, породили неверующих следующего столетия. Руководствуясь своим разумом, они уничтожали в религии все, что представлялось им несущественным, оставляя незыблемыми лишь самые основы веры в узком смысле слова; их духовные наследники, привыкнув пользоваться помощью науки и разума, обратили то и другое против всего, что еще оставалось от верований; рационалистическое богословие породило натуральную философию.

Вот почему (если мне дозволено сделать переход от пингвинов былых времен к нынешнему верховному главе вселенской церкви) достойна высшего восхищения мудрость папы Пия X, воспретившего заниматься толкованием Священного Писания, ибо это противоречит божественному откровению, угрожает истинному богословию и губительно для веры. Если и найдутся монахи, готовые, вопреки запрету, поддерживать права науки, то ученость их пагубна и знания тлетворны; а если кто из верующих к ним примкнет, так это будет, клянусь, либо

безмозглый дурак, либо какой-нибудь проклятый гугенот.

В конце века философов старый режим в Пингвинии был сокрушен, король предан смертной казни, дворянские привилегии уничтожены и, посреди смуты, под грозными ударами войны, была провозглашена республика. Собрание, управлявшее тогда Пингвинией, издало указ об изъятии у церквей всех металлических предметов для их переплавки. Патриоты оскверняли гробницы королей. Рассказывают, что, когда открыли гробницу Драко Великого, он лежал там весь как из черного дерева и такой величественный, что грабители в ужасе разбежались. Согласно же другим свидетельствам, они всунули ему в рот трубку и предложили в насмешку стаканчик вина.

На семнадцатый день месяца цветов рака св. Орброзы, пять веков простоявшая в церкви Св. Маэля и окруженная благоговейным почитанием народа, была перенесена в городскую ратушу и подвергнута исследованию экспертов, назначенных общиной; рака имела форму корабля из золоченой меди, была покрыта эмалью и украшена каменьями — как обнаружилось, фальшивыми. Капитул предусмотрительно вынул все

рубины, сапфиры и изумруды, а также большие шары горного хрусталя, заменив все это кусками стекла. Внутри только и было что немного пыли и какие-то тряпки, которые бросили в большой костер, разведенный на Гревской площади для предания огню всех священных реликвий. Народ плясал вокруг, распевая патриотические песни.

С порога своей лавки, примыкавшей к городской ратуше, Рукен и Рукениха смотрели на этот беснующийся хоровод. Рукен занимался стрижкой собак и холощением котов; он усердно посещал ка-бачки.

Рукениха чинила соломенные сиденья у стульев и промышляла сводничеством; она была женщина неглупая.

— Видишь, Рукен? — сказала она мужу. — Они глумятся над святою. Раскаются они в этом!

— Ничего ты не смыслишь, жена, — отвечал Рукен. — Они стали философами, а коли ты философ, так уж на всю жизнь.

— Говорю тебе, Рукен, рано или поздно раскаются они в том, что нынче затеяли. Расправляются со святыми за то, что те мало им помогали; да ведь все равно никогда того не будет, чтобы жареные перепелки прямо в рот им попадали; останутся они такими же нищими, как прежде, а кончат

бесноваться, опять Богу молиться начнут. Придет день, — да раньше, чем можно подумать, — и наша Пингвиния снова станет почитать свою заступницу благодатную… Послушай, Рукен, а не худо бы нам на этот случай припрятать у себя где-нибудь в старом горшке щепотку пепла да несколько костей и тряпок. Скажем, что это мощи святой Орброзы, что мы их, рискуя жизнью, из огня вытащили. За такое дельце мы на старости лет от господина священника еще разрешение получим торговать церковными свечами и давать напрокат стулья в часовне Святой Орброзы.

Сказано — сделано: Рукениха выгребла из своего очага немного пепла и, положив его вместе с несколькими обглоданными костями в старый горшок из-под варенья, поставила все это на шкаф.

Глава II
Тринко

Самодержавный народ, отобрав землю у дворянства и духовенства, стал продавать ее по дешевке буржуа и крестьянам. Буржуи и крестьяне рассудили, что революция удобна для приобретения земли, но неудобна для дальнейшего ее сохранения.

Республиканские законодатели издали грозные законы в защиту собственности и эдикты, карающие смертью за призыв к разделу богатства. Но это не помогло республике. Крестьяне, став собственниками, увидели, что она, обогатив их, подорвала право собственности, и стали желать другого режима, более благоприятного для собственников и более способного упрочить новые установления.

Ждать им пришлось недолго. Республика, подобно Агриппине, вынашивала в чреве своего собственного убийцу. Вынужденная вести большие войны, она создала военные силы, которым предстояло спасти ее — и уничтожить.

Республиканские законодатели рассчитывали

сдерживать генералов угрозой наказаний. Но если иногда они и рубили головы военным, терпевшим поражения, то не могли так поступать с военными, одерживавшими победы и приобретавшими влияние как спасители республики.

Воодушевленные бранною славой, воспрянувшие пингвины отдались во власть дракону, еще более ужасному, чем дракон из баснословных преданий, и он в течение четырнадцати лет, подобно аисту, призванному на царство лягушками, пожирал их своим ненасытным клювом.

Через полвека после правления нового дракона один молодой малайский махараджа по имени Джамби, совершая, подобно скифу Анахарсису, образовательное путешествие, посетил Пингвинию и составил любопытное описание этой страны, первую страницу которого мы здесь приводим.

ПУТЕШЕСТВИЕ МОЛОДОГО ДЖАМБИ ПО ПИНГВИНИИ

После девяностодневного плавания по морю я высадился в обширном и пустынном порту войнолюбивых пингвинов и по невозделанным землям добрался наконец до столицы, лежащей в развалинах. Опоясанная валами, полная казарм

и арсеналов, она являла вид воинственный, но разоренный.

На улицах всякие рахитичные калеки, гордо таскавшие на себе лохмотья военных мундиров, бряцали ржавым оружием.

— Что вам здесь надо? — грубо окликнул меня у городских ворот какой-то солдат с грозно торчащими в небо усами.

— Сударь, — отвечал я ему, — я приехал сюда из любознательности — осмотреть остров.

— Это не остров, — поправил меня солдат.

— Как! — воскликнул я. — Остров пингвинов, оказывается, не остров?!

— Нет, сударь, — это инсула[18]. Прежде его действительно называли островом, но вот уже сто лет, как он, согласно декрету, именуется инсулой. Это единственная инсула во всем мире. Паспорт у вас есть?

— Вот он!

— Ступайте завизируйте его в министерстве иностранных дел.

Хромой провожатый, посланный со мною, остановился на большой площади.

— Наша инсула, как вам известно, — сказал

---

[18] Примечания: 18
Инсула (insula) — «остров» (*лат.*).

он, — родина величайшего гения в мире — Тринко, статуя которого здесь, перед вами; обелиск, направо от вас, воздвигнут в память рождения Тринко; колонна, налево, увенчана фигурой Тринко с диадемой. А там, дальше, — триумфальная арка в честь Тринко и его семьи.

— Что же он совершил столь необыкновенного, этот Тринко? — спросил я.

— Он вел войны.

— Но в войнах нет ничего необыкновенного. Мы, малайцы, постоянно воюем.

— Возможно, но Тринко — величайший воитель всех времен и народов. Равного ему завоевателя нет и никогда не было. Входя в наш порт, вы, конечно, видели на востоке конусообразный вулканический остров Ампелофор, небольшого размера, но прославленный своими винами; а на западе — остров более обширный, который возносит к небесам ряд острых зубьев, почему и зовется Собачьей Челюстью. Он богат медной рудою. До прихода Тринко к власти оба эти острова принадлежали нам, и здесь кончались наши владения. Тринко распространил владычество пингвинов на Бирюзовый архипелаг и Зеленый континент, покорил сумрачную Дельфинию, водрузил свои знамена среди полярных льдов и в раскаленных

песках африканской пустыни. Он вербовал войска во всех завоеванных странах, и на смотрах вслед за частями нашей войнолюбивой пехоты и островными гренадерами, гусарами, драгунами, артиллеристами, вслед за нашими обозниками двигались желтолицые воины в синих доспехах, подобные вставшим на свой хвост ракам; краснокожие, с перьями попугая на голове, татуированные знаками солнца и плодородия, с позвякивающими колчанами за спиной, полными отравленных стрел; чернокожие, совершенно голые, вооруженные только своими зубами и ногтями; пигмеи верхом на журавлях; гориллы, опирающиеся на дубину из цельного древесного ствола, предводительствуемые старым самцом с крестом Почетного легиона на волосатой груди. И все эти войска в порыве пламенного патриотизма устремлялись под знаменами Тринко от победы к победе. В течение тридцати лет Тринко завоевал половину известного нам мира.

— Как! — воскликнул я. — Вы владеете половиной мира?!

— Тринко завоевал ее — и потерял. Равно великий в своих поражениях, как и в победах, он отдал все, что было им завоевано. Он вынужден был отдать даже те два острова, которые раньше

принадлежали нам, — Ампелофор и Собачью Челюсть. Он оставил после себя Пингвинию обнищалой и обезлюдевшей. Цвет нашего народа погиб во время этих войн. После его падения в нашем отечестве остались только горбатые да хромые, от которых мы и происходим. Зато он принес нам славу.

— Дорого же вам досталась эта слава!

— За славу сколько ни заплати — все будет не дорого! — ответил мой проводник.

Глава III
Путешествие доктора Обнюбиля

После целого ряда неслыханных превратностей судьбы, большею частью не оставивших по себе даже памяти из-за разрушительного действия времени и плохого стиля историков, в Пингвинии был установлен государственный строй, основанный на принципе самоуправления. Пингвины избрали Собрание, или Ассамблею, и облекли ее правом назначать главу государства. Этот последний, избираемый из среды простых пингвинов, не носил на голове страшного гребня чудовища и не пользовался неограниченной властью. Он сам был подчинен законам своей страны. Ему не был присвоен королевский сан. При его имени не ставилось порядковое числительное. Он звался либо Патурлий, либо Жанвион, Труфальдин, Коканцо, Бредуй и т. п. Такие правители не вели войн. У них не было для этого подходящих одеяний.

При новом строе государство получило название республики, что означает «общественное дело». Сторонники ее получили наименование республиканистов или республиканцев. Их

называли также республикашками, а то и сволочью, — последнее, впрочем, считалось слишком грубым.

Пингвинская демократия не была независима, — она повиновалась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение при помощи газет и держала в своих руках депутатов, министров и президента. Она бесконтрольно распоряжалась финансами республики и направляла внешнюю политику страны.

Каждая империя, каждое королевство содержали тогда огромную армию и флот; вынужденная ради своей безопасности подражать им в этом, Пингвиния изнемогала под тяжестью военных расходов. Все сетовали, искренне или притворно, на столь суровую необходимость; однако богатые люди, торговцы и дельцы, охотно подчинялись ей — из патриотизма, а также в расчете на то, что солдаты и моряки защитят их собственность и приобретут для них за пределами страны новые рынки и территории; крупные промышленники стояли за производство пушек и кораблей, движимые рьяным желанием защищать государство и получать все новые заказы. Из граждан среднего достатка и людей свободных профессий одни безропотно подчинялись такому порядку вещей,

считая его незыблемым, другие с нетерпением ждали перемен и надеялись добиться от властей одновременного всеобщего разоружения.

К последним принадлежал и знаменитый профессор Обнюбиль.

— Война — варварство, которое исчезнет с развитием цивилизации, — говорил он. — Великие демократические государства миролюбивы, и с этим духом скоро вынуждены будут считаться даже самодержавные правители.

Профессор Обнюбиль после шестидесяти лет уединенной и замкнутой жизни у себя в лаборатории, куда не проникал извне никакой шум, решил самолично познакомиться с духом народов. Выбрав для начала своих изысканий самое обширное из демократических государств, он поплыл в Новую Атлантиду.

После двухнедельного плавания пакетбот его вошел ночью в залив Титанпорта, где стояли на якоре тысячи кораблей. Железный мост, переброшенный над водою, весь залитый огнями, соединял две набережные, до такой степени удаленные одна от другой, что профессору Обнюбилю показалось, будто он плавает по морям Сатурна и видит перед собой чудесное кольцо, опоясывающее планету Старца. По этому огром-

ному мосту переправлялось более четверти всех богатств мира. Сойдя на берег, ученый пингвин остановился в сорокавосьмиэтажном отеле, где его обслуживали автоматы; затем по большой железнодорожной магистрали он отправился в Гигантополис, столицу Новой Атлантиды. В поезде были рестораны, игорные залы, стадионы, телеграфное бюро для передачи торговых и финансовых извещений, евангелическая часовня и типография большой газеты, которую ученый доктор не мог читать, не зная языка Новой Атлантиды. Проходя вдоль больших рек, поезд встречал на своем пути промышленные города, затемнявшие небо дымом своих труб, — города, черные днем, города, красные ночью, полные рокота при свете солнца и полные рокота в ночной тьме.

«Вот народ, слишком занятый промышленностью и торговлей, чтобы вести войны, — думал ученый. — Теперь-то я уже уверен, что новые атланты следуют миролюбивой политике. Ибо аксиома, принятая всеми экономистами, гласит, что мир с другими государствами и мир внутри государства необходим для развития торговли и промышленности».

Осматривая Гигантополис, он утвердился в этой мысли. Люди мчались по улицам с такою

быстротой, что опрокидывали все на своем пути. Обнюбиль, неоднократно сбитый с ног, извлек из этого пользу, поняв, как себя вести: к концу часовой прогулки он сам сшиб какого-то атланта.

Выйдя на большую площадь, он очутился перед портиком дворца в классическом стиле, возносившего свои коринфские колонны с большими акантовыми капителями на семьдесят метров над пьедесталом.

Когда он стоял в восхищении, запрокинув голову, к нему подошел какой-то скромный с виду человек и заговорил с ним по-пингвински:

— Вижу по вашей одежде, что вы из Пингвинии. Я владею вашим языком: я присяжный переводчик. Перед вами — Дворец парламента. В данный момент идут прения. Не угодно ли послушать?

Заняв место на трибуне, доктор устремил взор на множество законодателей, сидевших в плетеных креслах, положив ноги на пюпитры.

Встал председатель и невнятно начал бормотать, посреди всеобщего невнимания, тексты постановлений, которые тотчас же переводил ученому его спутник:

— Ввиду благоприятного для Штатов окончания войны за монгольские рынки предлагаю представить список военных расходов в финан-

совую комиссию…

Кто против?

Предложение принято.

Ввиду благоприятного для Штатов окончания войны за рынки в Третьей Зеландии предлагаю представить список военных расходов в финансовую комиссию…

Кто против?

Предложение принято.

— Не ослышался ли я? — спросил доктор Обнюбиль. — Как! Вы, вы, промышленный народ, ввязались во все эти войны?!

— Конечно, — отвечал переводчик. — Ведь это промышленные войны. Народы, не имеющие развитой торговли и промышленности, не нуждаются в войнах; но деловой народ вынужден вести завоевательную политику. Число наших войн неизбежно возрастает вместе с нашей производственной деятельностью. Как только та или иная отрасль нашей промышленности не находит сбыта для своей продукции, возникает надобность в войне, чтобы получить для него новые возможности. Вот почему в этом году у нас была угольная война, медная война, хлопчатобумажная война. В Третьей Зеландии мы перебили две трети жителей, чтобы принудить остальных

покупать у нас зонтики и подтяжки.

В это время какой-то толстяк, восседавший в центре собрания, поднялся на трибуну.

— Я требую, — сказал он, — объявления войны правительству Изумрудной республики, которая на всех рынках мира нагло оспаривает у наших свиней гегемонию на окорока и колбасы.

— Кто такой этот законодатель? — спросил доктор Обнюбиль.

— Это свиноторговец.

— Возражений нет? — спросил председатель. — Ставлю на голосование.

Предложение объявить войну Изумрудной республике было проголосовано поднятием рук и принято весьма значительным большинством.

— Как! — сказал переводчику Обнюбиль. — Вы приняли постановление о войне с такой поспешностью и безразличием?

— О, это война небольшая; она обойдется всего-навсего в каких-нибудь восемь миллионов долларов.

— А люди?..

— Цена людей входит в эти восемь миллионов.

Тут доктор Обнюбиль, сжав голову руками, с горечью подумал:

«Если богатство и цивилизация несут с собою

столько же поводов к войнам, как бедность и варварство, если безумие и злоба человеческие неизлечимы, то остается сделать только одно доброе дело. Мудрец должен запастись динамитом, чтобы взорвать эту планету. Когда она разлетится на куски в пространстве, мир неприметно улучшится и удовлетворена будет мировая совесть, каковая, впрочем, не существует».

Книга пятая
Новое время Шатийон

Глава I
Преподобные отцы Агарик и Корнемюз

Всякий государственный строй порождает недовольных. Республика (или «общественное дело») создала их прежде всего среди дворянства, лишенного старинных привилегий и теперь с тоской и надеждой обращавшего взоры на последнего из Драконидов, принца Крюшо, который привлекал к себе сердца юношескою красотой и печальной участью изгнанника. Республика вызвала недовольство и среди мелких торговцев, которые по целому ряду глубоких экономических причин лишились прежнего достатка и ставили это в вину республике, с каждым днем все больше отчуждаясь от нее и забывая былое преклонение перед нею.

Финансисты, как евреи, так и христиане, из-за своей наглости и жадности становились бичом страны, которую они грабили и унижали, и позором для государственного строя, который они не собирались ни свергать, ни поддерживать, уверенные, что могут беспрепятственно действовать

при любом правлении. Однако больше всего они желали бы установления самой неограниченной власти, как лучше всего вооруженной против социалистов, их худосочных, но пылких противников. И как они подражали аристократам в образе жизни, так подражали им и в политических и религиозных симпатиях. Особенно жены их, пустые и легкомысленные, любили принца, мечтая быть допущенными ко двору.

Между тем у республики все же оставались сторонники и защитники. Если она не могла положиться на верность своих чиновников, то могла рассчитывать на преданность простых рабочих, которые, хотя и не получили от нее облегчения своей участи, но, выступая на ее защиту в дни опасности, валили толпами из каменоломен и эргастул и шли медленно, изможденные, черные, мрачные. Они все готовы были умереть за нее: она подарила им надежду.

Так вот, в правление Теодора Формоза жил в тихом предместье города Альки один монах по имени Агарик, занимавшийся обучением детей и устройством браков. В своей школе он преподавал основы благочестия, фехтования и верховой езды юным отпрыскам старинных и знатных семейств, утративших как привилегии свои, так и

богатство. А когда ученики подрастали, он женил их на молодых девицах из богатой и презираемой касты финансистов.

Высокий, тощий, черный, Агарик все время расхаживал с молитвенником в руке по школьным коридорам и по дорожкам огорода, погруженный в размышления и озабоченный. Он не ограничивал своей деятельности тем, что вдалбливал ученикам начала темных доктрин и механические правила, а затем обеспечивал их богатыми законными супругами. У него были политические замыслы, он стремился осуществить грандиозный план. Заветной мечтой, делом жизни было для него свалить республику. Одушевлял его при этом не личный интерес. Он считал, что демократическое правление враждебно святому сообществу, к которому он принадлежал телом и душою. И все братья его монахи держались того же мнения. Республика непрерывно враждовала с монашеской конгрегацией и собранием верующих. Конечно, свержение нового режима — предприятие трудное и опасное. Однако Агарику удалось организовать заговор, угрожавший республике. В ту пору монахи руководили высшими кастами пингвинов, и этот инок оказывал глубокое влияние на аристократию Альки.

Воспитанная им молодежь только и ждала случая выступить против народной власти. Потомки старинных родов не занимались искусствами и ремеслами. Почти все они были военными и служили республике. Служили ей, но не любили ее: с тоской вспоминали они о гребне Дракона. И красивые еврейки разделяли их тоску, чтобы сойти за родовитых христианок.

Однажды, июльским днем, проходя по улице предместья, ведущей в пыльные поля, Агарик услыхал какие-то жалобные стоны, доносившиеся из замшелого колодца, уже заброшенного садовниками. И он тут же узнал от тамошнего сапожника, что какой-то плохо одетый человек крикнул: «Да здравствует республика», — а за это проезжие кавалерийские офицеры бросили его в колодец, где он теперь с головою ушел в ил. Агарик любил обобщать частные случаи. Из потопления этого республикашки он умозаключил, сколь сильно возросло брожение всей аристократической и военной касты, и решил, что настало время действовать.

На следующее утро он пошел в самую чащу Конильского леса навестить добрейшего отца Корнемюза. Он застал монаха в уголке его лаборатории за перегонкою золотистого ликера.

Это был толстенький, низенький человечек с румяными щечками и гладко отполированной лысиной. Глаза у него были рубиново-красные, как у морских свинок. Он любезно встретил посетителя и предложил ему стаканчик ликера св. Орброзы, который он делал на продажу, что доставляло ему огромные богатства.

Агарик движением руки отказался. Все еще стоя и прижимая к животу свою унылого вида шляпу, он продолжал хранить молчание.

— Сделайте одолжение, присядьте, — сказал Корнемюз.

Агарик сел на колченогую табуретку и продолжал молчать.

Тогда конильский монах обратился к нему со словами:

— Расскажите мне, пожалуйста, о своих юных учениках. Придерживаются ли детки благонамеренного образа мыслей?

— Я очень ими доволен, — отвечал учитель. — Самое главное в воспитании — это основы. Надо придерживаться благонамеренного образа мыслей еще прежде, чем начать мыслить. Ибо потом уже слишком поздно… Вокруг себя я вижу немало утешительного. Но живем мы в печальное время.

— Увы! — вздохнул Корнемюз.

— Мы переживаем тяжкие дни.

— Годину испытаний.

— И все-таки, Корнемюз, общественный дух не так уж безнадежно плох, как кажется.

— Возможно.

— Народу надоело правительство, которое его разоряет и ничего для него не делает. Каждый день разражаются шумные скандалы. Республика погрязла в позоре. Она погибла.

— Да услышит вас Бог!

— Скажите, Корнемюз, какого мнения вы о принце Крюшо?

— Это милый молодой человек и, смею утверждать, достойный отпрыск монаршего рода. Жаль, что в столь нежном возрасте ему приходится претерпевать горечь изгнания! Изгнаннику весна не дарит цветов, осень не дарит плодов. Принц Крюшо весьма благонамерен: он уважает священнослужителей, соблюдает обряды нашей религии, употребляет в большом количестве продукт моего скромного производства.

— Во многих домах, богатых и бедных, ждут не дождутся его возвращения, Корнемюз. Верьте мне, он вернется.

— Только бы мне дожить до того дня, когда

я постелю свою монашескую мантию ему под ноги! — со вздохом сказал Корнемюз.

Видя, каковы его чувства, Агарик обрисовал ему состояние умов, опираясь на собственные представления. Он рассказал, что дворяне и богатые люди до крайности раздражены против народной власти, что армия не желает сносить новые обиды, что чиновники готовы на предательство, что народ недоволен, что уже слышится гул близкого восстания и что всех ненавистников монашества, всех пособников власти сбрасывают на Альке в колодцы. В заключение он объявил, что наступил момент для решительного удара.

— Мы можем спасти пингвинский народ, — воскликнул он, — можем освободить его от тиранов, от самого себя, восстановить гребень Дракона, возродить доброе старое правление во славу веры нашей и к вящему величию церкви. Мы можем совершить все это, если захотим. У нас огромные богатства, мы пользуемся тайным влиянием: через наши газеты, зовущие в крестовый поход и грозящие врагам, мы связаны со всем духовенством городов и селений; мы вдохнем в него наполняющий нас энтузиазм, пламенеющую в нас веру. А от них воспламенятся сердца и у паствы. Я могу опереться на высших руководителей

армии, у меня есть связи в народе, я руковожу, незаметно для них самих, продавцами зонтов, виноторговцами, приказчиками галантерейных лавок, уличными газетчиками, жрицами любви, полицейскими. Людей у нас больше, чем требуется. Чего же мы ждем? Пора действовать!

— А что вы намерены предпринять? — спросил Корнемюз.

— Широко развернуть заговор, свергнуть республику, восстановить Крюшо на троне Драконидов.

Корнемюз несколько раз провел языком по губам. Потом промолвил елейным голосом:

— Реставрация Драконидов, разумеется, желательна, чрезвычайно желательна; и я, со своей стороны, желаю ее всем сердцем. Но вот насчет республики… Вы знаете, как я на нее смотрю… Только не лучше ли предоставить ее своей участи и дать ей погибнуть от собственных пороков? Конечно, то, что вы предлагаете, дорогой мой Агарик, благородно и великодушно. Было бы так прекрасно спасти эту великую и несчастную страну, восстановить ее былую славу. Но помните: мы ведь прежде всего христиане, а потом уже пингвины. Нам надлежит проявлять осмотрительность, не впутывая религию в политическую

борьбу.

— Не бойтесь, — поспешно ответил Агарик, — у нас в руках будут все нити заговора, но мы сами останемся в тени. Мы будем совсем незаметны.

— Как мухи в молоке, — пробормотал себе под нос конильский монах. И, обратив на приятеля лукавые рубиновые глаза, сказал: — Будьте осторожны, друг мой. Республика, быть может, сильнее, чем кажется. Возможно также, что мы еще укрепим ее, если выведем из состояния вялого покоя, в которое она сейчас погружена. Она очень коварна, — если мы нападем, она будет защищаться. Сейчас она издает дурные законы, которые нас нисколько не затрагивают. А испугавшись, начнет издавать грозные законы против нас. Не будем легкомысленно вовлекаться в авантюру, а то как бы нас не потрепали. По-вашему, обстоятельства нам благоприятствуют? Я другого мнения, и сейчас скажу почему. Что такое нынешний режим, знают еще не все, — вернее, не знает никто. Он объявляет себя «общественным делом», «общим делом». Простонародье этому верит и до поры до времени привержено демократии, республике. Но подождите! Тот же самый народ в один прекрасный день потребует, чтобы общественное дело стало действительно народ-

ным делом. Излишне говорить, до какой степени подобные требования представляются мне наглыми, разнузданными, враждебными политике, основанной на Священном Писании. Но народ их выдвинет, будет добиваться их осуществления — и тогда конец нынешнему режиму. Такой момент не замедлит наступить. Вот тогда-то нам и нужно действовать в интересах нашей высокой корпорации. Подождем! Зачем спешить? Нашему существованию ничто не угрожает. Его нельзя считать невыносимым. Республика не оказывает нам уважения и покорности. Она не воздает священникам должного почета. Но все же она дает нам жить. И таково превосходное свойство нашего сана, что жить для нас значит процветать. Общественное дело нам враждебно, но женщины чтят нас. Президент Формоз не бывает в церкви, но жена его и дочери склонялись к моим ногам. Они закупают мои бутылки оптом. У меня нет лучших покупательниц даже среди аристократии. Признаемся откровенно: для священников и монахов не сравнится с Пингвинией ни одна страна в мире. Где еще нашли бы мы возможность сбывать в таком количестве и по таким высоким ценам наш нетопленый воск, наш индийский ладан, наши четки, наши нарамники, нашу свя-

тую воду и наш ликер святой Орброзы? Какой еще другой народ, кроме пингвинов, платил бы сотню золотых за один взмах нашей руки, за один звук нашего голоса, за одно движение уст наших? Что касается, например, меня, то здесь, в этой кроткой, преданной и послушной Пингвинии, я на извлечении эссенции из пучка богородичной травки зарабатываю в тысячу раз больше, чем заработал бы тем, что сорок лет подряд надсаживал бы себе грудь, призывая ходить к исповеди, в любом из самых населенных государств Европы и Америки. И, по правде сказать, станет ли Пингвиния счастливей оттого, что полицейский комиссар вытащит меня отсюда и поведет на паровое судно, отплывающее к Полночным островам?

Сказав это, конильский монах встал и повел гостя в просторный сарай, где сотни сироток в синей одежде упаковывали бутылки, заколачивали ящики, наклеивали ярлыки. Там стоял оглушительный шум от стука молотков и доносящегося снаружи гуденья рельсов под товарными вагонами.

— Это экспедиция, — объяснил Корнемюз. — Я добился у правительства прокладки железнодорожного пути через лес, с особой станцией у

самых моих ворот. Ежедневно отправляю по три вагона с моей продукцией. Вы видите, республика не совсем истребила веру!

Агарик в последний раз попытался втянуть мудрого винокура в свое предприятие. Он стал убеждать его, что успех обеспечен — быстрый, полный, блистательный!

— И вы не хотите этому способствовать? — добавил он. — Не хотите вернуть своего короля из изгнания?

— Изгнание не тяжко для людей благонамеренных, — отвечал конильский монах. — Послушайте меня, дражайший брат Агарик, отложите исполнение вашего замысла. А насчет себя я не питаю никаких иллюзий. Я знаю, что меня ждет. Примкну я к вам или не примкну, но, если вы проиграете, мне придется расплачиваться вместе с вами.

Отец Агарик простился со своим другом и, довольный, вернулся к себе в школу. «Не имея возможности помешать заговору, — думал он, — Корнемюз будет заинтересован в его успехе и даст нам денег». Агарик не ошибался. Действительно, священники и монахи были так солидарны меж собой, что в действия хотя бы одного из них волей-неволей вовлекались и все остальные.

В этом было и преимущество, и недостаток их положения.

Глава II
Принц Крюшо

Агарик решил незамедлительно посетить принца Крюшо, который удостаивал его своей близостью. В сумерки он вышел из школы с заднего крыльца, переодевшись скотопромышленником, и сел на пароход «Святой Маэль».

Утром он приплыл в Дельфинию. Здесь-то, в этой гостеприимной стране, в замке Читтерлингс, и вкушал Крюшо горький хлеб изгнания.

Агарик встретил его на дороге: принц в обществе двух девиц мчался на автомобиле со скоростью сто тридцать километров. Монах замахал ему красным зонтиком, и принц остановил машину.

— Это вы, Агарик? Влезайте, влезайте! Нас, правда, уже трое, но можно потесниться. Посадите одну из этих девиц себе на колени.

Благочестивый Агарик сел в автомобиль.

— Что нового, достойный отец? — спросил молодой принц.

— Весьма важные новости! Но можно ли говорить здесь?

— Вполне. От этих девиц у меня нет никаких тайн.

— Ваше высочество, Пингвиния призывает вас. Не останьтесь глухи к ее призыву.

Агарик обрисовал состояние умов и изложил план грандиозного заговора.

— По первому моему слову ваши сторонники поднимутся все как один. С крестом в руке и подоткнув одеяния, преданные вам благочестивые иноки поведут вооруженную толпу на дворец Формоза. Мы внесем смятение и смерть в ряды ваших противников. Единственной награды попросим мы, ваше высочество, за все наши труды — не дать им пропасть даром. Умоляем взойти на престол, когда мы его добудем для вас.

Принц ответил просто:

— Я въеду в Альку на зеленом коне.

Агарик оценил этот мужественный ответ. Невзирая на то, что на коленях у монаха, вопреки его привычкам, сидела девица, он в порыве высокого вдохновения стал заклинать молодого принца быть верным своему королевскому долгу.

— Ваше высочество, — воскликнул он со слезами на глазах, — настанет день, когда вы вспомните, что были избавлены от изгнания, возвращены народу, восстановлены на престоле предков ру-

кою ваших монахов, увенчавших вас священным гребнем Дракона. Да сравняется в славе король Крюшо с предком своим Драко Великим!

Растроганный молодой принц рванулся к восстановителю его власти, чтобы обнять его, но еле к нему дотянулся через пышные телеса двух девиц, — такая была теснота в этом историческом автомобиле.

— Почтенный отец мой, — сказал он, — я хотел бы, чтобы вся Пингвиния была свидетельницей наших объятий.

— Это было бы для нее утешительным зрелищем, — сказал Агарик.

Тем временем автомобиль ураганом проносился по деревенькам и городкам и своими ненасытными шинами давил кур, гусей, индюшек, уток, цесарок, кошек, собак, поросят, ребятишек, крестьян и крестьянок.

А благочестивый Агарик погружен был в свои великие замыслы. Подавая голос из-за спины девицы, он высказал такую мысль:

— Понадобятся деньги, много денег.

— Это ваше дело, — ответил принц.

Но перед беспощадным автомобилем уже открывались решетчатые ворота парка.

Обед был великолепен. Пили за гребень Драко-

на. Общеизвестно, что кубок с крышкой — знак державной власти. Поэтому принц Крюшо и супруга его, принцесса Гудруна, пили из кубков, закрывающихся наподобие дароносиц. Принц неоднократно приказывал наполнять свой кубок красными и белыми винами Пингвинии.

Крюшо получил воспитание поистине королевское: он не только превосходно управлял автомобилем, но и неплохо разбирался в истории. Он слыл большим знатоком древности и деяний своих предков; и в самом деле, за десертом он дал блестящее доказательство глубоких познаний в этой области. Когда зашла речь о разных странных особенностях, присущих знаменитым женщинам, он сказал:

— С несомненностью установлено, что у королевы Крюши, в честь которой дано мне имя, под самым пупком была как бы обезьянья головка.

Вечером состоялась чрезвычайно важная беседа Агарика с тремя старыми советниками принца. Решено было просить средств у тестя Крюшо, которому очень хотелось бы иметь зятем короля, затем — у нескольких еврейских дам, жаждавших войти в дворянские круги, и, наконец, у принца-регента Дельфинии, который обещал Драконидам содействие, в расчете, что

восстановление принца Крюшо ослабит пингвинов, исконных врагов дельфинского народа.

Трое старых советников поделили между собой три высшие придворные должности — первого камергера, сенешала и стольника, предоставив монаху раздавать другие чины в соответствии с высшими интересами принца.

— Надо будет наградить кое-кого за преданность, — заметили трое старых советников.

— И за предательство, — добавил Агарик.

— Совершенно справедливо, — подтвердил один из советников, маркиз де Сепле, знавший по собственному опыту, что происходит во время революций.

Открылся бал. После танцев принцесса Гудруна разорвала свое зеленое платье на кокарды; она собственноручно пришила лоскуток к груди монаха, пролившего при этом слезы умиления и благодарности.

Господин де Плюм, конюший принца, в тот же вечер отправился на поиски зеленого коня.

Глава III
Тайное Сборище

Возвратясь в столицу Пингвинии, преподобный отец Агарик открыл свои замыслы князю Адельстану де Босено, зная о его приверженности Драконидам.

Князь принадлежал к самому высшему дворянству. Тортиколи де Босено происходили от Бриана Благочестивого и занимали при Драконидах первые посты в королевстве. В 1179 году Филипп Тортиколь, великий эмирал Пингвинии, человек храбрый, верный, великодушный, но мстительный, без боя сдал врагам королевства порт Ла-Крик и весь пингвинский флот, заподозрив королеву Крюшу, любовником которой он был, в том, что она изменяет ему с одним конюхом. Именно эта великая королева пожаловала семью Босено серебряной постельной грелкой, каковая изображена на их родовом гербе. Что же касается девиза на гербе, то он восходит лишь к XVI веку. Здесь следует рассказать о его происхождении.

Однажды ночью, во время дворцового праздни-

ка, среди тесной толпы придворных, собравшихся в королевском саду смотреть фейерверк, герцог Жан де Босено протиснулся к герцогине Скалльской и запустил руку этой даме под юбку, без какого-либо протеста с ее стороны. Король, проходя мимо и увидев это, ограничился тем, что произнес: «И такое бывает!» Эти три слова стали девизом на гербе Босено.

Князь Адельстан не посрамил имени своих предков; он хранил неизменную преданность роду Драконидов и ничего больше не желал на свете, как восстановления принца Крюшо на престоле — верного знака, что будет восстановлено и его собственное, весьма пострадавшее, благосостояние. Вот почему он отнесся к намерениям преподобного отца Агарика вполне сочувственно. Он немедленно вошел в соглашение с монахом и охотно помог ему установить связи с самыми пламенными и надежными роялистами среди своих друзей — с графом Клена`, г-ном де ла Трюмелем, виконтом Оливом, г-ном Бигуром. Однажды ночью они собрались в загородном доме герцога Ампульского, в двух милях к востоку от Альки, чтобы обсудить план действий.

Господин де ла Трюмель высказался за легальную деятельность. Вот к чему сводилась его

речь:

— Мы не должны нарушать закон. Мы люди порядка. Осуществления своих надежд мы будем добиваться лишь неустанной пропагандой. Надо, чтобы в стране изменилось настроение умов. Наше дело восторжествует благодаря своей правоте.

Князь Босено держался противоположной точки зрения. По его мысли, всякое справедливое дело, чтобы восторжествовать, нуждается в силе не меньше, а даже больше, чем дело несправедливое.

— При нынешнем положении, — спокойно рассуждал он, — следует действовать трояким способом: завербовать на свою сторону молодцов из мясных лавок, подкупить министров и захватить президента Формоза.

— Захватить президента было бы ошибкой, — возразил г-н де ла Трюмель. — Он наш единомышленник.

То обстоятельство, что один из дракофилов мог предложить арест Формоза, а другой рассматривал последнего как единомышленника, объяснялось поведением и взглядами главы республики. Формоз покровительствовал роялистам, высоко ценя и сам перенимая их аристократи-

ческие манеры. Однако если он и улыбался при упоминании о гребне Дракона, то улыбался своему замыслу водрузить этот гребень на собственной голове. Он страстно стремился к самодержавной власти не потому, что чувствовал себя способным осуществлять ее, а потому, что любил красоваться. По образному выражению одного пингвинского хроникера, «это был индейский петух».

Князь Босено отстаивал свое предложение двинуться с оружием в руках на дворец Формоза и на палату депутатов.

Граф Клена проявил еще большую решительность.

— Для начала, — сказал он, — перережем глотки, выпустим кишки, размозжим черепа всем республикашкам, правительственным и прочим. А дальше посмотрим.

Господин де ла Трюмель принадлежал к умеренным. Умеренные всегда умеренно противятся насилию. Он признал, что в своих политических взглядах г-н граф Клена вдохновлялся чувствами благородными и великодушными, но робко заметил, что, быть может, такой образ действий не совсем соответствует принципам и представляет некоторую опасность. А кончил тем, что

предложил свои услуги для его публичного разъяснения.

— Надо бы выпустить воззвание к народу, — добавил он. — Пускай знают, чего мы хотим. За себя ручаюсь — нашего знамени не спрячу в карман!

Затем взял слово г-н Бигур:

— Господа! Пингвины недовольны новым порядком, потому что они живут при нем, а людям свойственно жаловаться на свое положение. Но вместе с тем пингвины не решаются изменить режим, ибо всякое новшество пугает. Они незнакомы с гребнем Дракона, и, если порою им случится выразить сожаление о нем, не надо им верить: очень скоро обнаружилось бы, что они говорили необдуманно и в сердцах. Не будем создавать себе иллюзий насчет их отношения к нам. Они нас не любят. Они ненавидят аристократию и из чувства низкой зависти, и из чувства возвышенной любви к равенству. А два эти чувства, соединившись в одно, представляют в народе большую силу. Общественное мнение не настроено против нас, потому что о нас ничего не знают. Но, узнав, чего мы хотим, за нами не пойдут. Если мы откроем, что намерены свергнуть демократический образ правления и опять вознести гребень Дракона, кто примкнет к нам?

Молодцы из мясных лавок и мелочные торговцы Альки! Да и можно ли вполне рассчитывать даже на этих мелочных торговцев? Они, правда, недовольны режимом, но в глубине души все они республикашки. Они больше озабочены продажей своих дрянных товаров, чем возвращением Крюшо. Действуя открыто, мы всех пере-пугаем.

Чтобы вызвать к себе симпатию и привлечь сторонников, мы должны внушать, что вовсе не собираемся свергнуть республику, а, напротив, хотим именно восстановить ее в подлинном виде, очистить, сделать более прекрасной, пышной, нарядной, благоухающей — словом, великолепной и очаровательной. А потому нам не следует действовать самим. Всем известна неприязнь наша к нынешнему государственному строю. Нужно обратиться за помощью к какому-нибудь другу республики, а еще лучше — к одному из защитников этого режима. Выбор у нас огромный. Нужно будет отдать предпочтение самому популярному — так сказать, республиканцу из республиканцев. Мы завоюем его лестью, подарками и, главное, обещаниями. Обещания обходятся дешевле подарков, а ценятся гораздо дороже. Ничем нельзя так щедро одарить, как надеждами. Нет надобности, чтобы этот чело-

век был особенно умен. Я даже предпочел бы кого-нибудь поглупее. Дураки — неподражаемо прелестные плуты. Послушайте меня, господа, — свергните республику при помощи кого-нибудь из самих республикашек. Будем осторожны! Осторожность не исключает энергии. Если я вам понадоблюсь, скажите только, — я всегда к вашим услугам!

Эта речь произвела на слушателей сильное впечатление. Особенно потрясла она благочестивого Агарика. Но каждый обдумывал главным образом, как бы заполучить побольше почестей и выгод. Было назначено тайное правительство, действительными членами которого стали все присутствующие. Герцог Ампульский, финансовое светило заговорщиков, был уполномочен производить денежные сборы, ему же было поручено распоряжение средствами, выделенными на пропаганду.

Совещание подходило уже к концу, как вдруг снаружи раздался чей-то простонародный голос, затянувший на старинный мотив:

Ваш Босено – свинья большая.
Колбасы выйдут из него,
Да и ветчинка неплохая

Для бедняков на Рождество.

Это была известная песенка, уже лет двести распеваемая по всем предместьям Альки. Князь Босено не любил, когда ее пели. Он вышел на площадь и, увидев, что поет рабочий, перекрывающий шифером конек церковной кровли, вежливо попросил его петь что-нибудь другое.

— Что хочу, то и пою, — отвечал ему кровельщик.

— Друг мой, окажите любезность…

— Чего ради оказывать вам любезность!

Князь Босено был по натуре миролюбив, однако вспыльчив и отличался необычайной силой.

— Негодяй, сходи с крыши, не то я сам влезу к тебе! — грозно закричал он.

Но так как кровельщик, сидя верхом на крыше, и бровью не повел, то князь быстро взобрался по винтовой лестнице башни, бросился на певца и влепил ему такой удар кулаком в челюсть, что тот скатился в водосточный желоб. А в это время семь-восемь плотников, работавших на чердаке, выглянули в слуховые оконца на крики своего товарища и, увидев князя на крыше, вбежали к нему по переносной лестнице, что лежала тут же, на шифере, настигли его, когда он уже собирался юркнуть в башню, и заставили стремглав

пересчитать все сто тридцать семь ступенек башенной лестницы.

Глава IV
Виконтесса Олив

У пингвинов была первая армия в мире. У дельфинов тоже. Не иначе обстояло дело и у других народов Европы. Если поразмыслить, в этом нет ничего удивительного. Ведь все армии — первые в мире. Вторая армия в мире, если только предположить возможность таковой, оказалась бы в чрезвычайно невыгодной ситуации, — она была бы уверена в своем поражении. Пришлось бы немедленно ее расформировать. А потому все армии — первые в мире. Во Франции это понял знаменитый полковник Маршан; на вопросы корреспондентов, в связи с предстоявшей битвой при Ялу, о русско-японских военных действиях он без малейшего колебания назвал первою в мире и русскую армию, и японскую. Примечательно, что, какие бы страшные поражения ни потерпела армия, она не перестает быть первой в мире. Ибо если народы приписывают свои победы искусству своих генералов и храбрости солдат, то поражения они всегда приписывают какой-нибудь непостижимой роковой случайности.

Напротив, флот того или иного народа занимает то или иное место в зависимости от количества морских судов. Есть флот первый в мире, есть второй, третий и т. д. Поэтому исход морских сражений всегда можно ясно предвидеть.

У пингвинов были первая армия и второй флот в мире. Этим флотом командовал славный Шатийон, носивший титул эмирал-ахра, или — сокращенно — эмирала. Это слово — к сожалению, в искаженном виде — существует и поныне у многих европейских народов, обозначая высший сан в морских вооруженных силах. Но так как у пингвинов был только один эмирал, то чин этот пользовался у них, смею сказать, совершенно особым почетом.

Эмирал не принадлежал к дворянскому сословию; он был дитя народа, и народ любил его; народу льстило, что выходец из его недр осыпан почестями. Шатийон был хорош собой, удачлив, ни о чем не размышлял. Ничто не смущало прозрачной ясности его взора.

Преподобный отец Агарик, вняв доводам г-на Бигура, признал, что свергнуть нынешний режим можно только при помощи одного из его защитников, и обратил свой взгляд на эмирала Шатийона. Он отправился к другу своему — пре-

подобному отцу Корнемюзу — просить солидную сумму; тот дал, хотя и со вздохом. На эти деньги отец Агарик нанял шестьсот молодцов из алькских мясных, чтобы они бежали за лошадью Шатийона с криком: «Да здравствует эмирал!»

С тех пор Шатийон шагу не мог ступить, чтобы вокруг него не раздавались восторженные клики.

Виконтесса Олив попросила эмирала о беседе с глазу на глаз. Он принял ее в Адмиралтействе[19], в зале, украшенном якорями, молниями и гранатами.

Она была в скромном платье стального цвета. Шляпка, украшенная розами, прелестно сидела на ее хорошенькой белокурой головке. Глаза сквозь вуалетку сверкали, как сапфиры. Во всем дворянском обществе не было женщины изящнее, чем эта, вышедшая из еврейской финансовой буржуазии. Она была высокая, стройная; фигура у нее соответствовала моде текущего года, талия — последнего сезона.

— Я не в силах скрыть свое волнение, эмирал… — пролепетала она нежным голоском. — Вполне естественно… перед лицом такого ге-

---

[19] Примечания: 19

Или, правильнее сказать, Эмиралтействе. — *Примеч. авт.*

роя…

— Вы слишком любезны. Соблаговолите объяснить, виконтесса, чему я обязан честью вашего визита.

— Я давно уже хотела повидаться, поговорить с вами… и поэтому с такой радостью приняла поручение к вам.

— Покорно прошу садиться.

— Какая у вас тишина!

— Действительно, не шумно.

— Слышно, как птицы поют.

— Но садитесь же, сударыня.

И он пододвинул ей кресло.

Она села на стул, спиной к свету.

— Эмирал, — сказала она, — я пришла к вам с очень важным поручением, очень, очень важным…

— Я вас слушаю.

— Вы видели когда-нибудь принца Крюшо, эмирал?

— Никогда.

Она вздохнула.

— Очень, очень жаль. А он был бы так счастлив с вами повидаться. Он вас ценит и глубоко уважает. Ваш портрет стоит у него на письменном столе, рядом с портретом принцессы — его мате-

ри. Как прискорбно, что принца у нас не знают. Он такой обаятельный молодой человек и умеет быть таким благодарным! Это будет великий король. Да, да, он будет королем, без всякого сомнения. Он вернется на престол, и даже раньше, чем думают… И должна вам сказать, что мне поручено именно в связи с этим…

Эмирал встал.

— Ни слова более, сударыня. Я пользуюсь уважением и доверием республики. Я не изменю ей. Да и зачем изменять! Я и так осыпан почестями и высокими званиями.

— Но все эти почести и высокие звания далеко не соответствуют вашим заслугам, — уж позвольте мне быть откровенной, дорогой эмирал! Чтобы вознаградить вас за такую службу, следовало дать вам звание эмиралиссимуса и генералиссимуса, назначить вас главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами. Нет, республика проявляет по отношению к вам черную неблагодарность.

— Все правительства в той или иной степени неблагодарны.

— Да, но республикашки завидуют вам. Такие людишки боятся всякого, кто выше их. Они терпеть не могут военных. Все, что относится к

армии и флоту, им ненавистно. Они боятся вас.

— Очень может быть.

— Это негодяи. Они губят страну. Неужели вы не хотите спасти Пингвинию?

— Каким образом?

— Надо разогнать всех этих мошенников, греющих руки на общественном деле, всех этих республикашек.

— Что вы предлагаете мне, сударыня?

— Совершить то, что все равно неизбежно. Не вы сделаете — так кто-нибудь другой. Да вот наш генералиссимус: он готов хоть сейчас побросать в море всех министров, депутатов, сенаторов и вернуть принца Крюшо.

— Ах, подлец! Ах, мерзавец! — воскликнул эмирал.

— Вот видите, что он против вас задумал! Так обратите же его замыслы против него самого. Принц не останется перед вами в долгу. Он пожалует вас шпагой коннетабля и щедрой денежной наградой. А пока мне поручено передать вам этот знак монаршей милости.

Тут она вынула из-за корсажа зеленую кокарду.

— Что это такое? — спросил эмирал.

— Крюшо посылает вам свои цвета!

— Извольте убрать это, сударыня!

— Хотите, чтобы их передали генералиссимусу? Уж он-то не откажется! Нет, дорогой эмирал! Позвольте прикрепить их к вашей доблестной груди.

Шатийон мягко отстранил молодую женщину. Но уже раньше, за несколько минут до того, она показалась ему восхитительной, и это впечатление еще усилилось, когда она, протянув к нему свои тонкие руки, коснулась его груди розовыми пальчиками. Он почти тотчас сдался. Виконтесса долго завязывала ленту. Затем, склонившись перед ним в глубоком реверансе, поздравила его со званием коннетабля.

— Не скрою, я был честолюбив, как и мои товарищи; может быть, честолюбив и теперь, — признался моряк. — Но, честное слово, при виде вас я мечтаю только об одном — о какой-нибудь хижине и о любящем сердце!

Из-под полуопущенных век она устремила на него чарующие лучи своих сапфировых глаз.

— И это тоже возможно… Что вы делаете, эмирал?!

— Я ищу сердце.

Покинув Адмиралтейство, виконтесса немедленно отправилась к преподобному отцу Агарику

с отчетом о своем визите.

— Вам надлежит, сударыня, совершать такие посещения неоднократно, — сказал ей суровый монах.

Глава V
Князь де Босено

Все газеты, оплачиваемые дракофилами, в своих утренних и вечерних выпусках восхваляли Шатийона и забрасывали грязью республиканских министров.

На алькских бульварах уличные торговцы громко предлагали портрет Шатийона. Юные потомки Рема, расхаживавшие по городу с грузом гипсовых фигур на голове, продавали возле мостов бюсты Шатийона.

Шатийон каждый вечер совершал на своем белом коне прогулку по Лугу Королевы, где бывает самое великосветское общество. Дракофилы расставляли вдоль пути эмирала целые ряды пингвинских бедняков, чтобы они пели: «Шатийона мы хотим!» Благодаря этому буржуазия Альки испытывала глубокое восхищение перед эмиралом. Жены коммерсантов шептали: «Как он хорош!» Элегантные женщины, замедлив ход своих автомобилей, посылали ему воздушные поцелуи, а толпы бесновались, восторженно крича «ура!».

Однажды, когда Шатийон входил в табачную лавку, два пингвина, опускавшие письма в почтовый ящик, узнали его и заорали во все горло: «Да здравствует эмирал! Долой республикашек!» У лавки собрались прохожие. Шатийон закурил сигару, окруженный густою толпой исступленных граждан, которые махали шляпами и испускали приветственные клики. Толпа росла, и вскоре весь город, шагая за своим героем, проводил его с пением гимнов до самого здания Адмиралтейства.

У эмирала был старый боевой товарищ, заслуженный воин — субэмирал Вольканмуль. Безупречный, как чистое золото, честный, как его шпага, Вольканмуль, кичась своей неукротимой независимостью, бывал и у сторонников Крюшо, и у министров республики, и тем и этим говоря правду в глаза. Г-н Бигур не без ехидства уверял, что правду про тех он говорил этим, а про этих — тем. И в самом деле, он не раз проявлял совершенно неуместную откровенность, что, впрочем, все снисходительно объясняли прямодушием старого солдата, чуждого всяким интригам. Он каждое утро навещал Шатийона, к которому относился с грубоватой сердечностью товарища по оружию.

— Ну вот, ты стал популярен, старина! — говорил он. — Твою морду изображают на курительных трубках и на бутылках ликера, так что все пьяницы Альки выблевывают твое имя в сточные канавы. Шатийон — герой пингвинского народа! Шатийон — оплот славы и могущества Пингвинии! Ну кто бы это сказал! Кто бы мог подумать!

И он оглушительно хохотал. А затем, уже другим тоном, спрашивал:

— Однако шутки в сторону! Тебя нисколько не удивляет то, что происходит с тобой?

— Да нет! — отвечал Шатийон.

И честный Вольканмуль уходил, шумно хлопнув дверью.

Между тем эмирал Шатийон для свиданий с виконтессой Олив снял квартирку с окнами во двор в нижнем этаже дома № 18 по улице Иоанна Тальпы. Они виделись ежедневно. Он любил ее безумно. За время своей военно-морской жизни он знал множество женщин — краснокожих и желтокожих, черных и белых женщин, среди которых попадались и очень красивые; но до встречи с этой он не знал, что такое женщина. Когда виконтесса Олив называла его своим другом, своим нежным другом, он чувствовал небесное блаженство, и ему казалось, что звезды запуты-

ваются у него в волосах.

Она появлялась всегда с небольшим опозданием, клала свою сумочку на столик и с сосредоточенным видом произносила:

— Позвольте мне сесть у ваших ног.

И говорила с ним, как внушал ей благочестивый Агарик, и речи ее перемежались с поцелуями и вздохами. Она просила отстранить такого-то офицера, а такому-то, напротив, поручить командование, послать эскадру туда или сюда.

И в нужный момент восклицала:

— Как вы молоды, друг мой!

И он исполнял все, потому что был прост, потому что хотел носить шпагу коннетабля и получить щедрую награду, потому что был не прочь вести двойную игру, потому что им владел неясный замысел спасти Пингвинию, потому что он был влюблен.

Прелестная женщина добилась того, что эмирал отозвал военные части из порта Ла-Крик, где должен был высадиться Крюшо. И таким образом все было подготовлено, чтобы принц мог беспрепятственно вступить в Пингвинию.

Благочестивый Агарик устраивал публичные собрания, чтобы поддерживать брожение среди пингвинов. Дракофилы выступали каждый день

на двух-трех таких собраниях в одном из тридцати шести округов Альки и преимущественно в кварталах, где жил простой народ. Нужно было привлечь на свою сторону всякий мелкий люд, составляющий большинство в стране. Так, 4 мая было устроено очень удачное собрание в старом помещении хлебной биржи, в самом центре густонаселенного городского предместья, где хозяйки сидели на порогах домов и ребятишки играли в уличных канавах. Народу собралось тысячи две — по подсчету республиканцев, а по подсчету дракофилов — не меньше шести тысяч. Присутствовал цвет пингвинского общества — князь и княгиня де Босено, граф Клена, г-н де ла Трюмель, г-н Бигур и несколько богатых еврейских дам.

Генералиссимус национальной армии явился в полной военной форме. Его встретили восторженными приветствиями.

Состав президиума был тщательно продуман. Председательствовал секретарь желтых синдикатов г-н Рошен, из простых рабочих, но вполне благонадежный, — он сидел за столом президиума между графом Клена и г-ном Мишо, молодцом из мясной лавки.

В выступлениях ряда красноречивых ораторов

государственный строй, добровольно установленный Пингвинией, был назван выгребной ямой и клоакой. Президента Формоза не затрагивали. Ни о Крюшо, ни о духовенстве не было сказано ни слова.

После речей официальных ораторов были обещаны прения; слово попросил один из защитников нового порядка и республики, какой-то рабочий.

— Господа, — сказал председатель Рошен, — мы объявили, что будут прения. Нам-то они не нужны. Мы не такие, как наши противники: мы честные. Предоставляю слово нашему противнику. Вы сейчас бог знает что услышите! Прошу вас сдерживать, пока будете в силах, свое презрение, свое отвращение, свое негодование!

— Господа, — произнес оппонент…

И тут же был опрокинут, растоптан возмущенной толпою, и его останки, до неузнаваемости обезображенные, были выброшены вон из зала заседаний.

Шум еще не стих, когда на трибуну поднялся граф Клена. Улюлюканье сразу сменилось криками восторга; когда восстановилась тишина, оратор произнес:

— Товарищи, сейчас вы покажете, кровь или

вода течет у вас в жилах. Настало время перерезать горло, выпустить кишки, вышибить мозги всем республикашкам.

Тут грянул такой гром аплодисментов, что своды старого склада дрогнули и едкая густая пыль, посыпавшаяся с грязных стен и трухлявых балок, окутала всех темною тучей.

Была принята резолюция, клеймящая позором правительство и приветствующая Шатийона. После этого участники покинули собрание с пением освободительного гимна: «Шатийона мы хотим!»

Из старой биржи был только один выход — на длинную грязную улицу, зажатую между сараями для омнибусов и складами угля. Ночь была безлунная, моросил холодный дождик. У самого начала предместья большой отряд полицейских преграждал улицу, выпуская дракофилов маленькими группами. Таково было распоряжение командира, озабоченного тем, чтобы утихомирить неистовую толпу.

Дракофилы, вынужденные замедлить свое шествие по улице, пели, соразмеряя шаг: «Шатийона мы хотим!» Вскоре, раздраженные непонятною задержкой, задние стали напирать на передних. Напор, передавшись по рядам вдоль всей улицы, привел к тому, что толпа навалилась на широ-

когрудых полицейских. Те не питали никаких враждебных чувств к дракофилам; в глубине души они любили Шатийона; но, когда на тебя насядут, ты, понятное дело, станешь сопротивляться, на насилие ответишь насилием; а люди сильные склонны пользоваться своею силой. Вот почему полицейские встречали дракофилов ударами своих подкованных сапог. Толпа то наступала, то шарахалась назад. К пению примешивались угрозы и крики.

— Убийцы! Убийцы!.. «Шатийона мы хотим!..» Убийцы! Убийцы! — раздавались возгласы.

А в глубине темной улицы более благоразумные уговаривали: «Не толкайтесь». Среди них, господствуя над взволнованной толпою благодаря своему высокому росту, расправляя над чьими-то вывихнутыми конечностями и помятыми ребрами свои широкие плечи и мощные легкие, кроткий, непоколебимый, невозмутимо спокойный высился в темноте князь де Босено. Он снисходительно и мирно ждал. Между тем полицейская застава понемногу, через правильные промежутки, пропускала публику, и вокруг князя уже не так сильно толпились и давили друг друга локтями в грудь; дышать стало свободнее.

— Видите, в конце концов все выйдем отсю-

да, — с мягкой улыбкой сказал этот добрый великан. — Только чуточку терпения…

Достав портсигар, он вынул сигару и, держа ее во рту, чиркнул спичкой. И вдруг при свете огонька он увидел, что жена его, княгиня Анна, томно прильнув к графу Клена, покоится в его объятиях. Он стремительно бросился на них и стал осыпать их ударами трости — их и заодно всех окружающих. Его обезоружили, хотя и не без труда. Но оторвать его от противника было невозможно. И пока потерявшую сознание княгиню передавали из рук в руки над головами возбужденной и любопытной толпы, чтобы усадить в карету, князь и граф дрались так, что клочья летели. Князь де Босено в драке потерял шляпу, монокль, сигару, галстук, потерял бумажник, набитый частными письмами и политической перепиской; потерял даже чудотворные образки, полученные от добрейшего отца Корнемюза. Зато он нанес своему противнику такой чудовищный удар в живот, что несчастный перелетел через чугунную ограду, прошиб головой стеклянную дверь и очутился в помещении угольного склада.

Привлеченные шумом борьбы и возгласами окружающих, полицейские бросились на князя, который оказал им яростное сопротивление.

Троих, совсем задыхающихся, он поверг к своим ногам, а семерых обратил в бегство, предварительно раздробив им челюсти, раскроив губы, расквасив носы, — так что алая кровь текла ручьями, — проломив черепа, оторвав уши, вывихнув ключицы, сокрушив ребра. Все же его одолели и окровавленного, изуродованного, в лохмотьях, оставшихся от костюма, уволокли в ближайший полицейский участок, где он и провел всю ночь, бесчинствуя и рыча.

До самого утра шатались по улицам группы манифестантов, распевая: «Шатийона мы хотим!» — и вышибая стекла в домах, где жили министры «общественного дела».

Глава VI
Падение Эмирала

Эта ночь была апогеем дракофильского движения. Теперь монархисты уже не сомневались в полном успехе. Их главари посылали по беспроволочному телеграфу поздравления принцу Крюшо. Дамы вышивали для него перевязи и ночные туфли. Г-н Плюм разыскал зеленого коня.

Благочестивый Агарик разделял общие надежды. Все же он продолжал вербовать новых сторонников для претендента на престол.

— Нужно проникнуть в самую гущу населения, — говорил он.

С этой целью он вступил в переговоры с тремя рабочими профессиональными союзами.

В то время люди физического труда уже не были разбиты на цеховые организации, как это было при последних Драконидах. Они стали свободны, но не имели обеспеченного заработка. В течение долгого времени они оставались совершенно разобщенными, без всякой помощи и поддержки, но потом образовали профессиональные союзы. Кассы у этих союзов были пусты, так как никто

не имел привычки платить членские взносы. В некоторых профессиональных союзах состояло до тридцати тысяч членов, в других — тысяча, пятьсот, двести. Многие насчитывали всего двух-трех членов, а иные и того меньше. Но так как списки членов не публиковались, то было нелегко отличить большие профессиональные союзы от маленьких.

После весьма сложной и таинственной подготовки благочестивому Агарику устроили в зале «Мельницы деньжат» свидание с товарищами Дагобером, Троном и Балафием, секретарями трех профессиональных союзов, из коих один насчитывал четырнадцать членов, другой — двадцать четыре, а третий — одного. Агарик повел переговоры с чрезвычайной ловкостью.

— Господа, — сказал он, — во многих отношениях мы с вами придерживаемся разных политических и социальных взглядов, но по некоторым вопросам мы можем прийти к согласию. У нас общий враг. Правительство эксплуатирует вас и глумится над вами. Помогите нам свергнуть его; для этого мы предоставим вам все средства, какими только располагаем, а сверх того вы можете рассчитывать в будущем на нашу благодарность.

— Понятно. Гоните деньжата, — сказал Дагобер.

Преподобный отец положил на стол мешок, со слезами на глазах врученный ему конильским винокуром.

— По рукам! — воскликнули три приятеля.

Так был заключен этот торжественный договор.

Как только монах ушел, в восторге от того, что привлек к своему делу широкие массы, — Дагобер, Трон и Балафий свистнули своим женам Амелии, Регине и Матильде, поджидавшим их сигнала на улице, и все шестеро, схватившись за руки, стали плясать вокруг мешка, припевая:

Табачишком я снабжен,
Не про тебя он, Шатийон!
Ату, ату монахов!

И они заказали себе целую миску глинтвейна.

Вечером они пошли вшестером бродить по злачным местам, напевая свою новую песенку. Она имела успех, — сыщики доносили, что с каждым днем все больше и больше рабочих распевает по городским предместьям:

Табачишком я снабжен,

Не про тебя он, Шатийон!

Ату, ату монахов!

Дракофильская агитация не получила распространения в провинции. Благочестивый Агарик тщательно доискивался причин, пока однажды к нему не явился старец Корнемюз, который все и разъяснил.

— Мне достоверно известно, — со вздохом сказал конильский монах, — что казначей дракофилов герцог Ампульский приобрел себе недвижимость в Дельфинии на средства, предназначенные для пропаганды.

У дракофильской партии не было денег. Князь де Босено потерял свой бумажник во время уличной стычки и вынужден был всячески изворачиваться, что претило его горячему нраву. Виконтесса Олив стоила очень дорого. Корнемюз советовал урезать месячное содержание этой дамы.

— Она очень полезна для нас, — возразил благочестивый Агарик.

— Конечно, — сказал Корнемюз. — Но, разоряя нас, она для нас вредна.

Дело дракофилов подрывалось внутренними несогласиями. Руководители ожесточенно

спорили друг с другом. Одни хотели держаться по-прежнему политики г-на Бигура и благочестивого Агарика, продолжая выставлять своей целью только реформирование республики; другие, наскучив долгим притворством, призывали требовать напрямик восстановления драконова гребня и клялись, что под таким знаменем добьются победы.

Эти последние ссылались на преимущества открытых действий и невозможность продолжать двойную игру. В самом деле, публика стала догадываться, к чему клонит агитация и как сторонники эмирала стремятся разрушить самые основы «общественного дела».

Пошла молва о том, что принц должен высадиться в Ла-Крике и въехать в Альку на зеленом коне.

Эти слухи воодушевляли фанатичных монахов, восхищали обедневших дворян, радовали богатых еврейских дам и вселяли надежду в сердца мелких торговцев. Но мало кому из них хотелось бы получить желаемые блага ценой социальной катастрофы и падения государственного кредита, и совсем уж мало кому улыбалось рисковать при этом своими деньгами, своим покоем, своей свободой или, хотя бы на часок, своими развлече-

ниями. Рабочие же, напротив, были, как всегда, готовы пожертвовать целым рабочим днем для республики; в предместьях глухо назревало сопротивление.

— Народ с нами, — говорил благочестивый Агарик.

Однако, выходя после работы из мастерских, мужчины, женщины и дети дружно пели:

Убирайся, Шатийон!

Ату, ату монахов!

Что касается правительства, то оно проявляло слабость, нерешительность, вялость и беспечность, свойственные всем правительствам и оставляемые ими только ради насилия и произвола. Словом, пингвинское правительство ничего не знало, ничего не хотело, ничего не могло. Формоз в недрах своего президентского дворца оставался слепым, глухим, немым, огромным и невидимым, закутанным в гордыню, как в пуховое одеяло.

Виконт Олив советовал объявить новый, уже последний сбор пожертвований и отважиться на решительный удар, пока в Альке еще идет брожение.

Исполнительный комитет, сам себя избрав-

ший, постановил захватить палату депутатов и разработал план действий.

Выступление было назначено на 28 июля. В тот день было солнечное утро. Перед дворцом законодательной палаты проходили хозяйки с корзинками в руках; уличные торговцы выкрикивали свой товар — персики, груши, виноград; извозчичьи лошади, опустив голову в торбу, жевали овес. Никто ничего не ждал; не то чтобы приготовления хранились в тайне, но попросту все считали подобные слухи вздорными. Никто не верил в возможность переворота, из чего можно было заключить, что никто его не желал. К двум часам в боковую калитку дворцовой ограды поодиночке стали проходить депутаты, не привлекая к себе ничьего внимания. К трем часам появились кучки каких-то оборванцев. В половине четвертого густая толпа хлынула из прилегающих улиц на площадь Переворота. Все широкое пространство ее было затоплено целым океаном фетровых шляп, и толпа манифестантов, непрерывно пополняемая любопытными, перейдя мост, мрачной волною подступила к самой ограде законодательной палаты. Крики, рев, пенье возносились к ясному небу: «Шатийона мы хотим! Долой депутатов! Долой республику!

Смерть республикашкам!» Священный батальон дракофилов, во главе с князем де Босено, запел торжественный гимн:

Крюшо, виват!
Мудрый на деле,
Ты с колыбели
Храбрый солдат!

За стеной им отвечали молчанием.

Это молчание и отсутствие охраны ободряли, но в то же время пугали толпу. Вдруг раздался громовый голос:

— На приступ!

И на самом верху стены, утыканной железными шипами и шишками, во весь свой гигантский рост встал князь де Босено. За ним бросились его товарищи, их примеру последовала толпа. Кто долбил стену, стараясь пробить в ней отверстие, кто норовил сорвать с нее шишки и вытащить шипы. Кое-где эти защитные приспособления не устояли. В тех местах по нескольку человек осаждающих уже оседлали стену. Князь де Босено размахивал огромным зеленым знаменем. Вдруг толпа дрогнула, испустив протяжный крик ужаса. Полицейская охрана и республиканские карабинеры, выйдя сразу из всех дверей дворца,

быстро построились за оградой, от которой мгновенно отхлынули осаждающие. Прошла минута тягостного ожидания, послышался лязг оружия, и полицейская охрана пошла на толпу в штыки. Вмиг на опустевшей площади, усеянной шляпами и тростями, воцарилась зловещая тишина. Дважды пытались еще дракофилы восстановить свои ряды — и дважды были отброшены. Восстание было подавлено. Но князь де Босено, стоя со знаменем в руке на ограде вражеского дворца, один отбивал натиск целого отряда. Он сбрасывал всех, кто к нему приближался. Наконец, обессиленный, сбитый с ног, повалился на железную шишку ограды и повис на ней, не выпуская из рук знамени Драконидов.

На другой день республиканские министры и члены парламента постановили принять решительные меры. Тщетно на этот раз пытался президент Формоз помочь виновникам увильнуть от ответственности. Правительство поставило вопрос о лишении Шатийона всех чинов и званий и о предании его Верховному суду как мятежника, государственного преступника, изменника и т. п.

Узнав об этом, старые боевые товарищи эмирала, еще накануне неотвязно преследовавшие его

изъявлениями дружбы, теперь не скрывали своей радости. Шатийон все же сохранил популярность среди алькской буржуазии, и на бульварах еще можно было услышать пение освободительного гимна: «Шатийона мы хотим!»

Министры были в затруднении. Они намеревались передать дело Шатийона в Верховный суд. Но они ничего не знали. Оставались в полном неведении, как это свойственно тем, кто управляет людьми. Оказались неспособны выдвинуть против Шатийона сколько-нибудь веские улики. В качестве материала для обвинения могли предъявить только нелепые выдумки своих сыщиков. Участие Шатийона в заговоре, его сношения с принцем Крюшо — все это составляло секрет, известный тридцати тысячам дракофилов. У министров же и депутатов были подозрения, даже уверенность, но не было никаких доказательств. Прокурор республики говорил министру юстиции: «Мне нужно совсем немного, чтобы возбудить преследование против политического преступника, но что у меня есть? Ничего, а этого недостаточно». Дело не двигалось. Враги республики торжествовали.

Утром 18 сентября по Альке распространился слух о бегстве Шатийона. Все были изумлены,

взволнованы. Не знали, что и подумать.

А произошло вот что.

Однажды, как бы случайно зайдя в кабинет к г-ну Барботану, министру внутренних дел, храбрый субэмирал Вольканмуль со своей обычной прямотою заметил:

— Господин Барботан, ваши коллеги не слишком-то расторопны, сразу видно, никогда не командовали на море. Чертовски трусят перед каким-то Шатийоном.

В знак протеста министр широко взмахнул ножом для разрезания бумаги над своим письменным столом.

— Не отрицайте, — настаивал Вольканмуль. — Вы не знаете, как отделаться от Шатийона. Вы не решаетесь передать его дело в Верховный суд, потому что не надеетесь собрать достаточный материал для обвинения. Его будет защищать Бигур, а Бигур — ловкий адвокат… Вы правы, господин Барботан, совершенно правы. Опасно затевать такой процесс.

— О мой друг, если б вы только знали, как уверенно мы себя чувствуем… — непринужденным тоном сказал министр. — Я получаю от своих префектов самые утешительные сведения. Здравый смысл, присущий пингвинам, поможет им по

достоинству оценить интриги взбунтовавшегося солдата. Можете ли вы допустить хоть на минуту, чтобы великий народ, умный, трудолюбивый, полный привязанности к своим либеральным установлениям, которые…

Вольканмуль перебил его с глубоким вздохом:

— Ах, будь у меня свободное время, я бы вас выручил — я бы как пить дать похитил, утащил у вас этого Шатийона. Одним щелчком отправил бы его в Дельфинию.

Министр насторожился.

— Раз, два — и готово! — продолжал моряк. — Во мгновение ока избавил бы вас от этой скотины… Но сейчас мне не до того… дочиста продулся в баккара. Нужно достать уйму денег. Честь — прежде всего, черт подери!..

Министр и субэмирал с минуту молча смотрели друг на друга. Потом Барботан внушительно произнес:

— Субэмирал Вольканмуль, избавьте нас от мятежного солдата. Вы окажете Пингвинии великую услугу, а министр внутренних дел, со своей стороны, обеспечит вам возможность уплатить ваши карточные долги.

В тот же вечер Вольканмуль явился к Шатийону и молча, с загадочно-скорбным выражением

лица, уставился на него.

— Что за физиономию ты состроил? — спросил встревоженный эмирал.

Тогда Вольканмуль объявил ему с мужественной печалью:

— Мой старый боевой друг, все открыто. Вот уже полчаса, как правительство обо всем узнало.

У Шатийона от ужаса подкосились ноги.

Вольканмуль продолжал:

— Тебя ждет арест с минуты на минуту. Советую удирать. Нельзя терять ни мгновенья, — добавил он, вынимая из кармана часы.

— Но можно мне хоть повидаться с виконтессой Олив?

— Это было бы безумием, — возразил Вольканмуль, а затем, протянув ему паспорт и синие очки, пожелал не терять бодрости.

— На этот счет будь покоен, — сказал Шатийон.

— Прощай, старый друг!

— Прощай! И спасибо! Ты спас мне жизнь.

— Я только исполнил свой долг.

Четверть часа спустя храбрый эмирал покинул город Альку.

Ночью он сел в Ла-Крике в старую яхту и пустился по волнам в Дельфинию. Но в восьми

милях от берега он был захвачен вестовым судном, плывшим без огней, под флагом королевы Черных Островов. Уже давно королева эта питала к Шатийону роковую страсть.

Глава VII
Заключение

Nunc est bibendum[20]. Освободившись от страхов, радуясь избавлению от столь великой опасности, правительство постановило отметить народными празднествами годовщину пингвинского возрождения и установления республики.

На торжественной церемонии присутствовали президент Формоз, министры, члены палаты депутатов и сенаторы.

Генералиссимус пингвинской армии явился в полной парадной форме. Его встретили приветственными криками.

Неся впереди черное знамя нищеты и красное знамя восстания, с выражением суровой снисходительности на лицах, прошествовали представители рабочих.

Президент, министры, депутаты, высшие чины суда и армии снова принесли, от своего имени и от имени державного народа, древнюю клятву — жить свободными или умереть. Они решились принять эту альтернативу. Но предпочитали

---

[20] Примечания: 20
Теперь время пить (*лат.*).

жить свободными. Затем были игры, речи, песни.

После того как отбыли представители власти, толпа граждан растеклась медленными и мирными потоками, возглашая: «Да здравствует республика! Да здравствует свобода! Ату, ату монахов!»

Лишь один случай, омрачивший этот прекрасный день, был отмечен газетами. Князь де Босено спокойно курил сигару на Лугу Королевы, когда появился кортеж правительственных экипажей. Князь подошел к карете, где сидели министры, и произнес громовым голосом: «Смерть республикашкам!» К нему кинулись полицейские, но он оказал им отчаянное сопротивление. Многих ему удалось сбить с ног, но все же он потерпел поражение от численно превосходящего противника, и его, оглушенного, покрытого синяками и ссадинами, опухшего, исцарапанного, словом, такого, что его не узнала бы и собственная жена, поволокли по праздничным улицам в темные недра тюрьмы.

Суд занялся тщательным следствием по делу Шатийона. В здании Адмиралтейства были обнаружены письма, устанавливавшие, что одним из руководителей заговора был преподобный

отец Агарик. Это немедленно вызвало взрыв общественного негодования против монахов; и парламент принял, один за другим, целую дюжину законов, которые сокращали, уменьшали, ограничивали, разграничивали, упраздняли, пресекали и урезывали права, льготы, вольности, привилегии и доходы монахов, создавая для них многочисленные, весьма утеснительные препоны.

Преподобный отец Агарик с твердостью перенес введение суровых законов, хотя они задевали и сильно ущемляли его самого, с твердостью перенес он и ужасное падение эмирала, сознавая к тому же, что сам был первопричиной этого. Отнюдь не собираясь покориться своей злой участи, он рассматривал ее как нечто преходящее. И уже строил новые политические замыслы, еще более дерзкие.

Когда планы его достаточно созрели, он однажды утром пошел в Конильский лес. На ветке дерева посвистывал дрозд, ежик угрюмо перебирался через каменистую тропинку, Агарик шел большими шагами, что-то бурча себе под нос.

Дойдя до порога лаборатории, где благочестивый предприниматель провел столько прекрасных лет за перегонкой золотистого ликера

св. Орброзы, он увидел, что все кругом пусто и дверь заперта. Обогнув постройку, он обнаружил позади нее преподобного Корнемюза, который взбирался, подоткнув свое монашеское одеяние, по лестнице, прислоненной к стене.

— Это вы, дорогой друг? — произнес Агарик. — Что вы здесь делаете?

— Сами видите, — слабым голосом ответил конильский монах, обратив на него страдальческий взор. — Возвращаюсь к себе домой.

Красные глаза его уже потеряли свой победоносный рубиновый блеск; в них тускло светилась печаль. Лицо утратило благодушную округлость. Лысая голова уже не очаровывала взгляда своей безупречно гладкой поверхностью: трудовой пот и какие-то лихорадочные пятна нарушали ее неоценимое совершенство.

— Не понимаю, — сказал Агарик.

— Что же тут непонятного? Пред вами — последствия вашего заговора. Попав под действие множества законов, я, правда, большинство из них сумел обойти. Но все же от некоторых сильно пострадал. Эти мстительные люди закрыли мои лаборатории и склады, конфисковали мои бутыли, перегонные кубы, реторты, опечатали вход. Приходится теперь лазить через окно. Еле

ухитряюсь время от времени извлекать тайком сок из растений при помощи аппаратов, которыми погнушался бы последний из виноделов.

— Вы жертва преследований. Все мы подвергаемся им.

Конильский монах провел рукою по лысине.

— А я ведь говорил вам, брат Агарик, я ведь говорил вам, что ваша затея обратится против нас.

— Это лишь временное поражение, — горячо возразил Агарик. — Оно вызвано совершенно случайными причинами; тут виновато просто-напросто неблагоприятное стечение обстоятельств. Шатийон — дурак. Сам себя утопил по собственной бездарности. Послушайте, брат Корнемюз. Нельзя терять ни минуты. Нужно освободить пингвинский народ, нужно избавить его от тиранов, спасти от самого себя, восстановить гребень Дракона, возобновить старый порядок. Добрый порядок, во славу религии, во имя торжества католической веры.

Шатийон был плохим орудием, оно сломалось у нас в руках. Прибегнем к лучшему орудию. У меня есть на примете человек, способный уничтожить безбожную демократию. Это штатский. Имя его Гоморю. Пингвины от него без ума. Он уже предал свою партию за рисовую похлебку.

Вот кто нам нужен!

Уже в начале этой речи конильский монах влез в окно и втащил в него лестницу.

— Знаю все заранее, — ответил он, высунув нос между створками. — Вы не успокоитесь, пока не добьетесь того, что мы все поголовно будем изгнаны из этой прекрасной, любезной сердцу, ласковой Пингвинии. Прощайте, да хранит вас милость Господня!

Агарик, стоя перед стеною, стал заклинать своего дражайшего собрата, чтобы тот выслушал его:

— Не пренебрегайте собственными интересами, Корнемюз! Пингвиния в наших руках. Много ли требуется, чтобы завладеть ею? Еще одно усилие… еще небольшое денежное пожертвование, и…

Но, не слушая больше, конильский монах убрал свой нос и закрыл окно.

Книга шестая
Новое время. Дело о восьмидесяти тысячах копен сена

Ζεῦ πάτερ, ἀλλά σν ρῦσαι ὑπ' ἠέρος θιας
Αχαιῶν ποίησον δ'αἰθρην, δος δ'ὀφθαλμοῖσιν
ἴδέσθαι ἐν δὲ φάει και' λεσσον, ἐπει νύ τοι
εὐὰδεν ούτως[21].

«Илиада», XVII, ст. 645 и след.

---

[21] Примечания: 21
Зевс, наш владыка, избавь аргивян от ужасного мрака!
Дневный свет возврати нам, дай нам видеть очами!
И при свете губи нас, когда уже так восхотел ты! (*греч.*)
(*Перевод Н. И. Гнедича*)

Глава I
Генерал Греток, герцог Скаллский

Вскоре после бегства эмирала один еврей из среднего круга, по фамилии Пиро, стремясь сблизиться с аристократией и желая послужить своей стране, вступил в ряды пингвинской армии. Тогдашний военный министр Греток, герцог Скаллский, не выносил его: ему не нравилось его рвение, его крючковатый нос, его честолюбие, усидчивость, толстые губы и примерное поведение. Каждый раз, когда искали виновника какого-нибудь проступка, Греток говорил:

— Это, наверно, Пиро!

Однажды утром начальник Генерального штаба генерал Пантер явился к Гретоку с весьма серьезным сообщением: пропали восемьдесят тысяч копен сена, запасенных для кавалерии; исчезли бесследно.

Греток сразу решил:

— Это, наверно, Пиро их украл!

Затем, немного подумав, добавил:

— Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что именно Пиро украл эти восемьдесят

тысяч копен сена. И — характерно для него! — он похитил их, чтобы продать по дешевке дельфинам, нашим заклятым врагам. Гнусная измена!

— В этом нет никакого сомнения, — ответил Пантер. — Остается только найти доказательства.

В тот же день князь де Босено, проходя мимо кавалерийских казарм, услыхал, как кирасиры пели, подметая двор:

Ваш Босено – свинья большая.
Колбасы выйдут из него,
Да и ветчинка неплохая
Для бедняков на Рождество.

Он счел недопустимым нарушением дисциплины тот факт, что солдаты осмеливаются петь эту незатейливую и вместе с тем революционную песенку, полившуюся впервые во дни восстания из глоток насмешливых рабочих. В связи с этим он стал сокрушаться о моральном упадке армии и с горькой усмешкой подумал, что его старый товарищ Греток, начальник этой разложившейся армии, подлым образом предоставляет ее для расправы злобствующему антипатриотическому правительству. И князь дал себе слово незамедлительно навести в ней порядок.

— Этот негодяй Греток недолго останется в министрах, — решил он.

Князь де Босено был непримиримейшим противником современной демократии, вольномыслия и государственного устройства, которое было свободно установлено пингвинами. Он питал страстную и непримиримую ненависть к евреям; и явно и тайно, и днем и ночью работал он над восстановлением рода Драконидов на пингвинском престоле. Его монархический пыл раздувался еще более по причинам личного характера, в связи с плачевным состоянием его дел, которое ухудшалось день ото дня: он не видел конца собственным денежным затруднениям, пока наследник Драко Великого не вступит в свою столицу Альку.

Вернувшись к себе в особняк, он достал из несгораемого шкафа пачку старой корреспонденции, — это были частные, весьма секретные письма, переданные ему неким вероломным приказчиком и могущие послужить доказательством, что его старый товарищ Греток, герцог Скаллский, нагрел руки на военных поставках, получив от одного промышленника, по фамилии Малури, взятку, притом не какую-нибудь огромную, а весьма скромных размеров, так что

принявший ее министр лишался уже всякого оправдания.

Князь с острым наслаждением перечитал эти письма, тщательно уложил их обратно в несгораемый шкаф и побежал в военное министерство. Он был человек решительный. В ответ на сообщение, что министр не принимает, он сбил с ног привратников, повалил на пол вестовых, поверг к своим ногам военных и гражданских чиновников, выломал двери и ворвался в кабинет изумленного Гретока.

— Поговорим кратко, но начистоту, — сказал он министру. — Ты старый подлец. Но это бы еще полбеды. Я просил тебя двинуть по уху генерала Моншена, этого гнуснейшего из республикашек, — ты не пожелал. Я просил тебя поручить командование корпусом генералу де Клапье, который работает в пользу Драконидов и которому я лично многим обязан, — ты не пожелал. Я просил тебя сместить генерала Тандема, командующего портом Альки, того, что украл у меня пятьдесят луидоров за игрою в баккара и велел надеть на меня наручники, когда меня отправили в Верховный суд как сообщника эмирала Шатийона, — ты не пожелал. Я просил тебя дать мне подряд на поставку овса и отрубей — ты не

пожелал. Я просил тебя послать меня с секретной миссией в Дельфинию — ты не пожелал. Мало того, не довольствуясь постоянными и решительными отказами, ты обрисовал меня своим коллегам по кабинету министров как человека опасного, за которым надо установить наблюдение, и тебе, старый предатель, я обязан тем, что теперь за мной ходят по пятам полицейские сыщики. Больше я ничего у тебя не прошу, скажу тебе только одно: катись к чертям, ты всем намозолил глаза! Да к тому же мы заставим твое грязное «общественное дело» назначить вместо тебя кого-нибудь из наших. Так вот, ты знаешь: я человек слова. Если ты через двадцать четыре часа не подашь в отставку, я опубликую в газетах материалы по делу Малури.

Но Греток, сохраняя невозмутимое спокойствие, ответил:

— Да уймись ты, идиот! Я теперь готовлюсь отправить одного еврея на каторгу. Я предаю суду Пиро по обвинению в краже восьмидесяти тысяч копен сена.

Ярость князя де Босено сразу спала с него, словно пелена, и он улыбнулся:

— Правда?

— Скоро увидишь.

— Поздравляю, Греток. Но, так как с тобою нужно всегда держать ухо востро, я сейчас же опубликую это приятное известие. Сегодня же вечером все алькские газеты сообщат об аресте Пиро…

И пробормотал, уходя:

— Ну и Пиро! Я всегда подозревал, что он плохо кончит.

Минуту спустя к Гретоку явился генерал Пантер.

— Господин министр, я только что ознакомился с делом о восьмидесяти тысячах копен сена. Против Пиро нет никаких улик.

— Нужно найти! — отвечал Греток. — Этого требует правосудие. Распорядитесь о немедленном аресте Пиро.

Глава II
Пиро

Вся Пингвиния пришла в ужас, узнав о преступлении Пиро; вместе с тем некоторое удовлетворение доставляла мысль, что хищение это, усугубленное изменой и граничащее со святотатством, совершено каким-то евреем из мелких. Чтобы понять подобное чувство, надо знать, как относилось общественное мнение к крупным еврейским дельцам и к евреям из мелких. Мы уже имели случай отметить на страницах этого повествования, что каста финансистов, всеми ненавидимая и захватившая всю власть, состояла из христиан и евреев. Евреи, входившие в нее и сосредоточившие на себе всю ненависть населения, были крупные еврейские дельцы; они владели огромными состояниями и держали в своих руках, по слухам, больше одной пятой всех пингвинских богатств. За пределами этой опасной касты имелось множество евреев из мелких, людей среднего достатка, которых любили не больше, чем крупных дельцов, и гораздо меньше боялись. Во всяком цивилизованном государ-

стве богатство священно; в демократических государствах священно только оно. А Пингвиния была государством демократическим; три-четыре финансовые организации пользовались там властью более обширной, а главное, более устойчивой, чем власть республиканских министров, которым они предоставляли корчить из себя больших господ и втайне диктовали свою волю, получая от них с помощью угроз или подкупов поддержку себе в ущерб государству, — тех же, кто не шел на сделки с совестью, они уничтожали при содействии газетных клеветников. Как ни соблюдалась тайна вкладов, все же просачивалось достаточно сведений, чтобы вызывать в стране негодование, — но вместе с тем пингвинские буржуа, от самых крупных до самых мелких, с молоком матери впитавшие уважение к деньгам, да к тому же все, владевшие хоть каким-нибудь имуществом, глубоко чувствовали солидарность, существующую между всеми капиталистами, и понимали, что мелкая собственность неприкосновенна только в том случае, если неприкосновенна крупная. А потому к еврейским миллиардам испытывали то же религиозное благоговение, что и к миллиардам христианским: денежный интерес пересили-

вал вражду, так что все пуще смерти боялись затронуть хоть волосок на голове этих ненавистных крупных евреев. К мелким не испытывали такого почтения и, если какой-нибудь из них падал, старались его затоптать. Вот почему вся пингвинская нация злорадствовала, узнав, что предателем был еврей, но из мелких. На нем можно было сорвать злобу, питаемую ко всем израильтянам, не опасаясь нанести ущерб государственному кредиту.

Что Пиро действительно украл восемьдесят тысяч копен сена — в это, разумеется, поверили без малейших колебаний. Никто не сомневался, потому что при полном неведении относительно всех обстоятельств дела не могло быть повода к сомнениям, а они нуждаются в поводе: без оснований не сомневаются, без оснований только верят. Никто не сомневался, так как повсюду повторяли одно и то же, а для публики повторение означает доказательство. Никто не сомневался, так как хотелось, чтобы Пиро был виновен, а чего хочешь, в то и веришь; никто не сомневался, так как, помимо всего прочего, способность сомневаться встречается у людей редко. Лишь очень немногие умы носят в себе ростки сомнения, нуждающиеся к тому же в заботливом уходе. Оно своеобраз-

но, изысканно, философично, безнравственно, трансцендентно, чудовищно, коварно, вредно для людей и для собственности, враждебно государственному строю и процветанию империй, гибельно для человечества, разрушительно для богов, ненавистно небу и земле. Пингвинская толпа не знала сомнений: она поверила в виновность Пиро, и эта вера тотчас же стала одной из основ ее национальных верований, войдя существенной составной частью в ее патриотический символ веры.

Пиро судили тайно, он был осужден.

Генерал Пантер поспешил к военному министру сообщить, чем кончился процесс.

— К счастью, — сказал он, — у судей была твердая уверенность, так как не было никаких доказательств.

— Доказательства, доказательства! — пробурчал Греток. — А что они доказывают? Есть только одно верное, неопровержимое доказательство — признание подсудимого. Пиро сознался?

— Нет, генерал.

— Сознается! Должен сознаться, нужно добиться, Пантер; скажите ему, что это в его собственных интересах. Посулите, что, если он сознается, ему окажут снисхождение, смягчат наказание, по-

милуют его; посулите, что, если он сознается, его признают невиновным, наградят орденом. Надо воззвать к его лучшим чувствам. Пускай сознается из патриотизма, ради чести знамени, подчиняясь приказу, в порядке субординации, по особому распоряжению военного министра, во исполнение воинского долга… Однако послушайте, Пантер, разве он уже не сознался? Ведь бывают молчаливые признания; молчание — знак согласия.

— Но, генерал, он не молчит; он вопит, как одержимый, что ни в чем не виновен.

— Да, Пантер, но иной раз именно отчаянное запирательство виновного свидетельствует о признании им своей вины. Пиро сознался; нам нужны свидетели его признаний: этого требует правосудие.

В Западной Пингвинии, там, где море образует три небольшие бухты, был расположен морской порт под названием Ла-Крик, где в прежние времена часто бросали якорь корабли, а теперь все было занесено песком и пустынно. Лагуны, заросшие плесенью, тянулись вдоль низкого побережья, выделяя зловонные испарения, и над сонными водами реяла лихорадка. Там, на берегу моря, высилась четырехугольная башня,

похожая на старую венецианскую Кампанилу, а сбоку у нее, под самой крышей, на цепи, прикованной к поперечной балке, висела клетка, вся решетчатая, куда во времена Драконидов алькские инквизиторы сажали церковников, впавших в ересь. В эту клетку, пустовавшую уже триста лет, заключили Пиро, отдав его под надзор шестидесяти надсмотрщиков, которые жили в башне и не спускали с него глаз ни днем, ни ночью, подстерегая, не сделает ли он каких признаний, и готовясь немедленно сообщить об этом военному министру, ибо Греток, щепетильный и осторожный, хотел признаний и сверхпризнаний. Хотя Гретока и считали дураком, но в действительности он был очень умен и на редкость предусмотрителен.

Между тем Пиро, палимый солнцем, пожираемый москитами, заливаемый дождем, засыпаемый градом и снегом, терзаемый холодом, сотрясаемый яростной бурей, донимаемый зловещим карканьем воронов, сидящих на его клетке, писал собственной кровью, при помощи зубочистки, на лоскутьях своей рубахи, что он ни в чем не виновен. Но лоскутья тонули в море или попадали в руки тюремщикам. Впрочем, некоторые дошли до публики. Однако уверения

Пиро никого не интересовали, так как уже были опубликованы его признания.

Глава III
Граф де Мобек де ла Дандюленкс

Мелкие евреи не всегда отличались чистотою нравов; в большинстве своем они были причастны всем порокам христианской цивилизации. Но они сохраняли патриархальную прочность семейных уз и приверженность интересам своего племени. Братья, сводные братья, дядья, двоюродные деды, двоюродные братья, троюродные внуки, племянники и внучатые племянники, родственники и свойственники Пиро, в количестве семисот человек, сначала подавленные ударом, постигшим одного из их среды, заперлись в своих домах, посыпали пеплом главу и, благословляя карающую десницу, сорок дней соблюдали строгий пост. Потом приняли ванну и решили, невзирая ни на какие препятствия, пренебрегая любой опасностью, неустанно добиваться признания невиновности Пиро, в которой они не сомневались. Да и как могли они сомневаться? Невиновность Пиро была для них богооткровенна, как для христианской Пингвинии была богооткровенна его преступность; ведь и та и

другая, окруженные тайной, принимали характер мистический и обретали непререкаемость религиозных истин. Семьсот родичей Пиро столь же ревностно, сколь и осторожно, принялись за работу и скрытно повели глубокое расследование всех обстоятельств. Они были повсюду, но их нигде не было видно; можно было подумать, что, подобно кормчему Одиссея, они свободно передвигаются под землей. Они проникли в канцелярии военного министерства, под разными вымышленными предлогами получили доступ к судьям, к секретарям суда, к свидетелям. Вот тут-то и сказалась мудрость Гретока: свидетели ничего не знали, судьи и секретари ничего не знали. Тайные посланцы добрались до самой клетки Пиро и со страстной настойчивостью расспрашивали его обо всем, под заунывный гул моря и хриплое карканье воронов. Но напрасно: осужденный ничего не знал. Семьсот родичей Пиро не могли опровергнуть доказательства обвинения, потому что не имели о них понятия; а не имели о них понятия, потому что их не было. Виновность Пиро была неопровержима, потому что нечего было опровергать. И Греток с законной гордостью подлинного художника сказал однажды генералу Пантеру: «Этот процесс — просто

шедевр: он создан из ничего». Семьсот родичей Пиро уже отчаивались когда-либо пролить свет на это темное дело, как вдруг из одного украденного письма им стало известно, что восемьдесят тысяч копен сена никогда не существовали, что, правда, один из самых знатных представителей дворянства, граф де Мобек, продал их государству и даже получил за них все сполна, но так их и не доставил, и по совершенно понятным причинам: этот потомок самых богатых землевладельцев Древней Пингвинии, отпрыск рода Мобеков де ла Дандюленкс, когда-то владевших четырьмя герцогствами, шестьюдесятью графствами, шестьюстами двенадцатью маркизатами, баронскими и видамскими поместьями, сам не владел ни клочком земли хотя бы с ладонь величиною, так что не мог бы накосить в своих владениях даже копны сена. А вместе с тем для него было совершенно невозможно и закупить хоть былинку у кого-либо из помещиков или торговцев, ибо, за исключением министров и государственных чиновников, все отлично знали, что легче выжать масло из булыжника, чем какой-нибудь сантим из Мобека.

Семьсот родичей Пиро подвергли тщательному обследованию источники доходов графа де Мо-

бека де ла Дандюленкс и установили, что этот дворянин пользовался главным образом доходами от дома, где сговорчивые дамы встречались с любым желающим, ко взаимному удовольствию. Родичи Пиро выступили с публичными обвинениями графа в краже восьмидесяти тысяч копен сена, за которую другой был без вины осужден и посажен в клетку.

Мобек происходил из знатного рода, связанного родственными узами с Драконидами. В демократических государствах ничто так высоко не ценят, как знатность происхождения. Мобек служил прежде в пингвинской армии, пингвины же, с тех пор как стали все сплошь солдатами, полюбили свою армию прямо до идолопоклонства. Мобек заслужил на полях сражений боевой крест, а это в глазах пингвинов — почет, который они предпочитают даже супружескому ложу. Вся Пингвиния высказалась за Мобека, и глас народа, начинавшего роптать, требовал для семисот родичей Пиро суровых кар за клевету.

Мобек был дворянин. Он вызвал всех семьсот к барьеру, предлагая драться на шпагах, саблях, пистолетах, карабинах, палках, на чем угодно.

«Поганые жиды, — писал он им в своем знаменитом послании, — вы распяли моего Господа, а

теперь хотите с меня содрать шкуру; но предупреждаю вас, я не такая сопля, как он, — живо пообрубаю вам все семьсот пар ушей. Получайте от меня пинок под все ваши семьсот задов разом».

Во главе государства стоял тогда Робен Медоточивый, из деревенских, мягкий с людьми богатыми и влиятельными, суровый к беднякам, трусоватый и корыстолюбивый. Он публично поручился за невиновность и порядочность Мобека и предал суду исправительной полиции всех семьсот родичей Пиро, и те были приговорены как диффаматоры к телесным наказаниям, к уплате огромных штрафов и к возмещению проторей и убытков своей невинной жертве.

Казалось, Пиро навеки останется в клетке, на которой сидят вороны. Но пингвины хотели и сами убедиться, и убедить других, что еврей виновен, а доказательства далеко не все были вески и порою противоречили одно другому. Офицеры Генерального штаба проявляли усердие, но некоторым из них не хватало осторожности. В то время как Греток хранил великолепное молчание, генерал Пантер разливался неиссякаемыми потоками речей и каждое утро доказывал в газетах виновность осужденного. Пожалуй, лучше

было бы о ней помолчать: ведь она была очевидна, а очевидность не требует доказательств. Обилие доводов смущало умы. Вера, все еще крепкая, утратила прежнюю ясность. Чем больше доказательств приводили пингвинам, тем больше они требовали новых.

Излишнее количество доказательств было бы, впрочем, не так опасно, если бы не нашлись в Пингвинии, как находятся повсюду, независимые умы, способные разобраться в сложных вопросах и склонные к философическому сомнению. Таких было немного; и не все они расположены были высказываться; да и публика оказалась совершенно не подготовленной к тому, чтобы их выслушивать. Впрочем, не все вокруг были глухи. Крупные еврейские дельцы, все алькские миллиардеры-иудеи, когда кто-нибудь заговаривал с ними о Пиро, отвечали: «Мы не знаем этого человека», но втайне помышляли о его спасении. Они были слишком богаты, чтобы не соблюдать осторожности, и желали, чтобы другие оказались смелей. Их желанию предстояло исполниться.

Глава IV
Коломбан

Через несколько недель после осуждения семисот родичей Пиро низенький близорукий человек с хмурым лицом, заросшим волосами, вышел однажды утром из своего дома, таща лестницу, горшок клея и пачку каких-то листков, и начал расклеивать на улицах плакаты, где крупными буквами стояло: «Пиро невиновен — виновен Мобек». То не был расклейщик афиш; звали его Коломбан; автор ста шестидесяти томов пингвинской социологии, по профессии он принадлежал к писателям Альки, притом был самым трудолюбивым и уважаемым среди них. После серьезных размышлений, совершенно убедившись в невиновности Пиро, он решил публично заявить о ней тем способом, какой считал наиболее действенным. Ему удалось без помех расклеить несколько афиш на малолюдных улицах, но когда он дошел до оживленных кварталов, то каждый раз, как он взлезал на свою лесенку, вокруг него собирались любопытные и, онемев от удивления и негодования, бросали на него угрожающие взгляды, к чему

он, впрочем, относился с полным спокойствием, внушаемым смелостью и близорукостью. Меж тем как, следуя за ним по пятам, привратники и лавочники сдирали со стен его афиши, он шел все вперед, таща свое снаряжение, провожаемый мальчишками с корзинками в руках и ранцами на спинах, не очень обеспокоенными тем, что опоздают в школу; он расклеивал да расклеивал листки. К устремленным на него негодующим взглядам стали присоединяться враждебные выкрики и ропот. Но Коломбан не удостаивал видеть и слышать все это. В начале улицы Св. Орброзы, когда он принялся наклеивать очередной листок с напечатанными на нем словами: «Пиро невиновен — виновен Мобек», толпа обнаружила явные признаки ярости. «Изменник, вор, подлец, мерзавец!» — кричали ему. Какая-то женщина, растворив окно, опрокинула ему на голову целый ящик мусора; какой-то извозчик бичом сбил с него шляпу, и та отлетела на другую сторону улицы, под злорадные клики толпы; молодчик из мясной лавки свалил его с лесенки прямо в канаву, вместе с клеем, кистью и стопкой листков, — и пингвины с гордостью осознали при этом величие своей родины. Коломбан поднялся, весь залитый нечистотами, с перебитой рукой и

ногой, спокойный и решительный.

— Грубые животные, — пробормотал он, пожимая плечами.

Затем он стал на четвереньки и принялся искать в канаве свое пенсне, оброненное при падении. Тут обнаружилось, что сюртук его лопнул от ворота до самых фалд, а брюки изодраны в клочья. Это вызвало в толпе новый прилив ненависти.

По ту сторону улицы находилась большая бакалейная лавка под вывеской «Святая Орброза». Патриоты стали хватать с выставленных на улице лотков все, что попадалось под руку, и в Коломбана полетели апельсины и лимоны, банки с вареньем, плитки шоколада и бутылки ликера, коробки сардин и горшочки гусиного паштета, окорока и битая птица, жестянки с прованским маслом и кульки с фасолью. Весь вымазанный всякой снедью, избитый, расцарапанный, охромевший, он, ничего не видя перед собой, обратился в бегство, а приказчики из лавок, подручные из пекарни, бродяги, солидные обыватели, уличные мальчишки — все бросились его преследовать, возрастая в числе с каждою минутой и яростно вопя: «В воду его! Смерть изменнику! В воду!» Весь этот поток озверелой черни прокатился по

бульварам и хлынул на улицу Св. Маэля. Полиция отнюдь не бездействовала: из-за всех углов появлялись полицейские и, придерживая левой рукою ножны шашек, пускались бежать во главе преследователей. Они уже протягивали ручищи, чтобы схватить Коломбана, но тот неожиданно ускользнул от них, провалившись через открытый люк в канализационную трубу.

Он провел там всю ночь, сидя в темноте, прямо у сточных вод, среди множества мокрых жирных крыс. Он думал о предстоящей ему задаче; в сердце его росли отвага и жалость. И когда рассвет бледным лучом своим проник в глубину люка, Коломбан вылез и произнес, обращаясь к самому себе:

— Да, борьба, видимо, будет жестокая.

Не откладывая, он составил записку, где убедительно доказывал, что Пиро не мог украсть у военного министерства восемьдесят тысяч копен сена, каковые в министерство вовсе не поступали, поскольку Мобек никогда не поставлял их, хотя и получил за них деньги. Коломбан поручил раздавать эту листовку на улицах Альки. Публика не желала читать и злобно рвала ее в клочки. Лавочники грозили распространителям кулаками, а фурии в образе домашних хозяек обращали

их в бегство и гнались за ними со швабрами в руках. Все были взбудоражены, и волнение на улицах не утихало целый день. Вечером банды разъяренных оборванцев бегали по городу, вопя: «Смерть Коломбану!» Патриоты вырывали из рук у распространителей целые кипы листков, жгли их на городских площадях и как оголтелые плясали вокруг костров вместе с девицами, задравшими юбки до живота.

Наиболее пылкие пошли бить стекла в том доме, где уже сорок лет тихо и мирно жил и трудился Коломбан.

Обе палаты пришли в волнение и запросили главу правительства, какие меры собирается он принять против посягательств Коломбана на честь национальной армии и безопасность Пингвинии. Робен Медоточивый осудил святотатственную дерзость Коломбана и под аплодисменты законодателей объявил, что этот человек будет предан суду и понесет ответственность за свой грязный пасквиль.

Военный министр, вызванный на трибуну, предстал на ней совершенно преображенным. Он уже больше не был похож на священного гуся пингвинских цитаделей. Взъерошенная голова, вытянутая вперед шея и нос крючком придавали

ему теперь сходство с символическим коршуном, готовым клевать печень у врагов родины.

Среди торжественной тишины, воцарившейся в собрании, он произнес только следующее:

— Клянусь, что Пиро — злодей.

Эти слова Гретока, распространившись по всей Пингвинии, успокоили общественную совесть.

Глава V
Преподобные отцы Агарик и Корнемюз

Коломбан, удивленный и безропотный, нес бремя всеобщего осуждения; он не мог выйти из дому без того, чтобы его не побили каменьями, так что он совсем перестал выходить и с великолепным упорством писал у себя в кабинете все новые и новые записки в защиту ни в чем не повинного человека, посаженного в клетку. Среди немногочисленных его читателей нашлось все же человек десять, которые были поколеблены его доводами и начали сомневаться в виновности Пиро. Они поделились этим со своими близкими и попытались распространить вокруг тот свет, что забрезжил в их сознании. Один из них был другом Робена Медоточивого и высказал ему свои сомнения, после чего тот перестал его принимать. Другой в открытом письме попросил объяснений у военного министра; третий выпустил резкий памфлет — это был Керданик, самый опасный из полемистов. Публика оторопела. Говорили, что защитники предателя подкуплены богатыми

евреями; их обзывали пиротистами, и патриоты клялись их истребить. Во всей обширной республике было не больше тысячи или тысячи двухсот пиротистов; но они мерещились повсюду: их видели на прогулках, на заседаниях, на собраниях, в светских гостиных, за семейным столом, в супружеской постели. Половина народонаселения стала подозрительна для другой половины. Алька была охвачена раздорами.

А отец Агарик, возглавлявший большую школу для знатных юношей, с волнением следил за событиями. Беды, постигшие пингвинскую церковь, не сломили его; он оставался верен принцу Крюшо и по-прежнему питал надежду восстановить потомка Драконидов на пингвинском престоле. Ему казалось, что события, происходившие или назревавшие в стране, состояние умов, вызвавшее их, а вместе с тем поддержанное ими, и смута, как неизбежное их последствие, — все это, если по-монашески хитро направить дело и руководить им, поворачивая то так, то этак, могло поколебать республиканскую власть и настроить пингвинов в пользу реставрации принца Крюшо, набожность которого сулила утешение всем верующим. Нахлобучив себе на голову черную шляпу с широкими полями, похожими на кры-

лья Ночи, он отправился в Конильский лес — на завод, где его друг, преподобный отец Корнемюз, гнал целебный ликер св. Орброзы. Предприятие славного монаха, столь жестоко пострадавшее во времена эмирала Шатийона, стало понемногу возрождаться. По лесу с гудением неслись товарные поезда, а под навесами складов сотни сироток в синей одежде упаковывали бутылки и заколачивали ящики. Агарик застал преподобного Корнемюза у печи, посреди реторт. Юркие глазки старца вновь обрели свой рубиновый блеск; безупречно гладкий череп великолепно сиял, как в былое время.

Агарик прежде всего поздравил благочестивого винокура с тем, что его лаборатории и мастерские возобновили работу.

— Да, дела поправляются. Возношу благодарение Господу, — ответил конильский старец. — Увы, ведь я пережил полное разорение, брат Агарик. Вы сами видели, как все здесь было разрушено. Не нужно и рассказывать.

Агарик отвернулся.

— Ликер святой Орброзы снова торжествует, — продолжал Корнемюз. — Но мое предприятие все же очень ненадежно и непрочно. Разрушительные и разорительные законы, которые по нему

ударили, не отменены, приостановлено только их действие…

И конильский монах возвел к небесам свои рубиновые глазки.

Агарик положил руку ему на плечо.

— Какое зрелище, Корнемюз, являет нашим взорам несчастная Пингвиния! Везде непокорство, независимость, свобода! Вокруг поднимаются гордецы, спесивцы, мятежники. Презрев законы божеские, они теперь ополчаются и на человеческие законы, ибо, воистину, если ты не будешь добрым христианином, то не будешь и добрым гражданином. Коломбан стремится уподобиться самому сатане. Пагубный пример находит многочисленных преступных подражателей. В своем неистовстве они хотят со всего сорвать узду, сбросить всякое ярмо, освободиться от самых священных уз, избавиться от самого спасительного принуждения. Они наносят удар за ударом своей родине, дабы подчинить ее себе. Но они падут под тяжестью всеобщего презрения, омерзения, ненависти, осуждения, возмущения и отвращения. Вот в какую бездну их завлекло безбожие, вольномыслие, свобода исследования, чудовищное притязание все решать своим умом, обо всем иметь собственное мнение.

— Конечно, конечно, — отвечал отец Корнемюз, кивая головой. — Но должен признаться, что, занятый дистилляцией сока пользительных трав, я как-то перестал следить за общественной жизнью. Знаю только, что нынче много толкуют о каком-то Пиро. Одни утверждают, что он виновен, другие говорят, что нет, — и мне не совсем ясно, что побудило тех и других ввязываться в дело, которое их совершенно не касается.

Благочестивый Агарик прервал его:

— Но вы-то не сомневаетесь в преступлении Пиро?

— Я не могу в нем сомневаться, дорогой мой Агарик, — ответил конильский монах. — Это означало бы противиться законам моей родины, каковые нужно уважать, если только они не вступают в противоречие с законами божескими. Пиро виновен, раз он осужден. А прибавлять к этому что-либо в доказательство или в опровержение его виновности значило бы подменять своим авторитетом авторитет судей, чего я решительно остерегусь. Да это все равно бесполезно, раз Пиро уже осужден. Если даже он осужден, не будучи виновен, то он виновен, будучи осужден; ничто от этого не меняется. Я верю в его виновность, как должен верить в нее каждый добрый

гражданин; и буду верить до тех пор, пока установленное правосудие велит мне верить, ибо не частному лицу, но судье принадлежит право объявлять осужденного невиновным. Человеческое правосудие должно быть почитаемо даже в своих заблуждениях, неизбежно вытекающих из его несовершенной и ограниченной природы. Такие заблуждения всегда исправимы: если их не исправят судьи на земле, то исправит Господь в небесах. Впрочем, я вполне доверяю генералу Гретоку; хоть, судя по внешности, этого и не скажешь, он, думается мне, умнее тех, кто на него нападает.

— Бесценный мой Корнемюз, — воскликнул благочестивый Агарик, — дело Пиро, дойдя до той стадии, когда мы, с помощью Господа и необходимых денежных средств, умело подчиним его своему руководству, даст весьма благотворные плоды. Оно разоблачит пороки антихристианской республики, внушив пингвинам желание восстановить престол Драконидов и прерогативы церкви. Но для этого нужно, чтобы народ видел священнослужителей в первом ряду своих защитников. Выступим против врагов армии, против тех, кто возносит хулу на героев, и все за нами последуют.

— Все — это уж слишком много, — пробормотал конильский монах, покачивая головой. — Да, я вижу, пингвины готовы перессориться. Но если мы вмешаемся в их ссору, они помирятся за наш счет, предоставляя нам оплатить военные издержки. Нет, дорогой мой Агарик, послушайтесь меня, не вовлекайте церковь в эту авантюру.

— Вы уже знаете, как я энергичен, — теперь узнаете, как я осторожен. Я ни у кого не вызову никаких подозрений. Бесценный Корнемюз, только от вас, ни от кого другого, я хочу получить средства, необходимые для нашего участия в кампании.

Долго отказывался Корнемюз взять на себя расходы по предприятию, которое считал чреватым опасностями. Агарик то впадал в лирический пафос, то разражался гневом. Наконец, понуждаемый мольбами и угрозами, Корнемюз, понурив голову, поплелся в свою строгую келью, где все свидетельствовало о евангельской бедности. В стене, выбеленной известкой, под веточкой освященного букса был вделан несгораемый шкаф. Монах со вздохом открыл его, вынул пачку ценных бумаг и неохотно, скрепя сердце протянул ее благочестивому Ага-рику.

— Не сомневайтесь, дорогой мой Корнемюз, —

сказал тот, опуская полученную сумму в карман своей стеганой телогрейки, — сам Господь Бог послал нам дело Пиро, ради славы и возвышения пингвинской церкви.

— Хорошо, если бы так… — со вздохом промолвил конильский монах.

И, оставшись один в лаборатории, он с неизъяснимой печалью окинул взглядом свои печи и реторты.

Глава VI
Семьсот родичей Пиро

Семьсот родичей Пиро внушали публике все больше ненависти. Ежедневно на улицах Альки двое-трое из них подвергались нападению; одного публично выпороли; другого бросили в реку; третьего вымазали дегтем, обваляли в перьях и в таком виде провели по бульварам под веселый гогот толпы; четвертому драгунский капитан отрубил нос. Они уже не осмеливались показываться ни в клубе, ни на теннисной площадке, ни на скачках; на биржу они пробирались тайком. При этих обстоятельствах князь де Босено счел необходимым обуздать их дерзкий нрав и осадить наглецов. Поставив перед собой такую цель, он совместно с графом Клена, с г-ном де ла Трюмелем, с виконтом Оливом и с г-ном Бигуром основал большое общество антипиротистов, к которому граждане присоединялись сотнями тысяч, а солдаты — целыми ротами, полками, бригадами, дивизиями, армейскими корпусами; присоединялись целые города, округа, провинции.

В эту приблизительно пору военный министр, заглянув как-то раз к своему начальнику Генерального штаба, с удивлением обнаружил, что стены обширной комнаты, где работал генерал Пантер, еще недавно совершенно голые, заставлены до самого потолка тремя-четырьмя рядами глубоких полок с отделениями, занятыми множеством каких-то бумаг в папках разной величины и разного цвета, — внезапно возникшим чудовищным архивом, который за несколько дней вырос до размеров многовекового хранилища хартий.

— Что это такое? — спросил изумленный министр.

— Доказательства против Пиро, — с патриотическим удовлетворением ответил генерал Пантер. — У нас их не было, когда мы его судили; теперь мы исправляем это упущение.

Дверь была отворена. Греток увидел на площадке лестницы длинную вереницу носильщиков, сбрасывающих со своих крюков на пол залы тяжелые кипы бумаг. Он заметил также, глядя через их головы, что подъемник еле ползет вверх, кряхтя под тяжестью документов.

— А это что такое? — спросил министр.

— А это новые доказательства против Пиро,

только что полученные, — объяснил Пантер. — Я запрашивал их по всем кантонам Пингвинии, по всем генеральным штабам и дворам европейских государей; я затребовал их из всех городов Америки и Австралии, из всех африканских факторий, я жду тюков из Бремена и грузового парохода из Мельбурна.

И Пантер, чувствуя себя героем, обратил на министра спокойный, сияющий взгляд. Но Греток, вставив в глаз монокль, разглядывал ужасающее нагромождение документов скорее с беспокойством, чем с удовлетворением.

— Все это отлично, — сказал он, — все это отлично! Но боюсь, как бы дело Пиро не утратило своей прекрасной простоты. Оно было ничем не затуманено. Оно обладало драгоценной прозрачностью горного хрусталя. В нем не найти было, даже с помощью лупы, ни излома, ни трещинки, ни пятнышка — ни малейшего недостатка. Выйдя из моих рук, оно было ясно, как свет, оно само излучало свет. Я даю вам жемчужину, а вы хотите навороти на нее целую гору. Скажу откровенно, я опасаюсь, как бы, желая сделать лучше, вы не испортили все. Доказательства! Конечно, хорошо иметь доказательства, но, быть может, еще лучше вовсе их не иметь. Я уже говорил вам, Пантер:

возможно только одно-единственное неопровержимое доказательство — признание виновного (или невиновного, это все равно!). В том виде, как я построил дело Пиро, оно не допускало критики, в нем не было ни одного слабого места. Оно могло выдержать любые нападки; оно было неуязвимо, потому что скрыто от глаз. А теперь оно дает огромный материал для споров. Советую вам, Пантер, пользоваться своими документами поосторожней. Был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вы сообщали поменьше сведений корреспондентам. Вы хорошо говорите, но говорите слишком много. Скажите, Пантер, среди этих документов есть и поддельные?

Пантер улыбнулся.

— Есть обработанные.

— Ну да, я это и имел в виду. Так, значит, есть обработанные, — тем лучше! Они-то и хороши. В качестве доказательств поддельные бумаги вообще ценней подлинных прежде всего потому, что они специально изготовлены для нужд данного дела — так сказать, на заказ и по мерке; словом, потому, что они ясны и точны; кроме того, они предпочтительней еще и из-за своей способности переносить мысли в мир идеальный, отрывая их от нашего реального мира, где, увы, ко всему

примешивается столько ненужного... Все же я предпочел бы, Пантер, совсем не иметь доказательств.

Первым выступлением союза антипиротистов была просьба к правительству предать всех семьсот родичей Пиро и их сообщников чрезвычайному суду по обвинению в государственной измене. Князь де Босено, уполномоченный говорить от имени союза, выступил перед советом министров, экстренно созванным для этих переговоров, и выразил пожелание, чтобы бдительность и твердость правительства были подняты на требуемую обстоятельствами высоту. Он пожал руку каждому министру, а проходя мимо Гретока, шепнул ему в ухо:

— Смотри не виляй, мерзавец, а то опубликую материалы Малури.

Несколько дней спустя единодушным голосованием обеих палат по внесенному правительством одобрительному законопроекту деятельность союза антипиротистов была признана общественно полезной.

Вскоре после этого в Дельфинию, в замок Читтерлингс, где Крюшо вкушал горький хлеб изгнания, союз отправил делегацию, уполномоченную заверить принца в любви и преданности

союзников-антипиротистов.

Между тем число пиротистов все возрастало; их насчитывалось уже десять тысяч. Для своих встреч они облюбовали несколько кофеен на бульварах. У «патриотов» были свои кофейни, роскошнее и просторнее; каждый вечер с одной веранды на другую летели пивные кружки, блюдца, спичечницы, графины, стулья, столы; вдребезги разбивались зеркала; темнота, внося путаницу в ряды сражающихся, сводила на нет численное неравенство, и полицейские отряды заканчивали битву, топча без разбора и тех и других своими подошвами на железных шипах.

В одну из таких достопамятных ночей князь де Босено, в компании нескольких «патриотов», вышел из модного кабачка, и г-н де ла Трюмель указал ему на приземистого бородатого человека в пенсне, без шляпы, в сюртуке с одним только рукавом, пробирающегося по тротуару, заваленному всякими обломками.

— Смотрите, — сказал он, — это Коломбан!

Обладая большой физической силой, князь вместе с тем отличался мягкостью характера; он был человек необычайно добродушный, но при имени Коломбана вся кровь его вскипела. Он бросился к человечку в пенсне и свалил его,

ударив кулаком прямо в нос.

Но тут г-н де ла Трюмель обнаружил, что, введенный в заблуждение досадным сходством, он за Коломбана принял г-на Базиля, бывшего адвоката, секретаря союза антипиротистов, пылкого и благородного «патриота». В груди князя де Босено жил непреклонный дух, достойный героев древности; однако он умел признавать свои ошибки.

— Господин Базиль, — сказал он, приподнимая шляпу, — я, правда, задел вас по лицу, но вы меня безусловно извините, поймете, одобрите, мало того — поздравите, восхвалите, восславите, когда вам станет известно, какие чувства руководили мной. Я принял вас за Коломбана!

Господин Базиль, унимая платком кровь из носа и выставив голый локоть из обрывков рукава, сухо ответил:

— Нет, милостивый государь, я не восславлю, не восхвалю, не поздравлю, не одобрю вас, так как ваши действия были, во всяком случае, излишни; я сказал бы даже — чрезмерны; нынче вечером меня уже трижды принимали за Коломбана, обходясь со мной так, как он того заслуживает. Имея в виду его, патриоты переломали мне ребра и перешибли поясницу, — я полагал, милостивый государь, что этого достаточно.

Не успел он кончить речь, как появилась кучка пиротистов и, в свою очередь обманутая роковым сходством, вообразила, что «патриоты» напали на Коломбана. Пустив в ход трости, налитые свинцом, и плетки из бычьих жил, они избили князя де Босено и его спутников, но, повергнув их полумертвыми на землю, тут же забыли об их существовании и завладели адвокатом Базилем, которого, несмотря на его гневный протест, торжественно понесли по бульварам, с возгласами: «Да здравствует Коломбан! Да здравствует Пиро!» — однако вскоре их настиг отряд полицейских, сбил с ног и поволок в участок, где адвокат Базиль, под именем Коломбана, был истоптан тяжелыми подошвами, утыканными множеством гвоздей.

Глава VII
Бидо-Кокий и Манифлора. Социалисты

Меж тем как буря гнева и ненависти бушевала в Альке, Эжен Бидо-Кокий, самый бедный и самый счастливый из астрономов, устроившись на старой пожарной водокачке времен Драконидов, наблюдал небо в дрянную подзорную трубу и фотографировал на испорченных пластинках движение падающих звезд. Гениальный ум его поправлял ошибки инструментов, а любовь к науке торжествовала над несовершенством приборов. Он с неугасимым пылом наблюдал за аэролитами, метеоритами и болидами, за всеми пламенеющими обломками небесных тел, за бесчисленными огненными пылинками, с чудесной быстротой проносящимися через земную атмосферу, — наградой же за труды бессонных ночей были равнодушие публики, неблагодарность правительства и неприязнь ученых корпораций. Унесшись мыслями в небесные пространства, он ничего не знал о событиях, происходивших на земной поверхности; газет он никогда не читал, а когда шел по городу, всецело погруженный в раз-

думье о ноябрьских астероидах, то не раз попадал в садовый бассейн или под колеса автобуса.

Отличаясь высоким ростом и столь же высоким умом, он уважал и себя, и других, что проявлялось у него в холодной вежливости, а также в плохоньком черном сюртуке и цилиндре, придававших ему еще более щуплый и возвышенный вид. Он столовался в ресторанчике, откуда постепенно сбежали все посетители, настроенные на менее спиритуалистический лад, чем он, и лишь его салфетка, вдетая в самшитовое кольцо, сиротливо покоилась в одном из отделений ресторанной полки. Как-то вечером в этой харчевне попалась ему на глаза статья Коломбана в защиту Пиро. Щелкая пустые орехи, он прочел ее — и, охваченный изумлением, восторгом, ужасом и жалостью, сразу позабыл о своих падающих метеорах, о звездных дождях и увидел перед собою только безвинно осужденного, раскачиваемого ветром в своей клетке, на которую слеталось воронье.

С тех пор этот образ не покидал его. Целую неделю он был одержим мыслью о невинно осужденном, как вдруг однажды, выйдя из ресторанчика, увидел, что толпа граждан валит в кабачок, где происходит какое-то собрание. Он тоже вошел туда. Собрание было бурное; в про-

куренном зале все галдели, поносили друг друга на чем свет стоит, тузили кулаками. Выступали пиротисты и антипиротисты, встречаемые то восторженными кликами, то бранью. В зале царило какое-то мрачное и смутное возбуждение. С отважной решимостью робкого и одинокого человека Бидо-Кокий вскочил на эстраду и проговорил сорок пять минут. Говорил он торопливо, беспорядочно, но горячо и с глубокой убежденностью математика, преданного мистической идее. Ему аплодировали. Когда он сошел с эстрады, какая-то крупная женщина неопределенного возраста, вся в красном, с победоносно развевающимися перьями на огромной шляпе, бросилась к нему, пылко и вместе с тем торжественно заключила его в объятия и сказала:

— Вы прекрасны!

В простоте душевной он решил, что ее слова, вероятно, заключают в себе долю истины.

Женщина объявила ему, что в настоящее время она целиком посвятила себя защите Пиро и прославлению Коломбана. Бидо-Кокий нашел ее возвышенной и решил, что она красива. Это была Манифлора, старая, впавшая в бедность кокотка, покинутая всеми, никому не нужная и вдруг преисполнившаяся гражданских чувств.

Она так и осталась с ним. Они пережили вместе несравненные часы в подозрительных кабачках и наскоро прибранных меблированных комнатах, в помещениях редакций, в залах для собраний и лекций. Будучи идеалистом, он упорно продолжал считать ее прелестной, хотя она предоставляла ему широкие возможности убедиться, что не сохранила решительно никаких чар ни в каком смысле и ни в малейшей степени. От былой красоты у нее только и оставалось, что самонадеянное желание нравиться и надменная требовательность женщины, привыкшей к поклонению. Впрочем, справедливость требует признать, что дело Пиро, обильно порождавшее всевозможные чудеса, придало Манифлоре как бы некую гражданственную царственность и преображало ее на народных собраниях в величественный символ правосудия и истины.

Ни у кого из антипиротистов, ни у кого из защитников Гретока, ни у кого из поклонников военщины Бидо-Кокий с Манифлорой не вызывали ни проблеска иронии или смеха. Боги, в гневе своем, лишили этих людей драгоценного дара улыбки. Куртизанку и астронома всерьез обвиняли в шпионаже, в измене, в заговоре против родины. Бидо-Кокий и Манифлора на глазах

вырастали в крупные фигуры благодаря своим преследователям, поносителям и клеветникам.

Уже долгие месяцы Пингвиния была разделена на два лагеря, а социалисты, сколь это ни странно на первый взгляд, все еще не решили, какую занять позицию. В их организации входили почти все люди физического труда, какие только насчитывались в стране, — неопределенная, рассеянная, расчлененная на части, лишенная единства, но грозная сила. Дело Пиро повергло главных руководителей организаций в необычайную растерянность; им одинаково не хотелось примыкать ни к финансистам, ни к военщине. Они рассматривали всех евреев, и крупных, и мелкоту, как своих неизбежных противников. Дело Пиро не касалось принципов, не затрагивало их интересов. А все-таки большинство из них чувствовало, как становилось трудно уклоняться от боев, в которые вовлечена вся Пингвиния.

Их руководители собрались в помещении своей федерации на улице Чертова хвоста у церкви Св. Маэля, чтобы обсудить, какого образа действий надлежит им придерживаться при нынешнем положении дел и при могущих возникнуть обстоятельствах. Первым взял слово товарищ Феникс.

— Совершено преступление, — сказал он, —

самое отвратительное и гнусное, какое только может быть, преступление судебное. Члены военного суда, уступив требованию или поддавшись обману со стороны своего начальства, приговорили невинного к позорному и жестокому наказанию. Не ссылайтесь на то, что их жертва — человек для нас чужой, что он принадлежит к той касте, которая была и всегда будет нам враждебна. Наша партия — партия общественной справедливости; нет такой несправедливости, к которой она может оставаться равно-душной.

Какой будет для нас позор, если мы предоставим только радикалу Керданику, буржуа Коломбану да нескольким умеренным республиканцам разоблачать преступления военщины. Пускай тот, кто стал жертвой палачей, — чужой для нас, но сами палачи — это палачи наших братьев, и, прежде чем обратить удар на военного, Греток расстреливал наших стачечников.

Товарищи, напрягите все силы — умственные, нравственные и материальные, и тогда вы вырвете Пиро из рук его мучителей; свершая это благородное дело, вы не уклонитесь в сторону от исполнения своего долга — освободительной и революционной борьбы, ибо Пиро стал символом угнетенных, а все проявления социальной

несправедливости между собою связаны; уничтожая одно из них, мы ослабляем и все другие.

Когда Феникс кончил, товарищ Сапор выступил с такой речью:

— Вам советуют забыть о своих задачах и заняться делом, которое вас не касается. Но зачем вам ввязываться в схватку, если, на чью бы сторону вы ни стали, вы окажетесь среди своих прирожденных, неизбежных, заклятых врагов?! Разве финансисты менее ненавистны вам, чем военные? Чьи деньги собираетесь вы спасать — фокусников-биржевиков или паяцев-реваншистов? Что за нелепое и преступное великодушие — бросаться на помощь семистам родичам Пиро, которые всегда будут выступать против вас в социальных битвах!

Вам предлагают навести порядок в лагере ваших врагов и восстановить среди них спокойствие, поколебленное их же преступлениями.

Самоотверженность, доведенная до такой степени, носит уже другое название.

Товарищи, есть предел, дальше которого подлость становится гибельной для всего общественного строя; пингвинская буржуазия задыхается от собственной подлости, а от вас требуют, чтобы вы ее спасли, очистили воздух, которым она ды-

шит. Да ведь это насмешка над вами!

Пускай буржуазия подохнет — мы будем с отвращением и радостью следить за ее последними судорогами, сожалея только о том, как сильно засорена почва, на которой она возводила свое здание, и какие пласты смрадной грязи придется разворотить, чтобы заложить фундамент нового общества.

После того как Сапор кончил свою речь, выступил с кратким словом товарищ Лаперсон:

— Убеждая нас вступиться за Пиро, Феникс ссылается на то, что Пиро невиновен. Мне кажется, это очень неубедительный довод. Если Пиро невиновен, то, значит, он вел себя так, как полагается примерному офицеру, старательно исполняющему свои обязанности, которые сводятся главным образом к тому, чтобы стрелять в народ. Это не может служить для народа побудительной причиной встать на его защиту, пренебрегая любыми опасностями. Вот если мне докажут, что Пиро виновен и действительно украл армейское сено, — я готов пойти в бой за него.

Затем взял слово товарищ Лариве:

— Я не согласен со своим другом Фениксом; не согласен и со своим другом Сапором; я не считаю, что партия должна вступаться за всякого

только потому, что на его стороне правда. Боюсь, это чрезмерное увлечение словами и опасное жонглирование идеями. Ибо государственное правосудие — совсем не то, что правосудие революционное. Между ними — вечный антагонизм: служить одному — значит идти против другого. Что касается меня, то мой выбор уже сделан: я стою за революционное правосудие против правосудия государственного. И вместе с тем я в данном случае не одобряю самоустранения. Я утверждаю, что, раз благоприятный случай дает нам в руки такое дело, глупо этим не воспользоваться.

Как же так? Нам представляется возможность нанести милитаризму сокрушительный — быть может, смертельный — удар, а вы хотите, чтобы я сидел сложа руки! Предупреждаю вас, товарищи, — я не факир и никогда не примкну к партии факиров; если здесь имеются факиры, пускай не рассчитывают на мое общество. Созерцать собственный пуп — это бессмысленная политика, я отказываюсь придерживаться ее.

Такая партия, как наша, должна непрерывно утверждать себя; она должна напоминать о своем существовании постоянной деятельностью. Мы вмешаемся в дело Пиро, но вмешаемся по-

революционному: мы прибегнем к насилию… Вы думаете, насилие — старый способ, устарелое изобретение, отжившее свой век вместе с дилижансами, ручными печатными станками и оптическим телеграфом? Заблуждаетесь! В настоящее время, как и прежде, ничего нельзя достигнуть без насилия; это очень действенный способ, надо только уметь им пользоваться. Какова же наша задача? А вот какова: мы должны восстанавливать правящие классы один против другого, сталкивать армию с финансовым миром, правительство — с судебным ведомством, дворянство и духовенство — с евреями; подстрекать их при всяком удобном случае ко взаимному уничтожению; поддерживать возбужденное состояние, которое ослабляет любую государственную власть, как лихорадка истощает больного.

Если только умело воспользоваться делом Пиро, оно ускорит на десять лет рост социалистической партии и освобождение пролетариата, которое будет достигнуто путем разоружения, всеобщей стачки и революции.

После того как руководители партии высказали столь разноречивые мнения, дискуссия продолжалась — и не без резкостей; ораторы, как

всегда это бывает, обращались снова и снова к тем же самым аргументам, только излагали их все беспорядочней и прямолинейней. Спорили очень долго, но никто никого не переубедил. А все позиции в конечном счете сводились только к двум: позиции Сапора и Лаперсона, рекомендовавших самоустранение, или позиции Феникса и Лариве, призывавших к вмешательству. Да и представителей этих двух противоположных позиций объединяла ненависть к высшим военным чинам с их правосудием и вера в невиновность Пиро. Таким образом, общественное мнение нисколько не ошиблось, считая всех руководителей социалистических организаций опаснейшими пиротистами.

Что касается широкой массы, от чьего имени они выступали и чьи суждения выражали — насколько вообще слово может передать нечто по существу невыразимое, — короче говоря, что касается пролетариев, мысль которых так трудно узнать, ибо она еще не осознала сама себя, что касается пролетариев, то дело Пиро вовсе их не интересовало. Оно было для них делом слишком литературным, слишком классического стиля, с привкусом чего-то присущего крупной буржуазии и финансистам, который пролетариям очень

не нравился.

Глава VIII
Процесс Коломбана

Когда начался процесс Коломбана, пиротистов насчитывалось немногим более тридцати тысяч, но они были повсюду, попадались даже среди священников и военных. Что им больше всего вредило, так это симпатия крупных еврейских дельцов. В малочисленности же пиротистов, напротив, заключены были драгоценные преимущества — и прежде всего то, что они насчитывали в своих рядах меньше дураков, чем их противники, у которых последние водились в чрезмерном изобилии. Крайне незначительный состав группы позволял пиротистам легко договариваться друг с другом и действовать согласованно, избегая раздоров и разнобоя; каждый чувствовал необходимость вести себя солидно и держаться с тем большим достоинством, чем больше он чувствовал себя на виду. Словом, все позволяло думать, что к ним будут примыкать новые последователи, меж тем как их противникам, сначала собравшим целые толпы, неизбежно грозило все уменьшаться в числе.

Представ перед своими судьями на публичном заседании, Коломбан сразу заметил, что они не отличаются любознательностью. Стоило ему открыть рот, как председательствующий приказывал ему замолчать в видах соблюдения государственной тайны. Исходя из тех же высших, непререкаемых соображений, суд не стал допрашивать свидетелей защиты. Начальник Генерального штаба Пантер давал показания в полной парадной форме, при всех орденах. Он заявил следующее:

— Мерзавец Коломбан утверждает, что у нас нет доказательств против Пиро. Это ложь, они у нас есть; у меня в архиве они занимают семьсот тридцать два квадратных метра, что, если считать по пятьсот килограммов на метр, составит в целом триста шестьдесят шесть тысяч килограммов.

Затем высокопоставленный военный с изящной легкостью дал характеристику всех доказательств. В общих чертах объяснения его сводились к следующему:

— Мы располагаем против Пиро документами всех цветов и оттенков; на бумаге всевозможного формата, как то: «горшок», «венец», «щит», «виноград», «голубятня», «большой орел» и так далее. Самый маленький документ представляет собою

листочек размером меньше одного квадратного миллиметра. Самый большой имеет семьдесят метров в длину и ноль метров девяносто сантиметров в ширину.

При этом разоблачении публика содрогнулась от гнева.

В качестве свидетеля выступил также Греток. Сохраняя во всем своем облике больше простоты и, быть может, больше величия, он стоял перед судейским столом в старом сером сюртуке, заложив руки за спину.

— Возлагаю на господина Коломбана, — сказал он спокойно, почти не повышая голоса, — всю ответственность за его поступок, из-за которого наша страна оказалась на волосок от гибели. Дело Пиро составляет государственную тайну, оно должно сохраняться в тайне. Если его разгласить, то самые жестокие беды, войны, разграбление, опустошение, пожары, убийства, повальные болезни — все это тотчас обрушится на Пингвинию. Я счел бы себя государственным изменником, если бы позволил себе добавить к сказанному хоть одно слово.

Некоторые лица, известные своей политической опытностью, — в частности, г-н Бигур, — нашли показания военного министра более

искусными и более ценными, чем показания начальника Генерального штаба.

Сильное впечатление произвели сведения, сообщенные полковником де Буажоли.

— Как-то на вечере в военном министерстве, — сказал этот свидетель, — военный атташе одной соседней державы признался мне, что однажды, проходя по конюшням своего государя, он был восхищен сложенным там сеном, мягким, ароматным, красивого зеленого оттенка, — самым великолепным сеном, какое ему когда-либо приходилось видеть. «Откуда же оно было?» — спросил я его. Он уклонился от ответа. Но у меня не возникло ни малейших сомнений относительно происхождения сена. Это было сено, украденное Пиро. Зеленый цвет, мягкость и аромат — признаки нашего национального сена! У соседней державы фураж — серого цвета и очень ломок; он хрустит на вилах и пахнет пылью. Вывод ясен каждому.

Полковник Астен заявил суду под улюлюканье публики, что не считает Пиро виновным. Тотчас же схваченный жандармами, он был брошен в тюремное подземелье, полное жаб, гадюк и толченого стекла, что, однако, не заставило его поддаться ни на обещания, ни на угрозы.

Судебный пристав вызвал нового свидетеля:

— Граф Пьер Мобек де ла Дандюленкс!

Воцарилось глубокое молчание, и к месту для свидетелей направился основательно потрепанный, но величественный аристократ — усы грозно торчали к небу, рыжие глаза метали молнии.

Он приближается к Коломбану и, глядя на него с непередаваемым презрением, произносит:

— Вот мое показание: ты дерьмо!

При этих словах зал разразился восторженными аплодисментами; все вскочили, охваченные одним из тех порывов, что воспламеняют сердца и вдохновляют на великие подвиги. Не прибавив ни слова, граф Мобек де ла Дандюленкс удалился. Его приверженцы потянулись за ним торжественной свитой. Склонившись к его ногам, княгиня де Босено в страстном исступлении охватила руками его бедра. Он шествовал, невозмутимый и мрачный, осыпаемый целым дождем цветов и носовых платочков. Судорожно обняв его за шею, виконтесса Олив повисла на нем так, что ее нельзя было оторвать, и спокойный герой унес ее на груди своей, словно легкий шарф.

Когда судебное заседание, по необходимости прерванное, наконец возобновилось, председа-

тельствующий предоставил слово экспертам.

Знаменитый эксперт по рукописным материалам Вермийяр доложил о результатах своего исследования.

— Внимательно изучив бумаги Пиро, отобранные при обыске, — сообщил он, — особенно его книги домашних расходов и списки грязного белья, отдаваемого в стирку, я установил, что под видом самых банальных записей они заключают в себе не поддающуюся пониманию криптограмму, ключ к которой я, однако, нашел. По этому шифровальному коду слова: «Три кружки пива и Адели двадцать франков» — означают: «Я поставил тридцать тысяч копен сена одной соседней державе». По документам я мог даже установить состав сена, похищенного этим офицером, — так, слова: «сорочка», «жилет», «кальсоны», «носовые платки», «воротнички», «рюмка настойки», «табак», «сигары» — означают клевер, метлицу, люцерну, синеголовник, овес, куколь, душицу и луговой аржанец. А именно эти пахучие травы и входили в состав ароматного сена, купленного у графа Мобека для пингвинской кавалерии. Этим способом и вел Пиро запись своих преступлений, надеясь, что никто ее никогда не расшифрует. Просто поразительно, как такое коварство может

сочетаться с такой наивностью.

Коломбан, признанный виновным без смягчающих вину обстоятельств, был приговорен к самому высшему наказанию. Присяжные тут же подписали ходатайство о строгом исполнении приговора.

На Судебной площади, у реки, берега которой за двенадцать веков видели столько великих исторических событий, гудела пятидесятитысячная толпа, ожидая оглашения приговора. Там нервно расхаживали взад и вперед руководители союза антипиротистов, среди которых можно было заметить князя де Босено, графа Клена, виконта Олива, г-на де ла Трюмеля; там теснились преподобный отец Агарик и учителя школы Св. Маэля со всеми своими учениками; там отец Дуйяр и генералиссимус Карагель, обнявшись друг с другом, представляли собой величественную группу, а со Старого моста бежали торговки и прачки с вертелами, совками, щипцами, вальками для белья и котелками щелочной воды; у бронзовых дверей, на ступенях, собрались все, какие только были в Альке, защитники Пиро — профессора, публицисты, рабочие, кто — консервативных, кто — радикальных или революционных убеждений, и среди них по небрежному костюму и грозному

облику можно было сразу узнать товарищей Феникса, Лариве, Лаперсона, Дагобера и Варамбиля.

Затянутый в свой траурный сюртук, с церемонным цилиндром на голове, Бидо-Кокий взывал к математике чувств, защищая Коломбана и полковника Астена. На верхней ступени лестницы, улыбающаяся и грозная, сияла Манифлора, героическая куртизанка, жаждущая заслужить себе памятник, подобно Леене, либо, подобно Эпихариде, оставить по себе славную память в истории. Семьсот родичей Пиро, переодевшись продавцами лимонада, разносчиками, подбиральщиками окурков, антипиротистами, бродили вокруг обширного здания.

Как только Коломбан появился в дверях, поднялся шум, вызвавший такое сотрясение в воздухе и воде, что птицы попадали с деревьев, а рыбы всплыли на поверхность реки кверху брюхом. Со всех сторон вопили:

— В воду Коломбана, в воду! В воду его!

Сквозь этот вой послышалось несколько голосов:

— Правосудие, истина!

Кто-то гневно выкрикнул даже:

— Долой армию!

Это послужило сигналом для чудовищной

свалки. Сражающиеся падали тысячами; человеческие тела валились друг на друга, образуя ревущие и движущиеся холмы, на которых новые бойцы хватали друг друга за горло. Воспламененные страстью борьбы, растрепанные бледные женщины, готовые, не помня себя, исступленно царапаться, набрасывались в бешенстве на какого-нибудь мужчину, и неистовство придавало их лицам при ярком дневном свете на городской площади то восхитительное выражение, которое обычно можно подметить в тени постельного полога, на смятой подушке. Вот-вот они уже схватят Коломбана, вопьются в него зубами, задушат его, четвертуют, разорвут на части, оспаривая друг у друга кровавую добычу, — но тут, величавая, целомудренная в своей красной тунике, предстает перед этими фуриями спокойная и грозная Манифлора, и они отступают, объятые страхом. Казалось, Коломбан уже спасен; его приверженцам удалось проложить ему путь через площадь и усадить в извозчичью пролетку, стоявшую у Старого моста. Уже лошадь пустилась рысью, но князь де Босено, граф Клена и г-н де ла Трюмель стащили извозчика с козел; затем, осаживая лошадь так, что колеса двигались задним ходом, они докатили пролетку до самых перил моста

и там под аплодисменты беснующейся толпы сбросили ее вместе с лошадью и седоком в реку. Раздался звонкий, веселый плеск, взметнулся сноп воды — и на блестящей речной поверхности осталась только чуть приметная рябь.

Недолго думая, товарищи Дагобер и Варамбиль, с помощью семисот переодетых родичей Пиро, сбросили с моста князя де Босено, и тот самым жалким образом плюхнулся в старую лодку, служившую прачкам при полосканье белья.

Тихая ночь спустилась на площадь, проливая мир и тишину над следами отвратительного побоища. Между тем в трех километрах ниже по течению, под другим мостом, сидя на корточках невдалеке от искалеченной извозчичьей клячи, Коломбан, промокший насквозь, размышлял о невежестве и несправедливости толпы.

«Дело это, — подумал он, — еще труднее, чем мне казалось. Надо предвидеть новые осложнения».

Он встал и подошел к несчастному животному.

— Ты-то что сделал им, дружок? — сказал он. — Это из-за меня они так с тобою расправились!

Он обнял злополучного конягу за шею и поцеловал его в белое пятно на лбу. Потом взял за повод

и, сам хромая, повел хромую лошадь по улицам спящего города к себе домой, где сон помог им обоим позабыть о людях.

Глава IX
Отец Дуйяр

В бесконечной кротости своей, по указанию отца всех верующих, епископы, каноники, священники, викарии, аббаты и приоры Пингвинии постановили отслужить в Алькском соборе торжественный молебен, дабы испросить у милосердного Бога прекращения смуты, раздирающей одну из благороднейших стран христианского мира, и вымолить для кающейся Пингвинии прощения грехов, совершенных ею против Господа и его священнослужителей.

Молебен состоялся 15 июня. Генералиссимус Карагель со своим штабом занимал почетное место. Собралась многочисленная и блестящая публика; по выражению г-на Бигура, это была толпа, но вместе с тем люди избранные. В первом ряду можно было видеть г-на де Бертозейя, камергера его высочества принца Крюшо. Подле церковной кафедры, с которой должен был говорить преподобный отец Дуйяр, монах ордена св. Франциска, стояли в сосредоточенно спокойной позе, опершись обеими руками на свои дубинки,

сановные руководители союза антипиротистов — виконт Олив, г-н де ла Трюмель, граф Клена, герцог Ампульский, князь де Босено. Отец Агарик с наставниками и воспитанниками школы Св. Маэля расположился у престола. Офицерам и солдатам в военной форме отведено было место около клироса, в боковом приделе, притом — правом, как более почетном, ибо Господь, умирая на кресте, склонил голову на правую сторону. Великосветские дамы, и среди них графиня Клена, виконтесса Олив, княгиня де Босено, сидели на хорах. Огромное пространство между колоннами и всю соборную площадь заполнили двадцать тысяч монахов всевозможных орденов и тридцать тысяч мирян.

После искупительного и очистительного моления преподобный отец Дуйяр взошел на кафедру. Произнесение проповеди первоначально поручено было преподобному отцу Агарику; но потом, несмотря на его заслуги, решили, что он все же не в достаточной степени обладает тем рвением и ученостью, которых требуют обстоятельства, и предпочли красноречивого капуцина, уже полгода проповедующего по казармам, клеймя неповиновение Господу и начальству.

Преподобный отец Дуйяр, избрав темой для

проповеди слова: «Deposuit potentes de sede»[22], установил, что всякая светская власть исходит от Бога, в коем начало и конец ее, и что она сама себя губит и уничтожает, отвращаясь от пути, предначертанного ей промыслом Божиим, и от цели, предуказанной им.

Применяя этот священный закон к пингвинскому правительству, он нарисовал страшную картину бедствий, постигших страну из-за того, что государственная власть оказалась неспособной ни предвидеть их, ни бороться с ними.

— Вам, братья мои, слишком хорошо известен главный виновник всех несчастий и унижений, — сказал он, — это чудовище, само имя которого оказалось пророческим, ибо происходит от греческого слова pyros, означающего «огонь», — так Господь Бог, в премудрости своей, которой не чужда бывает и филология, предупреждал нас с помощью этимологического смысла этого имени, что еврей зажжет пожар в стране, давшей ему приют.

Он изобразил родину терзаемой врагами, которые были и врагами церкви, и восклицающей на своей Голгофе: «О горе! О слава! Распявшие

---

[22] Примечания: 22
Низвергнул власть имущих с престола (*лат.*).

Господа моего — ныне меня распинают».

При этих словах все содрогнулись.

Негодование слушателей еще возросло, когда страстный оратор напомнил о надменном Коломбане, запятнавшем себя такими преступлениями, что их не смоют все воды поглотившей его реки. Он перечислил унижения и опасности, постигшие Пингвинию, и за все это, вместе взятое, возложил вину на президента республики и на премьер-министра.

— Этот министр, — сказал он, — проявил позорную трусость, не решаясь истребить семьсот родичей Пиро купно с их союзниками и заступниками, подобно тому как Саул истребил филистимлян в Гаваоне, — а потому он недостоин осуществлять власть, данную ему от Бога, и отныне каждый добрый гражданин может и должен предавать поношению его столь презренное владычество. Небеса будут благосклонно взирать на его ругателей. Deposuit potentes de sede. Господь Бог сместит малодушных правителей и на их место возведет сильных людей, которые будут творить волю его. Возвещаю вам, господа, возвещаю вам, офицеры, унтер-офицеры и солдаты, внимающие мне, возвещаю вам, генералиссимус пингвинской армии, всем возвещаю: час настал!

Если вы ослушаетесь велений Господа, если во имя его не сместите недостойных властителей, если не образуете в Пингвинии сильного правительства, приверженного религии, — то Бог и без того уничтожит все, что он осудил, он и без того спасет народ свой, спасет его помимо вас, избрав вершителем воли своей какого-нибудь скромного ремесленника или простого капрала. Не упускайте срока! Торопитесь!

Возбужденные этим пламенным увещанием, шестьдесят тысяч собравшихся поднялись как один, охваченные трепетом; зазвучали возгласы: «К оружию! К оружию! Смерть пиротистам! Да здравствует Крюшо!» — и все — монахи, женщины, военные, дворяне, буржуа, лакеи, — благословляемые с престола истины небесной десницею, бурно устремились из храма, распевая гимн «Пингвинию спасайте!», и двинулись по речной набережной на палату депутатов.

Оставшись один в опустелом соборе, мудрый Корнемюз, воздев руки к небесам, пробормотал срывающимся от волнения голосом:

— Agnosco fortunam ecclesiae pinguicanae[23]. Мне слишком ясно, куда это все приведет нас.

---

[23] Примечания: 23

Вижу судьбу церкви пингвинской (*лат.*).

Нападение боговдохновенной толпы на палату депутатов было отбито. Под натиском жандармов и городской стражи осаждающие обратились в беспорядочное бегство, а подоспевшие из предместий товарищи во главе с Фениксом, Дагобером, Лаперсоном и Варамбилем бросились на них и окончательно их разбили. Г-на де ла Трюмеля и герцога Ампульского потащили в участок. Князь де Босено после отважного сопротивления упал с разбитой головой на окровавленную мостовую.

Воодушевленные победой, товарищи из предместий вперемежку с бесчисленными уличными газетчиками всю ночь ходили по бульварам, триумфально нося на руках Манифлору, а по пути разбивая окна кофеен и уличные фонари, с криками: «Долой Крюшо! Да здравствует социальная республика!» Антипиротисты, в свою очередь, опрокидывали газетные киоски и тумбы с театральными афишами.

Подобным зрелищем не мог бы восторгаться холодный разум, и оно способно было огорчить эдилов, озабоченных соблюдением общественного порядка на дорогах и улицах… Но еще с большей грустью честные люди смотрели на лицемеров, которые, опасаясь неприятностей, держались на равном расстоянии от обоих станов и, при

явном своем эгоизме и трусости, еще хотели, чтобы все восхищались их высокими чувствами и душевным благородством; они натирали себе глаза луком, плаксиво кривили рот, сморкались на контрабасных нотах и каким-то утробным голосом стенали: «О пингвины, прекратите братоубийственные битвы, перестаньте терзать материнскую грудь, вскормившую вас!..» — как будто человеческое общество может существовать без споров и ссор и как будто гражданские распри не являются необходимым условием национальной жизни и прогресса общественной нравственности; они, эти лицемерные ничтожества, уговаривали правых и неправых пойти между собой на компромисс и оскорбляли таким образом правых в их правоте, а неправых — в их отваге. Один из таких людишек, богатый и влиятельный Машимель, великолепный экземпляр труса, вознесся над городом каким-то колоссом скорби; пролитые им слезы образовали у ног его целые пруды, где уже завелись рыбы и плавали рыбачьи лодки, то и дело опрокидываемые его вздохами.

В эти бурные ночи, сидя под ясным небом на верхушке своей старой водокачки и регистрируя на фотографических пластинках падающие

звезды, Бидо-Кокий гордился собою в сердце своем. Он сражался за справедливость; он любил и был любим возвышенной любовью. Оскорбления и клевета возносили его выше облаков. Карикатуры на него, вместе с карикатурами на Коломбана, Керданика и полковника Астена, можно было видеть во всех газетных киосках; антипиротисты распространяли слух, будто он получил пятьдесят тысяч франков от крупных еврейских финансистов. Репортеры милитаристских листков запрашивали мнения о его научной компетентности у представителей официальной науки, которые отказывали ему в каких-либо астрономических познаниях, оспаривали самые основательные его наблюдения, отрицали самые убедительные открытия, отвергали самые остроумные и плодотворные гипотезы. Он ликовал, подвергаясь этим лестным нападкам врагов и завистников.

Созерцая внизу, у ног своих, огромное черное пространство, усеянное множеством огней, он не думал обо всем том, чем полна ночь в большом городе, — о тяжелом сне, свалившем усталых людей, о жестокой бессоннице, о лживых грезах, о всегда чем-нибудь отравленных наслаждениях и о бесконечно разнообразных страданиях.

Он возвращался мыслью только к одному: «Вот в этом громадном городе правда сражается с неправдой». И, подменяя сложную и низменную действительность простой и возвышенной поэзией, образно представлял себе дело Пиро как битву ангелов с демонами. Он верил в вечное торжество сынов света и радовался, что сам он, чадо ясного дня, повергал наземь исчадия ночи.

Глава X
Советник Шоспье

Прежде ослепленные страхом, легкомысленные и недогадливые, теперь республиканцы, встретившись лицом к лицу с бандитами капуцина Дуйяра и сторонниками принца Крюшо, почувствовали, что у них открылись глаза, и поняли наконец истинную суть дела Пиро. Депутаты, которые два года, заслышав рев толпы «патриотов», бледнели от испуга, не стали, правда, храбрее, но трусили уже по-иному — и принялись обвинять правительство Робена Медоточивого во всех тех беспорядках, каким сами потакали, глядя на них сквозь пальцы и даже иной раз трусливо поздравляя их виновников; они укоряли Робена Медоточивого в том, что он навлек опасность на республику своими нерешительными действиями, в которых они сами были повинны, и снисходительностью, которой сами требовали; некоторые из них начинали уже подумывать, не выгоднее ли поверить в невиновность Пиро, чем в его преступность, и с тех пор стали испытывать жестокую печаль при мысли

о том, что, быть может, этот несчастный осужден несправедливо и, высоко подвешенный в своей клетке, искупает чужое преступление. «Я из-за этого по ночам не сплю», — говорил депутатам, представлявшим большинство, каждому по секрету, министр Гийомет, рассчитывая занять место своего начальника.

Эти благородные законодатели свалили правительство, и на место Робена Медоточивого президент республики назначил присяжного республиканца с роскошной бородой — некоего Ла Тринитэ, который, подобно большинству пингвинов, ровно ничего не понимал в деле Пиро, но считал, что в дело это, по правде говоря, слишком уж суются монахи.

Генерал Греток, перед тем как покинуть министерский пост, дал последнее наставление начальнику Генерального штаба Пантеру.

— Я ухожу, а вы остаетесь, — сказал он, пожимая ему руку. — История с Пиро — мое детище; передаю ее теперь вам, она достойна вашей любви, она прекрасна. Помните, что ее красота требует тени, ей нравится тайна и она не любит сбрасывать покровы. Щадите ее стыдливость. Уж и так слишком много нескромных взглядов осквернило ее прелести… Вы хотели доказательств, Пантер, и

вы их получили. У вас их много, слишком много. Предвижу наглые попытки вмешательства и настояния опасного любопытства. На вашем месте я изорвал бы все эти бумаги в клочки. Поверьте мне: лучший способ доказательства — не иметь доказательств. Тогда никто и оспаривать их не будет.

Увы, генерал Пантер не оценил всей мудрости этих советов. Будущее слишком хорошо подтвердило проницательность Гретока. Не успел Ла Тринитэ занять пост премьера, как тотчас же затребовал к себе материалы по делу Пиро. Но военный министр его Пениш отказался представить их из высших соображений национальной безопасности, доверительно сообщив ему, что одни только материалы, находящиеся под охраной генерала Пантера, составляют самый обширный архив на свете. Ла Тринитэ изучил процесс, как мог, и, даже не расследовав его досконально, все-таки заподозрил в нем нарушение законности. Тогда, пользуясь своими правами и прерогативами, он отдал приказ о его пересмотре; в ответ на это военный министр Пениш тут же обвинил его в оскорблении армии и в измене родине и швырнул ему свой портфель. Назначили другого министра, который вел себя точно так же;

его сменил третий, последовавший примеру двух первых; и все следующие, до семидесятого включительно, действовали, как их предшественники, так что почтенному Ла Тринитэ оставалось только стенать под ударами доблестных портфелей. Семьдесят первый военный министр, Ван-Жюлеп, остался при исполнении своих обязанностей не потому, что расходился со столь многочисленными и благородными своими коллегами, но потому, что они дали ему поручение великодушно предать председателя совета министров, покрыть его стыдом и позором и обратить пересмотр дела Пиро к вящей славе Гретока и удовлетворению антипиротистов, к выгоде для монахов и на пользу реставрации принца Крюшо.

Генерал Ван-Жюлеп, обладая высокими военными дарованиями, не был наделен достаточно гибким умом, чтобы пользоваться хитроумными способами и изощренными приемами Гретока. Он думал, подобно генералу Пантеру, что нужны осязаемые улики против Пиро, и чем больше, тем лучше, так что, сколько их ни собрать, всегда будет мало. Он высказал эти мысли своему начальнику Генерального штаба, а тот, разумеется, отнюдь не склонен был возражать.

— Наступает такое время, Пантер, — сказал министр, — когда нам потребуются обильные и сверхобильные доказательства!

— Слушаюсь, генерал, — ответил Пантер. — Я немедленно пополню свой архив.

Через полгода доказательства против Пиро занимали два этажа военного министерства, под тяжестью документов провалился пол, и хлынувшая бумажная лавина раздавила двух начальников отделений, четырнадцать столоначальников и шестьдесят письмоводителей, занятых в нижнем этаже разработкой вопроса о новом образце гетр для егерских полков. Пришлось подпереть стены обширного здания. Прохожие с изумлением смотрели на огромные бревна, чудовищные подпоры, которые были наклонно уставлены в некогда великолепную фасадную стену, ныне рассевшуюся и шаткую, и загромождали улицу, мешая движению экипажей и пешеходов и служа препятствием для автобусов, разбивавшихся о них в лепешку вместе со своими пассажирами.

Судьи, вынесшие обвинение Пиро, были, в сущности, не судьи, а военные. Судьи, вынесшие обвинение Коломбану, были действительные судьи, но судьи мелкие, облаченные в старые

черные балахоны, как церковные подметальщики, — жалкие судьи, тощие от голода судьишки. Над ними возвышались великие судьи, в красных тогах и горностаевых мантиях. Стяжав известность своими знаниями и глубиной суждения, они заседали в суде, при одном упоминании которого возникала картина, говорившая о грозной власти: кассационный суд обладал правом пресекать судебные решения, а потому представлялся в виде огромной секиры, нависшей над приговорами и решениями всех других инстанций.

Один из этих великих судей в красном, составлявших высшее судилище, г-н Шоспье, вел тогда скромную и спокойную жизнь в алькском предместье. Он был чист душою, честен сердцем и справедлив рассудком. Каждый день, окончив изучение судебных дел, он играл на скрипке и поливал свои гиацинты. По воскресеньям он обедал у соседок, девиц Эльбивор. Г-н Шоспье был стар, но это был приятный и бодрый старик, и друзья восхищались его добродушным характером.

Однако за последние несколько месяцев он стал раздражительным и хмурым, а когда развертывал газету, полное розовое лицо его мучительно морщилось и багровело от гнева. Причиной тому был Пиро. Судебный советник Шоспье понять

не мог, как это офицер решился на такое черное дело — продать восемьдесят тысяч копен сена, военного фуража, соседней враждебной державе; а еще меньше понимал он, как такой преступник мог найти в Пингвинии столько услужливых защитников. Мысль о том, что на его родине существуют всякие Пиро, полковники Астены, Коломбаны, Керданики, Фениксы, омрачала для него и красоту гиацинтов, и игру на скрипке, омрачала небо, и землю, и всю природу, и обеды его у девиц Эльбивор.

И случилось так, что когда министр юстиции представил дело Пиро на рассмотрение в верховное судилище, то именно судебному советнику Шоспье поручено было ознакомиться с материалом судебного производства и обнаружить нарушения законности, буде они имеются. Хотя он и был в высшей степени справедлив и неподкупен, хотя за долгие годы привык вершить судебные дела без лицеприятия, все же он готовился найти в передаваемых ему документах доказательства неоспоримой виновности и явной преступности Пиро. После многочисленных затруднений и упорных отказов со стороны генерала Ван-Жюлепа советник Шоспье добился наконец доступа ко всем бумагам. Когда они были пронумерованы

и зарегистрированы, то оказалось, что общее их число составляет четырнадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч триста двенадцать. Приступив к их изучению, советник был сначала смущен, затем удивлен, затем изумлен, затем поражен, затем ошеломлен и, наконец, если можно так выразиться, умопотрясен. Он находил в папках объявления галантерейных магазинов, газеты, картинки модных журналов, бумажные мешки из бакалейной лавки, старую торговую корреспонденцию, школьные тетрадки, дерюгу, наждачную бумагу для чистки паркета, игральные карты, чертежи, шесть тысяч экземпляров «Сонника», но не обнаружил ни одного документа, который бы имел хоть какое-либо касательство к Пиро.

Глава XI
Заключение

Судебный приговор был кассирован, и Пиро выпущен из своей висячей клетки. Но антипиротисты не признавали себя побежденными. Военный суд снова привлек Пиро к ответственности. В этом втором процессе Греток превзошел самого себя. Он добился вторичного обвинительного приговора; он добился его, заявив, что документы, представленные в высшую инстанцию, ничего не стоят, так как от представления действительно ценных пришлось воздержаться из-за их секретного характера. По мнению знатоков, никогда еще он не проявлял такой ловкости. Когда он покинул зал суда и среди любопытствующей публики, спокойным шагом, заложив руки за спину, проходил по вестибюлю, какая-то женщина в красном, под черной вуалью, опущенной на лицо, бросилась к нему и, занеся кухонный нож, воскликнула:

— Умри, мерзавец!

То была Манифлора. Прежде чем присутствующие поняли, что происходит, генерал схватил ее

за запястье и, сохраняя внешнее спокойствие, так сильно сжал его, что рука Манифлоры от боли выпустила нож.

Он поднял его и с поклоном протянул Манифлоре.

— Сударыня, вы уронили предмет домашней утвари, — сказал он.

Героиню отвели в участок, хотя Греток и просил этого не делать, но вскоре он уговорил отпустить ее, а затем, употребив все свое влияние, настоял на прекращении судебного преследования.

Вторичное осуждение Пиро было последней победой Гретока.

Советник Шоспье, прежде так любивший военных и питавший такое уважение к их судам, теперь, разъяренный против военных судей, расщелкивал в кассационном порядке одно за другим все их решения, как обезьяна щелкает орехи. Он вторично добился оправдания Пиро; а если бы понадобилось, добился бы в пятисотый раз.

Взбешенные тем, что проявляли такую трусость и, поддавшись обману, допустили издевательства над собою, республиканцы обратили свой гнев на монахов и священников; депутаты издали против них законы об изгнании, об отделении

церкви от государства и о конфискации церковных имуществ. Случилось то, что предвидел отец Корнемюз. Этого славного монаха прогнали из Конильского леса. Агенты налогового управления отобрали в казну его перегонные кубы и реторты, а приемщики поделили между собой бутылки с ликером св. Орброзы. Благочестивый винокур потерял на этом три с половиной миллиона франков годового дохода, которые доставляло его скромное предприятие. Отец Агарик отправился в изгнание, передав свою школу в руки мирян, оказавшихся неспособными предотвратить ее упадок. Отделенная от государства, бывшего для нее питательной почвой, пингвинская церковь увяла, как срезанный цветок.

Одержав победу, защитники невинно осужденного передрались между собою, преследуя друг друга оскорблениями и клеветой. Запальчивый Керданик набросился на Феникса, готовый его растерзать. Крупные еврейские финансисты и семьсот родичей Пиро с презрением отвернулись от товарищей-социалистов, которых еще недавно смиренно умоляли о помощи.

— Мы вас знать не хотим, — говорили они. — Оставьте нас в покое с вашей социальной справедливостью. Социальная справедливость — в

том, чтоб защищать богатство.

Избранный депутатом и став во главе нового большинства, товарищ Лариве был выдвинут палатой и общественным мнением на пост председателя совета министров. Он проявил себя как энергичный защитник военных судов, вынесших обвинительный приговор по делу Пиро. Когда его старые товарищи-социалисты потребовали немного больше справедливости и свободы для государственных служащих и работников физического труда, он красноречиво выступил против их предложений.

— Свобода — не значит своеволие. Надо выбирать между порядком и беспорядком, и я сделал выбор: революция — это насилие; у прогресса нет врага опаснее, чем насилие. Насилием ничего нельзя добиться. Господа, если вы, подобно мне, хотите реформировать республику, то прежде всего вы должны стараться исцелить ее от этих волнений, которые ослабляют правительство, как лихорадка истощает больного. Наступила пора обеспечить спокойствие порядочным людям.

Речь была покрыта аплодисментами. Республиканское правительство осталось под контролем крупных финансовых компаний, по-прежнему деятельность армии посвящена была исключи-

тельно защите капитала, флот предназначался единственно для того, чтобы обеспечивать металлургов заказами; так как богачи не желали вносить справедливую долю налогов, то бедняки по-прежнему платили за них.

Между тем Бидо-Кокий с грустью смотрел со своей пожарной вышки, под сонмом ночных светил, на уснувший город. Манифлора его покинула; терзаемая жаждой новых привязанностей и новых жертв, она уехала с каким-то молодым болгарином в Софию, чтобы отдать там силы свои делу справедливости и мщения. Бидо-Кокий не жалел о ней, так как после окончания дела Пиро она ни внешне, ни внутренне уже не казалась ему такой прекрасной, какой он представлял себе ее раньше. Так же переоценил он внешний вид и внутреннее содержание многого другого вокруг. И, что было горше всего, он и самого себя считал теперь не таким великим и не таким прекрасным, как ему думалось.

«Ты мнил себя великим, — размышлял он, — а ты был всего лишь чистосердечным и желал добра. Чем ты так кичился, Бидо-Кокий? Тем, что один из первых догадался о невиновности Пиро и гнусности Гретока? Но ведь три четверти тех, кто защищал Гретока от нападений семисот

родичей Пиро, знали это лучше, чем ты. Не в том было дело. Так чем же ты так гордился? Тем, что осмелился высказать свое мнение? Но ведь это проявление гражданского мужества, а оно, подобно мужеству военному, не что иное, как результат неосторожности. Ты был неосторожен. Это хорошо, но еще не дает тебе права особенно хвалиться. Неосторожность твоя была незначительна — она подвергла тебя лишь небольшим опасностям, ты не рисковал головой. Пингвины утратили ту жестокую и кровожадную отвагу, которая встарь придавала их революциям некое трагическое величие. Это роковое следствие развившейся у них слабости убеждений и характеров. То обстоятельство, что в известном вопросе ты отличился чуть большей проницательностью, чем толпа, дает ли основание считать тебя выдающимся мыслителем? Боюсь, Бидо-Кокий, что ты, напротив, обнаружил полную неспособность понять условия умственного и нравственного развития народов. Ты воображал, будто проявления общественной несправедливости нанизаны, как жемчужины, на одну общую нить и стоит вырвать одну, как рассыплются все остальные. Но ведь это чрезвычайно наивное представление! Ты тешил себя мыслью, что одним ударом восста-

новишь справедливость в своей стране и во всем мире. Ты выказал себя порядочным человеком, честным идеалистом, хоть и не очень сведущим в экспериментальной философии. Но, заглянув в себя поглубже, ты должен будешь признать, что действовал не без задней мысли и, при всей своей наивности, немного хитрил. Ты надеялся сделать выгодное дельце в области морали. Ты думал: «Вот проявлю раз и навсегда справедливость и мужество. После этого можно будет успокоиться, обеспечив себе общественное уважение и почетное место в истории». А теперь, утратив иллюзии, теперь, узнав, как трудно исправлять несправедливости и как всякий раз приходится делать все сызнова, ты решил вернуться к своим астероидам. Ты прав, но гордиться тут нечем, Бидо-Кокий!»

Книга седьмая
Новейшее время. Госпожа Серес

Только крайности можно еще выносить.

Граф Робер де Монтескью

Глава I
Салон госпожи Кларанс

Госпожа Кларанс, вдова крупного государственного чиновника, любила принимать гостей; она собирала у себя по четвергам друзей своих, людей небогатых, которые охотно проводили вечерок за беседой. Среди обычных посетительниц ее гостиной были дамы разного возраста и общественного положения, но все нуждались, все перенесли в жизни своей разные несчастья. Среди них имелась герцогиня, похожая на карточную гадалку, и карточная гадалка, похожая на герцогиню. Г-жа Кларанс, еще достаточно красивая для того, чтобы сохранить старые связи, но недостаточно — для того, чтобы заводить новые, вела спокойную жизнь, окруженная общим уважением. У нее была дочь, очень хорошенькая, но бесприданница, внушавшая гостям страх, потому что пингвины пуще огня боялись бедных невест. Эвелина Кларанс замечала их сдержанность, понимала ее причины и разливала чай с презрительным видом. Она, впрочем, редко выходила к гостям, да и то разговаривала только с дамами и

какими-нибудь юнцами. Ее кратковременное и малозаметное присутствие не стесняло беседы, так как — полагали собеседники — в качестве молодой девицы она все равно не поймет того, что ей не следует слышать, либо в двадцать пять лет она уже может слушать все что угодно.

Как-то, в один из четвергов, среди гостей г-жи Кларанс зашел разговор о любви; дамы говорили о ней с гордым, осторожным и таинственным видом; мужчины — нескромно и самодовольно, каждый интересовался только тем, что говорил сам. Было пущено в ход много остроумия, брошено немало метких замечаний и удачных реплик. Но в беседу вступил профессор Гэддок и заморил всех.

— Наши представления о любви подобны всем другим представлениям, — сказал он. — Они основаны на нравах далекого прошлого, память о котором совершенно стерлась. В области морали — потерявшие всякий смысл многочисленные предписания, самые бесполезные обязательства, самые стеснительные и жестокие запреты, — все это по причине своей глубокой древности и таинственной неясности своего происхождения менее всего оспаривается и менее всего считается спорным, менее всего исследуется, более всего

почитается и уважается, и пренебречь этим — значит навлечь на себя самое суровое порицание. Всякая мораль, касающаяся отношений между полами, опирается на ту предпосылку, что мужчина приобретает женщину раз навсегда и она представляет собою его собственность наравне с его лошадью или оружием. Но так как это уже не соответствует действительным отношениям, то возникают всякие нелепости, вроде брака, то есть заключения договора о продаже такой-то женщины такому-то мужчине с некоторыми ограничительными пунктами относительно права собственности, введенными в результате постепенного ослабления власти собственника.

Непременное требование, чтобы девица приносила в дар супругу свою девственность, сохраняется еще с тех времен, когда девушки вступали в брак, едва достигнув брачного возраста; смешно предъявлять подобное требование девице, вступающей в брак в двадцатипятилетнем или тридцатилетнем возрасте. Вы скажете, что этот дар будет приятен ее мужу, если таковой наконец для нее найдется, но мы видим на каждом шагу, что мужчины ухаживают за замужними женщинами и бывают весьма довольны, получив их такими, как они есть.

До сих пор девический долг, предписываемый религиозной моралью, определяется древним верованием, что Бог, самый могущественный из военачальников, — многоженец, что он оставляет за собою первое право на девственниц и лишь те, которые не понадобились ему, могут быть взяты другими. Это верование, оставившее следы во многих метафорах мистического языка, в настоящее время уже утрачено большинством цивилизованных народов; тем не менее оно сохраняет силу в воспитании девиц, и не только у наших верующих, а даже у наших свободомыслящих, которые большей частью не мыслят свободно по той простой причине, что вообще не мыслят.

Разум проявляется в познании. Но так называемая разумная девушка ничего не знает. В ней культивируют невежество. Однако, вопреки стараниям окружающих, и самые разумные девушки все же кое-что знают, ибо от них нельзя скрыть ни их собственной природы, ни их собственных физических состояний, ни их собственных ощущений. Но то, что знают, они знают плохо, кое-как. Вот к чему приводит заботливое воспитание.

— Сударь, — с хмурым видом вмешался в беседу

Жозеф Вутурле, главноуправляющий податными сборами Альки, — уверяю вас, существуют невинные девушки, совершенно невинные, и это большое несчастье. Я знал трех таких девушек; они повыходили замуж, и это было что-то ужасное! Одна, как только к ней приблизился муж, в ужасе соскочила с кровати и закричала в окно: «Спасите! Он сошел с ума!» Другую наутро после свадьбы нашли в одной рубашке на зеркальном шкафу, откуда она ни за что не соглашалась слезть. Третья пришла в такое же изумление, но безропотно все снесла. И только через несколько недель после свадьбы как-то раз шепнула матери на ушко: «Между мной и мужем происходит что-то неслыханное, невообразимое, о чем я не решусь рассказать даже тебе». Ради спасения души своей она все описала на исповеди своему священнику и только от него узнала, — быть может, с некоторым разочарованием, — что во всем этом нет ничего необычайного.

— Я заметил, — сказал профессор Гэддок, — что все европейцы, и пингвины в особенности, прежде, до нынешнего увлечения спортом и автомобильными поездками, ничем так не интересовались, как любовью, — то есть придавали важность тому, что имеет самое ничтожное

значение.

— Как, сударь! — вскричала, чуть не задохнувшись, г-жа Кремер. — Женщина отдает всю себя и этот дар, по-вашему, не имеет никакого значения?

— Нет, конечно, сударыня, это может иметь известное значение, — ответил профессор Гэддок. — Но все зависит от того, приносит ли она в дар мужчине прелестный плодовый сад или же пустырь, поросший репейником и одуванчиками. А кроме того, не слишком ли мы злоупотребляем здесь словом «дар»? Свою любовь женщина скорее отдает во временное пользование, чем дарит. Вот, например, прекрасная госпожа Пансе…

— Это моя мать! — сказал высокий светловолосый юноша.

— Я бесконечно уважаю ее, сударь, — заметил профессор Гэддок, — не подумайте, что я собираюсь сделать сколько-нибудь обидное замечание на ее счет. Но осмелюсь вам сказать, что, вообще говоря, представление сыновей о своих матерях совершенно несостоятельно: они забывают о том, что мать является матерью только потому, что любила, а следовательно, способна любить и в дальнейшем. Между тем это именно так, и пришлось бы пожалеть, будь оно иначе. Я

заметил, что дочери, напротив, не ошибаются насчет способности матерей любить, да и насчет применения ими этой способности: ведь дочери — их соперницы, они и наблюдательны, как соперницы.

Несносный профессор говорил еще долго, прибавляя непристойности к бестактностям, грубости — к неучтивостям, нагромождая одну нелепость на другую, выказывая презрение к тому, что почтенно, и почтение к тому, что презренно; впрочем, никто его не слушал.

А тем временем в своей комнате, простой, лишенной всякого изящества, комнате печальной, ибо никем не любимой, подобно всем девическим комнатам, и холодной, как зал ожидания, Эвелина Кларанс наводила справки по ежегодным отчетам клубов и проспектам благотворительных учреждений, стремясь побольше разузнать о светском обществе. Видя, что мать, ограниченная кругом интеллигентных и небогатых людей, не в состоянии ввести ее в светское общество и содействовать ее успехам, она размышляла о том, что нужно самой проникнуть в среду, где можно было бы устроить свою жизнь, — размышляла упорно и вместе с тем спокойно, без грез, без иллюзий, видя в замужестве только вступление

к настоящей игре, только пропуск в новый для нее мир и отдавая себе ясный отчет во всех помехах и препятствиях, а также в благоприятных обстоятельствах, могущих для нее возникнуть при осуществлении задуманного. У нее были данные, чтобы понравиться, к тому же она была достаточно холодна, чтобы уметь нравиться. Но у нее имелась слабая сторона — ее ослепляло все, что казалось аристократичным.

Когда они с матерью остались наедине, Эвелина сказала:

— Мама, завтра мы пойдем на проповедь отца Дуйяра.

Глава II
Религиозное общество святой Орброзы

Проповеди отца Дуйяра привлекали по пятницам, к девяти часам, в аристократическую церковь Св. Маэля самые сливки алькского общества. Князь и княгиня де Босено, виконт и виконтесса Олив, г-жа Бигур, г-н и г-жа де ла Трюмель не пропускали ни одной проповеди; там присутствовал цвет аристократии, блистали красивые еврейские баронессы, так как еврейские баронессы Альки все были христианками.

Эти собрания, подобно другим религиозным собраниям, преследовали цель доставлять представителям светского общества возможность время от времени забыть о мирских делах ради спасения души; собрания ставили также своей задачей привлечь на все эти благородные и знатные семьи благословение св. Орброзы, которая любит пингвинов. С поистине апостолическим рвением преподобный отец Дуйяр добивался осуществления своего замысла — восстановить прерогативы св. Орброзы как покровительницы Пингвинии и воздвигнуть ей монументальный

храм на одном из холмов, господствующих над городом. Его усилия увенчались необыкновенным успехом: для этого национального дела он объединил уже свыше ста тысяч приверженцев и собрал более двадцати миллионов франков.

Именно в церкви Св. Маэля, на клиросе, высится, сияя золотом, сверкая драгоценными каменьями, окруженная свечами и цветами, новая рака св. Орброзы.

Вот что сказано у аббата Плантена в «Истории чудес, совершенных святой покровительницей Альки»:

«Прежняя рака была расплавлена во время террора, и драгоценные останки святой были брошены в костер, зажженный на Гревской площади; но одна бедная благочестивая женщина, по фамилии Рукен, пренебрегая смертельной опасностью, ночью пошла и собрала обугленные кости и пепел блаженной; она сохранила их в горшочке из-под варенья, а после восстановления христианского культа отнесла их священнику церкви Св. Маэля. Тетушка Рукен благочестиво дожила свой век, исполняя при часовне Св. Орброзы должность продавщицы свечей и предоставляя за плату стулья в пользование молящимся».

Несомненно, что при отце Дуйяре, невзирая на

общий упадок веры, поклонение св. Орброзе, уже триста лет как забытое вследствие критики каноника Пренсто и молчания ученых-богословов, было восстановлено и осуществлялось с большей торжественностью, большей пышностью, большим рвением, чем когда-либо прежде. Теперь уже богословы не оспаривали в легенде ни йоты, они признавали вполне достоверными все факты, сообщаемые аббатом Симплициссимусом, и утверждали, например, основываясь на словах этого аббата, что дьявол, приняв монашеский облик, завлек святую в пещеру и, набросившись на нее, боролся с нею, пока она над ним не восторжествовала. При этом богословы не затрудняли себя определением места и времени; они воздерживались от толкований и остерегались допустить научное исследование в тех пределах, какие отводил ему некогда каноник Пренсто: они слишком хорошо знали, к чему это приводит.

Церковь была вся в огнях и цветах. Оперный тенор пел знаменитый гимн св. Орброзе:

О, благости полна,
Явись нам, дева рая,
Как светлая луна,
Тьму разгоняя!

Мадемуазель Кларанс стала рядом с матерью, перед виконтом Клена, и, преклонив колени на молитвенную скамеечку, долго оставалась в такой позе, зная, что это приличествует разумным девам и хорошо обрисовывает фигуру.

Преподобный отец Дуйяр поднялся на кафедру. Он был прекрасный оратор; умел растрогать, поразить, взволновать слушателей. Женщины, правда, жаловались, что он громит пороки с чрезмерной суровостью и в таких сильных выражениях, что заставляет краснеть. Тем не менее они очень его любили.

Свою проповедь он посвятил седьмому искушению св. Орброзы, когда ее хотел соблазнить дракон, над которым ей предстояло одержать победу, но она, не поддаваясь соблазну, укротила чудовище.

Оратор без труда доказал, что с помощью св. Орброзы и утвердившись в добродетелях, ей внушаемых, мы, в свою очередь, можем повергнуть драконов, готовых ринуться на каждого из нас, чтобы нас растерзать: дракона сомнения, дракона неверия, дракона забвения религиозных обязанностей.

Из этого оратор сделал вывод, что заботиться о поклонении св. Орброзе — значит заботиться

о нравственном возрождении общества, и заключил свою проповедь страстным призывом к «верующим, стремящимся стать орудиями божественного милосердия и готовым ревностно поддерживать и растить Общество св. Орброзы, доставляя ему все необходимые средства, дабы оно могло воспрянуть и приносить спасительные плоды»[24].

По окончании проповеди преподобный отец Дуйяр остался в ризнице, чтобы верующие могли, если пожелают, получить от него сведения о новом обществе или внести пожертвование. Мадемуазель Кларанс понадобилось обратиться за чем-то к преподобному отцу Дуйяру, виконту Клена — тоже; столпилось много народу; выстроились в очередь. По счастливой случайности виконт Клена и мадемуазель Кларанс оказались совсем близко друг к другу — может быть, даже чуточку слишком близко. Эвелина еще раньше обратила внимание на этого изящного молодого человека, почти столь же известного в спортивных кругах, как его отец. Клена, со своей стороны, тоже заметил ее и нашел хорошенькой, а потому поклонился и принес извинения в том, что хотя

[24] Примечания: 24

Ср. Ж. Эрнест-Шарль. «Цензор», май — август 1907 г., с. 562, стлб. 2. — *Примеч. авт.*

был, кажется, представлен обеим дамам, но не помнит, где именно. Они притворились, что верят ему.

На следующей неделе он явился к г-же Кларанс, которую считал немножко сводней, впрочем не особенно огорчаясь этим, и, когда опять увидел Эвелину, убедился, что она в самом деле необычайно хорошенькая.

У виконта Клена был самый лучший автомобиль во всей Европе. Три месяца подряд он каждый день катал в нем старшую и младшую Кларанс по горам и долинам, по лесам и лугам. Объезжал вместе с ними всякие живописные места, посещал замки. Он уже сказал Эвелине все, что только может сказать самый усердный поклонник. Она не скрывала от виконта, что любит его, будет любить вечно — только его одного. Она сидела рядом с ним трепещущая и задумчивая. Но, отдаваясь во власть роковой любви, умела в нужный момент призвать себе на помощь свою непреклонную добродетель, полную сознания грозящей опасности. К концу трех месяцев, в течение которых он подсаживал ее и помогал ей выйти, снова подсаживал и снова помогал выйти, а при маленьких авариях, постоянно случавшихся с его автомобилем, бродил с

ней взад и вперед, он знал ее, как руль своей машины, но не как-нибудь иначе. Он подстраивал разные неожиданности, приключения, вынужденные остановки в чаще леса или возле ночных кабачков, но ничуть не подвинулся вперед. Разъяренный тем, что все получается так глупо, он, снова усадив ее в автомобиль, со злости доводил скорость до ста двадцати в час, готовый вывалить Эвелину в канаву или расшибить ее и себя вместе с нею о ствол какого-нибудь дерева.

Как-то раз он заехал за ней, чтобы опять везти на прогулку, и Эвелина показалась ему еще более восхитительной, чем когда-либо, еще более влекущей к себе; он налетел на нее, как ураган налетает на приозерную тростинку. Она не противилась, очаровательно слабея; двадцать раз казалось, что вот-вот, подхваченная и сломленная бурным вихрем, она унесется вместе с ним, и двадцать раз ей, гибкой и дразнящей, удавалось устоять; и после стольких натисков так спокойно возносился прелестный стебель ее тела, словно ее овеял лишь легкий ветерок, и она опять улыбалась с таким видом, как будто только и ждала прикосновения дерзких рук.

После этого неудачного нападения виконт Клена, ошалелый, разъяренный, почти поме-

шавшись в уме, бежит прочь, чтобы не убить ее, попадает не в ту дверь, влетает в спальню, где мать Эвелины надевала перед зеркальным шкафом шляпу, схватывает г-жу Кларанс, бросает в постель и овладевает ею, прежде чем она успевает опомниться.

В тот же день Эвелина, наводившая справки о виконте Клена, узнала, что у виконта нет ничего за душой, кроме долгов, что живет он на средства старой кокотки и занимается рекламированием новых автомобильных марок одного заводчика. Они разошлись по взаимному согласию, и Эвелина опять принялась угрюмо разливать чай гостям своей матери.

Глава III
Ипполит Серес

В гостиной г-жи Кларанс говорили о любви — и высказывали прелестные суждения.

— Любовь — это жертва, — со вздохом произнесла г-жа Кремер.

— И вам в этом можно поверить, — подхватил г-н Бутурле.

Но тут с присущей ему нудной бесцеремонностью стал разглагольствовать профессор Гэддок.

— Мне думается, — начал он, — что пингвинки слишком возомнили о себе, после того как благодаря св. Маэлю стали живородящими. А ведь гордиться-то особенно нечем: это свойство они разделяют с коровами, свиньями и даже с апельсинными и лимонными деревьями, поскольку зерна этих растений созревают в околоплоднике.

— Чванство пингвинок восходит к несколько более позднему времени, — возразил г-н Бутурле. — Оно возникло в тот день, когда святой проповедник дал им одежды, и даже больше — чванство их, долго сдерживаемое, приобрело

разнузданный характер только с появлением роскошных туалетов и дает себя знать лишь в узком кругу. Попробуйте отдалиться от Альки мили на две во время жатвы, и вы увидите, жеманничают ли там женщины и чванятся ли собою.

В этот вечер у г-жи Кларанс появился новый гость — Ипполит Серес; он был депутатом от Альки и одним из самых молодых членов палаты; говорили, что отец его держал кабачок, но сам он был адвокат, красноречивый, видный, представительный и, как полагали, знающий свое дело.

— Господин Серес, — сказала ему хозяйка дома, — вы представляете самый прекрасный округ в Альке.

— И становящийся с каждым днем все прекраснее, сударыня!

— К несчастью, здесь ходить стало совсем невозможно! — воскликнул г-н Бутурле.

— Это почему же? — спросил г-н Серес.

— Да из-за автомобилей, конечно!

— Не браните их, — возразил депутат. — Это наша великая национальная промышленность.

— Знаю, милостивый государь. Нынешние пингвины напоминают мне древних египтян. Как утверждает Тэн, опираясь на сообщение Климента Александрийского, но, впрочем, несколько

погрешая против подлинного текста, египтяне поклонялись крокодилам, которые их пожирали; так и пингвины поклоняются автомобилям, которые их давят. Нет никаких сомнений: будущее принадлежит этому металлическому животному. К извозчикам больше не возвратятся, как не возвращаются к дилижансам. Долгие мучения лошади приходят к концу. Автомобиль, пущенный лихорадочной жадностью промышленников, подобно колеснице Джаганнатхи, на оторопелые народы, автомобиль, служащий дурацкому и смертоносному щегольству бездельников и снобов, скоро станет выполнять свое полезное назначение и, отдав свою силу на службу всем людям, будет вести себя как послушное работящее чудовище. Но, чтобы вместо вреда он приносил пользу, нужно будет построить для него дороги, соответствующие его поступи, такие шоссе, которых он не разворачивал бы своими яростными колесами, обдавая прохожих пылью и отравляя им легкие. Эти новые дороги надо будет закрыть для более медленного транспорта и для скота, устроить на них гаражи и мостки — словом, упорядочить и наладить дорожную сеть будущего. Таковы пожелания доброго гражданина.

Госпожа Кларанс перевела разговор на бла-

гоустройство округа, представляемого г-ном Сересом, и тот с энтузиазмом стал говорить о сносе старых зданий, о прокладке новых улиц, о постройках, перестройках и всяких других полезных работах.

— В наше время строят замечательно, — сказал он. — Повсюду возникают новые великолепные улицы. Когда можно было видеть что-либо подобное нашим мостам с пилонами, нашим особнякам с куполами?

— Вы не упомянули еще о нашем большом дворце, прикрытом огромным колпаком, — проворчал, еле сдерживая ярость, г-н Данизе, старый любитель искусства. — Я просто диву даюсь, какой степени безобразия может достигнуть современный город. Алька американизируется; всюду разрушают последние остатки того, в чем еще чувствуется свободный вкус, фантазия, соразмерность, сдержанность, человечность, традиции; всюду разрушают эту прелесть — старые каменные ограды, через которые свешиваются ветви деревьев; всюду изгоняют последние остатки воздуха и света, остатки природы, остатки прошлого, остатки памяти о наших предках, частицу нас самих — и возводят огромные, страшные, отвратительные дома, накрытые нелепыми

куполами на венский лад, либо в новом стиле, без карнизов, без архитектурной формы, с какими-то устрашающими выступами и смешными кровлями, и подобные чудища лезут вверх, бесстыдно вздымаясь над окружающими домами. По фасадам наляпаны какие-то отвратительные шишкообразные наросты, и именуется это мотивами нового искусства. Я видел новое искусство в других странах, там оно не так гнусно. Оно там мило, занятно. А наша страна пользуется печальной привилегией выставлять на всеобщее обозрение образцы самой безобразной архитектуры — безобразной на самоновейший манер и в огромном количестве вариантов. Завидная привилегия, нечего сказать!

— А вам не приходило в голову, — строго спросил г-н Серес, — что такая резкая критика может от нашей столицы отпугнуть иностранцев, которые стекаются к нам со всех концов света и оставляют здесь миллиарды?

— Будьте покойны, — ответил г-н Данизе, — иностранцы не затем сюда ездят, чтобы любоваться нашими постройками; они ездят сюда ради наших кокоток, наших портных и наших кабаков.

— Скверная у нас привычка — клеветать на

самих себя, — со вздохом промолвил г-н Серес.

Госпожа Кларанс, как тактичная хозяйка, сочла своевременным опять перевести разговор на любовь и спросила г-на Жюмеля, какого он мнения о последней книге Леона Блюма, где автор жалуется…

— …на бессмысленный запрет, — подхватил профессор Гэддок, — запрет, возбраняющий светским девушкам заниматься любовью, что они делали бы с удовольствием, меж тем как продажные женщины занимаются ею слишком много и без всякого удовольствия. Это в самом деле достойно сожаления; но пусть господин Леон Блюм не огорчается сверх меры: если все и обстоит так плачевно в нашем узком буржуазном кругу, то могу заверить его, что вне этого круга он увидел бы всюду более утешительное зрелище. В народе, в широкой народной массе города и деревни, девушки занимаются любовью без обиняков.

— Какое ужасное падение нравов, сударь! — заметила г-жа Кремер.

И она воспела хвалу девической невинности в выражениях, полных изящества и целомудрия. Это было восхитительно!

Рассуждения профессора Гэддока о том же предмете было, наоборот, тяжко слушать.

— Светские девушки, — сказал он, — всегда под охраной и под надзором; к тому же мужчины не хотят иметь с ними дело из чувства порядочности, из боязни перед ответственностью и потому, что совращение молодой девицы не принесет им чести в обществе. Впрочем, неизвестно, что тут происходит в действительности, — ведь не видишь того, что принято скрывать. Это предпосылка, необходимая для существования всякого общества. Если б у светских девушек добивались любви, они были бы сговорчивее женщин, — и это по двум причинам: у них больше иллюзий, и любопытство их еще не удовлетворено. Женщины в большинстве случаев так плохо начинали с мужем, что у них не скоро появляется решимость продолжать с кем-нибудь другим. Мне лично не раз приходилось наталкиваться на такое препятствие при попытках к обольщению.

Когда неприятные рассуждения профессора Гэддока подходили к концу, в гостиную вошла мадемуазель Эвелина Кларанс и стала лениво разносить чай, с тем скучающим видом, который придавал ее красоте очарование восточной неги.

— Что касается меня, — сказал Ипполит Серес, взглянув на нее, — то я сторонник девиц.

«Дурак», — решила она.

Ипполит Серес, никогда не выходивший за пределы круга политического, круга избирателей и избираемых, нашел, что салон г-жи Кларанс весьма изыскан, хозяйка обворожительна, а дочь отличается какой-то своеобразной красотой; он стал усердно посещать их и ухаживал за обеими. Г-жа Кларанс, которой в ее возрасте особенно льстило внимание, находила Сереса очень милым. Эвелина же не оказывала ему никакого расположения и обращалась с ним надменно и пренебрежительно, а он, видя в этом аристократичность и хороший тон, еще больше восхищался ею.

Пользуясь своими обширными знакомствами, он старался доставлять им обеим удовольствия, и это ему порой удавалось. Он добывал им пропуска на заседания палаты и ложи в Оперу. Несколько раз давал он Эвелине возможность блистать на разных собраниях, в частности — на сельском празднике, который был, правда, устроен одним министром, но признан подлинно светским и принес республиканской власти первый успех в глазах высшего общества.

На этом празднике Эвелина, замеченная многими, особенно привлекла внимание одного молодого дипломата, некоего Роже Ламбильи,

и тот, решив, что она принадлежит к среде, не отличающейся строгостью нравов, пригласил ее к себе, на свою холостую квартиру. Она находила его красивым, думала, что он богат, — и пошла. Немного взволнованная, почти смущенная, она чуть не стала жертвой своей храбрости, избежав поражения только при помощи смелого военного маневра. Это происшествие было самым большим безумством во всей ее девической жизни.

Войдя в круг людей, близких к министрам и президенту, Эвелина подчеркивала там свою аристократичность и благочестие, чем привлекла к себе симпатии крупных деятелей антиклерикального и демократического лагеря республики. Ипполит Серес, видя, что она пользуется успехом и что знакомство с ней делает ему честь, еще больше увлекся ею, — он влюбился в нее до безумия.

Тогда и она стала с интересом присматриваться к нему, желая знать, как далеко зайдет его чувство. Она находила его неизящным, лишенным душевной тонкости, дурно воспитанным, но энергичным, сообразительным, способным и не таким уж скучным. Она еще смеялась над ним, но уже подумывала о нем. В один прекрасный день она решила подвергнуть его чувство

испытанию.

Это был период выборов, и г-н Серес был занят хлопотами, как говорится, по возобновлению своего мандата. У него был конкурент, поначалу как будто не очень опасный, без ораторских способностей, но богатый и с каждым днем завоевывавший, казалось, все больше голосов. Ипполит Серес, равно чуждаясь и вялого спокойствия, и пустой тревоги, удвоил энергию. Главным полем его деятельности служили публичные собрания, где он благодаря силе своих легких выступал опасным соперником. Его комитет устраивал широкие собрания с прениями, по субботам — вечерние, а по воскресеньям — ровно в три часа дня. Как-то в воскресенье, явившись с визитом в дом г-жи Кларанс, он застал ее дочь одну в гостиной. Поболтав с нею минут двадцать, он вынул часы и увидал, что уже без четверти три. Эвелина вдруг стала как-то особенно мила, игрива, задорна, завлекательна. Серес, взволнованный, все же поднялся, чтобы уходить.

— Посидите еще немножко! — сказала она с нежной настойчивостью, и он, будучи не в силах отказаться, снова сел.

Она прикинулась участливой, томной, любопытной, слабой. Он краснел, бледнел, но опять

поднялся с места.

Тогда, чтобы его удержать, она стала молча глядеть на него, и серые глаза ее подернулись влагой, а грудь прерывисто вздымалась. Сраженный, обезумевший, изнемогающий, он упал к ее ногам; но тут же, опять вынув часы, вскочил и отчаянно выругался:

— Ах ты… Без пяти четыре! Только-только поспею…

И выскочил на лестницу.

С тех пор она стала питать к нему некоторое уважение.

Глава IV
Женитьба политического деятеля

Она его совсем не любила, однако хотела, чтобы он ее любил. Впрочем, она была с ним очень сдержанна — и не только потому, что не питала к нему особой склонности: ведь в делах любви многое делается пускай и равнодушно, но для развлечения, по женскому инстинкту, по традиции и общепринятому обыкновению, чтобы испробовать свою власть и с удовольствием убедиться в ее действии. Эвелина держалась на расстоянии, понимая, что при более близких отношениях он, по своей грубой натуре, способен был задрать нос и нагло попрекать ее же, если бы она их прекратила.

Так как он по профессии был антиклерикал и свободомыслящий, то она считала нужным подчеркивать свою набожность, появляясь перед ним с молитвенниками в руках — изданиями большого формата, в красном сафьяне, вроде «Пасхального двухнедельника» королевы Марии Лещинской и дофины Марии Жозефы; и всегда старалась положить перед ним на видном ме-

сте список пожертвований, собранных ею на укрепление национального культа св. Орброзы. Эвелина действовала так не затем, чтобы дразнить его, не из озорства или чувства противоречия и даже не из снобизма, хотя и не была от него свободна; таким способом она утверждала себя, придавала себе особый характер, ставила себя на высоту и, чтобы возбудить в депутате отвагу, облекалась в религию наподобие того, как Брюнхильда, чтобы привлечь Сигурда, окружала себя пламенем. Дерзкий замысел ее удался. Она стала казаться ему еще прекраснее. В клерикализме, на его взгляд, была особая изысканность.

Переизбранный огромным большинством голосов, Серес стал членом палаты более левой по своим тенденциям, более передовой, чем предшествующая, и, казалось, более ревностной в отношении реформ. Сразу заметив, что под столь большим рвением скрывается боязнь перемен и искреннее желание ничего не делать, он твердо решил следовать политике, которая отвечала бы этим настроениям. В самом же начале сессии он выступил с большой речью, ловко задуманной и прекрасно построенной, которая была посвящена мысли, что всякая реформа требует длительной разработки; это была горячая, даже бурнокипя-

щая речь, так как оратор исходил из принципа, что рекомендовать умеренность надо всегда с крайним пылом. Все собрание рукоплескало ему. На президентской трибуне его слушали мать и дочь Кларанс; Эвелина невольно затрепетала при торжественном гуле рукоплесканий. На той же скамейке прекрасная г-жа Пансе вся вздрагивала, прислушиваясь к вибрациям этого мужественного голоса.

Сойдя с трибуны, пока еще гремели аплодисменты и раздавались требования расклеить текст этой речи по городу, Ипполит Серес сразу же, в своей взмокшей от пота сорочке, пошел поклониться г-же Кларанс с дочерью. Эвелина нашла, что он похорошел от успеха; и когда он, склонившись перед сидящими дамами, скромно, быть может лишь чуть фатовато, выслушивал их поздравления, отирая себе затылок носовым платком, молодая девушка, искоса взглянув на г-жу Пансе, увидела, что та в опьянении вдыхает запах пота, исходящий от героя, и, задыхаясь, полузакрыв глаза, запрокинув голову, готова вот-вот лишиться чувства. Эвелина тотчас послала г-ну Сересу нежную улыбку.

Речь представителя Альки вызвала громкие отклики. В политических «сферах» ее оценили как

весьма удачную. «Наконец-то мы услышали честные высказывания», — писала большая газета умеренных. «Ведь это — целая программа!» — говорили в палате. Все признавали в ораторе огромный талант.

Ипполит Серес легко мог бы теперь стать и во главе радикалов, и во главе социалистов, и во главе антиклерикалов, которые выбрали его председателем своей группы, самой многочисленной в палате. Ему уже наметили дать портфель при первой же смене правительства.

После долгих колебаний Эвелина решила выйти замуж за г-на Ипполита Сереса. На ее вкус, этот великий человек был несколько вульгарен; да к тому же не было уверенности в том, что он действительно достигнет когда-нибудь той ступени, на которой политическая деятельность начинает приносить крупный доход; но Эвелине скоро должно было исполниться двадцать семь лет, у нее был достаточный жизненный опыт, и она знала, что не следует ни слишком поддаваться чувству отвращения, ни выказывать себя слишком требовательной.

Ипполит Серес был знаменит; Ипполит Серес был счастлив. Он стал неузнаваем; элегантность его костюма и манер возрастала с ужасающей

быстротой, он злоупотреблял белыми перчатками; теперь, став слишком уж светским, он вызывал у Эвелины сомнение, не хуже ли это, чем быть недостаточно светским. Г-жа Кларанс благосклонно смотрела на эту помолвку, радуясь, что будущее дочери теперь обеспечено, и с удовольствием получая по четвергам цветы для своей гостиной.

Вопрос о свадебной церемонии вызвал, однако, некоторые осложнения. Эвелина была набожна и хотела, чтобы брак ее получил благословение церкви. Ипполит Серес, относясь терпимо к религии, сам все же был свободомыслящим и признавал только гражданский брак. По этому поводу происходили споры и даже душераздирающие сцены. Последняя разыгралась в комнате молодой девушки, когда стали составлять текст свадебных приглашений. Эвелина заявила, что без благословения церкви она не может по-настоящему считать себя его женой. Она заговорила о разрыве, о том, что уедет с матерью за границу, уйдет в монастырь. Потом стала нежной, слабой, умоляющей, начала горько жаловаться. И в ее девичьей комнате все горько жаловалось вместе с ней — кропильница, буксовая веточка над белой постелью, душеспасительные книжки

на маленькой этажерке, а на мраморной доске камина бело-голубая статуэтка св. Орброзы, укрощающей каппадокийского дракона. Ипполит Серес растрогался, размяк, растаял.

Прекрасная в своей печали, с блестящими от слез глазами, обвив себе руки четками из ляпис-лазури, словно цепями веры, она вдруг бросилась к ногам Ипполита и обняла его колени в смертельном изнеможении, с распущенными волосами.

Он был готов уступить, он забормотал:

— Церковный брак, венчание в церкви, может быть, мои избиратели еще кое-как переварят; а вот комитет мой не так легко с этим примирится… Впрочем, я им объясню… Веротерпимость, общественные условности. Они сами посылают дочерей к первому причастию… Но уж насчет министерского портфеля… Эх, черт! Я уверен, душенька, что мы его утопим в святой воде.

При этих словах она встала, серьезная, великодушная, смирившаяся, в свою очередь побежденная.

— Друг мой, я больше не настаиваю.

— Значит, без венчанья? Оно и лучше, гораздо лучше!

— Нет, это не так. Но предоставьте действовать

мне. Я постараюсь все уладить к общему удовлетворению.

Она отправилась к преподобному отцу Дуйяру и объяснила ему обстоятельства дела. Тот оказался более покладистым и сговорчивым, чем она даже рассчитывала.

— Супруг ваш — человек умный, человек порядка и здравого смысла, в конце концов он придет к нам. Вы принесете ему благословение Божье; не напрасно Господь дарит ему супругу-христианку. Церковь не всегда требует пышности и блеска для брачного обряда. Ныне, во времена гонений, потемки подземных молелен и тайники катакомб больше пристали ее празднествам. По выполнении всех гражданских формальностей, мадемуазель, приходите с господином Сересом сюда, в мою особую часовенку, одетая как для прогулки, — я обвенчаю вас и сохраню все в строжайшей тайне. Я испрошу у архиепископа необходимые послабления и льготы по части оглашения брака, свидетельства об исповеди и тому подобное.

Ипполит, считая замысел несколько опасным, все же согласился, в глубине души даже польщенный.

— Я пойду в пиджаке, — заявил он.

Он пошел в сюртуке, в белых перчатках, в лакированных туфлях и совершал коленопреклонения.

Ничего не поделаешь, взаимная вежливость…

Глава V
Министерство Визира

Супруги Серес устроились скромно и прилично, сняв славную квартирку в одном из новых домов. Серес окружил жену чистосердечным и спокойным обожанием, хотя часто задерживался в бюджетной комиссии и три вечера в неделю был занят подготовкой доклада о почтовом бюджете, надеясь, что этот труд останется в веках. Эвелина считала его «хамом», но нельзя сказать, чтобы он ей не нравился. Скверно было только то, что у них было очень мало денег, верней — почти совсем не было. Служба республике не так уж прибыльна, как думают. С тех пор как нет монарха, раздающего милости, каждый берет, что может, и хищения каждого, ограниченные хищениями всех остальных, поневоле сводятся к скромным размерам. Отсюда суровая простота нравов, свойственная вождям демократии. У них есть возможность обогащаться только в периоды больших начинаний, и тогда их преследует зависть менее преуспевающих коллег. Ипполит Серес предвидел большие начинания в ближайшем будущем, он ведь при-

надлежал к тем, кто их подготавливал; а пока он с достоинством переносил бедность, тем более что Эвелина, разделяя ее с ним, страдала меньше, чем можно было ожидать. Она поддерживала постоянные связи с отцом Дуйяром и посещала часовню Св. Орброзы, где встречалась с солидным обществом и с людьми, могущими в случае надобности оказать ей поддержку. Она умела их выбирать и награждала доверием только тех, кто его заслуживал. Она стала более опытной после автомобильных прогулок с виконтом Клена, а главное, поняла, какие преимущества связаны с положением замужней женщины.

Сначала депутата тревожила ее набожность, которую высмеивали демагогические газетки; но вскоре он успокоился, наблюдая вокруг, сколь охотно вожди демократии сближаются с аристократией и церковью.

Это был один из тех периодов (кстати сказать, довольно частых), когда правящие круги вдруг спохватываются, что зашли слишком далеко. Ипполит Серес в известной мере разделял такое мнение. Он признавал не политику преследований, а политику терпимости. Основы ее были заложены в его речи о подготовке реформ. Министерство считалось слишком левым; поддержи-

вая законопроекты, признанные опасными для капитала, оно настроило против себя крупные финансовые компании, а тем самым и газеты всех направлений. Видя растущую опасность, правительство отказалось от своих проектов, от своей программы, от своих взглядов, но — слишком поздно: уже был подготовлен новый состав кабинета; после одного коварного вопроса, заданного Полем Визиром и тут же превращенного в интерпелляцию, а также прекрасной речи Ипполита Сереса оно пало.

Составление нового кабинета президент Республики поручил все тому же Полю Визиру, который, несмотря на свой возраст, успел уже дважды быть министром, — очаровательному молодому человеку, завсегдатаю танцевальных залов и театральных кулис, очень артистичному, очень светскому и тонкому, поразительно умному и деятельному. Поль Визир составил правительство, рассчитанное на то, чтобы сделать передышку и успокоить встревоженную общественность, — вот почему один из портфелей был предложен Ипполиту Сересу.

Новые министры, принадлежа ко всем группам большинства, представляли самые разнообразные и самые противоположные точки зрения,

но все были умеренными и безусловно консервативными[25]. Из старого кабинета остался только министр иностранных дел, чернявый человек по фамилии Кромбиль, работающий четырнадцать часов в сутки в упоении великими замыслами, молча, таясь даже от собственных дипломатических агентов, чрезмерно беспокойный, но тщетно пытавшийся внушить свое беспокойство другим, ибо народы невероятно беспечны, да и правители не менее того.

Общественные работы отдали в ведение Фортюне Лаперсона, социалиста. Тогда в политической жизни существовало правило, одно из самых незыблемых, самых строгих, самых суровых и, смею сказать, самых ужасных и жестоких, — включать в состав любого правительства, призванного бороться с социализмом, члена социалистической партии, чтобы враги богатства и собственности испытывали горький стыд, когда на них обрушивался их же собрат, и не могли

---

[25] Примечания: 25

Так как это правительство оказало значительное воздействие на судьбы страны и всего мира, считаем своим долгом привести здесь его состав: председатель совета министров и министр внутренних дел — Поль Визир; министр юстиции — Пьер Бук; иностранных дел — Виктор Кромбиль; финансов — Террасон; народного просвещения — Лабийет; торговли, почт и телеграфов — Ипполит Серес; земледелия — Олак; общественных работ — Лаперсон; военный министр — генерал Дебоннер; морской — адмирал Вивье де Мюрен. — *Примеч. авт.*

сойтись в своем кругу, не ища глазами, кто же завтра покарает их. Только при полном незнании сердца человеческого можно думать, что среди социалистов было трудно найти пригодного для подобной деятельности. Гражданин Фортюне Лаперсон вступил в кабинет Визира без какого-либо понуждения, по своей воле; и его одобряли даже иные из прежних друзей — так велико было преклонение пингвинов перед всякой властью!

Генерал Дебоннер получил портфель военного министра; он считался одним из самых способных генералов пингвинской армии, но подпал под влияние особы сомнительной нравственности, баронессы де Бильдерман, уже вступившей в возраст интриг, однако еще красивой и состоявшей на жалованье у соседней вражеской державы.

Новый морской министр, почтенный адмирал Вивье де Мюрен, по всеобщему признанию — превосходный знаток морского дела, отличался набожностью, которую следовало бы счесть чрезмерной для антиклерикального правительства, если бы республика, отделившая церковь от государства, не признала религию все же полезной для мореплавания. По указанию преподобного отца Дуйяра, своего духовного руководителя,

почтенный адмирал Вивье де Мюрен отдал экипажи военных кораблей под покровительство блаженной Орброзы и заказал христианским бардам песнопения во славу алькской девственницы, заменившие для военно-морского флота национальный гимн.

Правительство Визира открыто объявило себя антиклерикальным, но уважающим религиозные убеждения; оно поставило себе задачей благоразумные реформы. Поль Визир и его сотрудники стремились к реформам, и если воздерживались от предложения реформ, то единственно для того, чтобы не скомпрометировать их: истинные политики, они знали, что стоит только предложить реформу, как она уже оказывается скомпрометированной. Это правительство было встречено с одобрением, успокоило порядочных людей и вызвало повышение ренты.

Оно сообщило о постройке четырех броненосцев, о преследованиях, предпринимаемых против социалистов, и обнаружило непоколебимое намерение отвергнуть введение какого-либо подоходного налога, как неизбежно связанного с сыском. Особенно благожелательно встретила большая пресса назначение Террасона министром финансов. Уже не впервые занимавший

министерский пост и прославившийся своими смелыми биржевыми спекуляциями, Террасон способен был оправдать все надежды финансистов своим приходом к власти, предвещавшим большое оживление в делах. Вскоре предстояло набухнуть млеком богатства всем трем сосцам современного государства: массовой скупке товаров, ажиотажу и мошеннической спекуляции. Уже поговаривали о дальних военных экспедициях, о приобретении колоний, а самые смелые выдвигали в газетах проект военного и финансового протектората над Нигритией. Не успев еще проявить себя в полной мере, Ипполит Серес, однако, рассматривался уже как человек ценный; деловые круги питали к нему уважение. Его приветствовали со всех сторон за разрыв с крайними партиями, с опасными людьми, за его чувство ответственности перед государством.

Госпожа Серес одна блистала среди всех министерских дам. Кромбиль был старый холостяк; Поль Визир женился на богатой, очень достойной девушке из семьи крупных фабрикантов северной провинции, мадемуазель Бланпиньон, благовоспитанной, всеми уважаемой, скромной, вечно больной и по состоянию здоровья почти все время живущей у своей матери, далеко от

столицы. Остальные министерши не были рождены чаровать взоры; заметка о том, что на бал во дворец президента г-жа Лабийет явилась с райскими птичками в волосах, вызывала улыбку. Супруга адмирала Вивье де Мюрена, из хорошей семьи, была поперек себя толще, багрова лицом, горласта, как уличный разносчик, и сама ходила за покупками на рынок. Генеральша Дебоннер, длинная, сухопарая, прыщеватая, ненасытная любительница молодых офицеров, погрязшая в пороках и смертных грехах, пользовалась уважением только из-за своего безобразия и наглости.

Госпожа Серес была красой министерства и воплощением достоинства. Молодая, красивая, безупречной репутации, она пленяла в равной степени и светское общество, и толпу, сочетая элегантный туалет с ясной улыбкой.

Ее салон вскоре был наводнен крупными еврейскими финансистами. Она давала самые изысканные garden parties[26] во всей республике. Газеты помещали описание ее туалетов, а знаменитые портные не брали с нее денег. Она ходила в церковь, защищала часовню Св. Орброзы от народной недоброжелательности и поддержи-

---

[26] Примечания: 26
Приемы гостей в саду (*англ.*).

вала в сердце аристократов надежду на новый конкордат.

Золотые волосы, голубовато-серые глаза, гибкая, тонкая фигура, точеный стан — все в ней было красиво; она пользовалась превосходной репутацией — и сохранила бы ее, даже застигнутая врасплох во время любовного свидания: так была она ловка и спокойна, так владела собою.

Сессия закончилась победой кабинета, отвергшего, под единодушные рукоплескания почти всей палаты, проект «сыщицкого» налога, и триумфом г-жи Серес, устроившей у себя один за другим три торжественных приема в честь трех приезжих королей.

Глава VI
Диван фаворитки

Во время каникул председатель совета министров пригласил супругов Серес провести недельки две в горах, в снятом им на лето замке, где он жил один. Здоровье г-жи Визир, поистине плачевное, не позволило ей поехать вместе с мужем; она осталась у родителей, в глуши северной провинции.

Замок некогда принадлежал любовнице одного из последних королей Альки; в гостиной сохранялась прежняя мебель и, как в былые времена, стоял диван фаворитки. Окрестности были очаровательны; красивая голубая речка Эзель протекала у подножия холма, на котором возвышался замок. Ипполит Серес любил удить рыбу: за этим однообразным занятием ему приходили в голову его лучшие парламентские комбинации и самые счастливые ораторские находки. Эзель кишела форелью — он ловил ее с утра до ночи, сидя в лодке, любезно предоставленной ему председателем совета министров.

А тем временем Эвелина и Поль Визир иной раз

прогуливались по саду, иной раз болтали в гостиной. Эвелина, отдавая себе отчет в том, насколько он обаятелен с женской точки зрения, до тех пор кокетничала с ним лишь слегка, от случая к случаю, без особых намерений и определенной цели. Он был знаток и видел, что она красива; палата и Опера не оставляли ему свободного времени, но здесь, в маленьком замке, голубовато-серые глаза и точеный стан Эвелины приобретали ценность в его глазах. Как-то раз, пока Ипполит Серес ловил в речке рыбу, Поль Визир усадил Эвелину на диван фаворитки рядом с собою. В просветы меж занавесей, служивших защитой от жары и яркого солнечного света, длинные золотые лучи ударяли в грудь Эвелины, как стрелы притаившегося Амура. Под белым муслином обрисовывалась вся юная грация ее форм, удлиненных и вместе с тем округлых. От бархатистой, слегка влажной кожи исходил запах свежего сена. Поль Визир поступил, как требовали обстоятельства; она охотно подчинилась игре случая и светских отношений. Она считала, что все это пустяки или нечто не столь уж значительное, — но ошиблась!

«На городской площади, с солнечной стороны, — говорится в знаменитой немецкой балладе, — на стене, увитой глицинией, висел

хорошенький ящик для писем, называвшийся Почта, синий, как василек. Почта всегда была весела и спокойна.

Каждый день к Почте подходили, стуча грубыми башмаками, мелкие торговцы, богатые фермеры, бюргеры, сборщик налогов, жандармы и опускали в нее деловые письма, счета, вызовы в суд, извещения по налоговым сборам, судебные прошения и повестки о призыве на военную службу; Почта оставалась веселой и спокойной.

Радостные или озабоченные, шли к ней поденщики и батраки, служанки и кормилицы, счетоводы, канцелярские писцы, хозяйки с младенцами на руках; они опускали туда сообщения о крестинах, свадьбах и похоронах, письма женихов и невест, письма мужей и жен, матерей — к сыновьям и сыновей — к матерям. Почта оставалась веселой и спокойной.

В сумерки пробирались к ней украдкой юноши и девушки и опускали в нее любовные письма, то с расплывшимися от слез чернилами, то с кружочком в том месте, куда пришелся поцелуй, и все чрезвычайно длинные; она оставалась веселой и спокойной.

Богатые коммерсанты приходили из предосторожности сами, к моменту выемки писем, и

опускали конверты со вложением, за пятью красными печатями, набитые банковыми билетами или чеками на крупные финансовые конторы Империи; она оставалась веселой и спокойной.

Но однажды Гаспар, которого она никогда прежде не видела, о котором и знать не знала, пришел опустить какую-то записку, сложенную в виде маленькой шапочки, — вот все, что о ней известно; и тут хорошенькая Почта упала в истоме. С тех пор она навсегда покинула свое привычное место; она бегает по улицам, по лесам и лугам, обвитая плющом, в венке из роз. Вечно носится по горам и долам; полевой сторож застиг ее както в поле, среди колосьев, в объятиях Гаспара, которого она целовала в губы».

Поль Визир уже овладел собой, а Эвелина еще лежала на диване фаворитки, полная сладостного изумления.

Преподобный отец Дуйяр, тонкий знаток богословской этики, сохранивший твердые принципы и во времена упадка церкви, был совершенно прав, утверждая, согласно учению Святых Отцов, что если женщина совершает тяжкий грех, отдаваясь за деньги, то еще более тяжкий грех совершает она, отдаваясь даром, ибо в первом случае она поступает так ради средств

к существованию и заслуживает порою если не оправдания, то прощения, оставаясь все же достойной милосердия Божия, поелику Бог ведь запрещает самоубийство и не хочет, чтобы его создания, эти храмы Господни, сами себя уничтожали; к тому же, отдаваясь для того, чтобы поддержать свою жизнь, она пребывает смиренной и не получает удовольствия, что облегчает ее грех. Но женщина, отдающаяся даром, грешит, наслаждаясь, ликует в падении своем. От гордыни и сладострастия, коими она усугубляет свой грех, еще увеличивается его гибельная тяжесть.

Пример г-жи Серес должен был показать всю глубину этих нравственных истин. Она обнаружила в себе чувственность; до тех пор она и не подозревала о ней; понадобился только один миг, чтобы заставить ее сделать это открытие, изменить весь ее душевный склад, перевернуть всю ее жизнь. На первых порах было так чудесно научиться познавать себя; γνωθι σεαϑτόν[27] античной философии не такое предписание, которое было бы приятно осуществлять в области духовной, ибо познание собственной души никого не может особенно радовать: совсем иное дело

[27] Примечания: 27
Познай самого себя (*греч.*).

— применение его в области жизни телесной, где нам могут открыться источники наслаждений. Эвелина сразу воспылала к своему наставнику признательностью, равной его благодеянию, и вообразила, что тот, кто раскрыл перед ней бездны райского блаженства, один владеет ключом от них. Не ошибалась ли она и не могла ли найти еще других обладателей золотого ключа? Трудно сказать. Но когда все эти факты сделались достоянием гласности, что, как мы увидим, не замедлило произойти, профессор Гэддок рассмотрел их в одном специальном научном журнале с экспериментальной точки зрения и пришел к выводу, что для г-жи С. шансы найти вполне эквивалентную замену г-на В. равнялись 3,05 на 975 008 случаев. Иначе говоря, такой замены не нашлось бы. По-видимому, Эвелина инстинктивно чувствовала это, потому что привязалась к г-ну Визиру до умопомрачения.

Я изложил эти факты с теми подробностями, которые должны, мне кажется, заинтересовать философические умы, склонные к раздумьям. Диван фаворитки достоин войти в историю; на нем решались судьбы великого народа. Да что я! На нем совершилось деяние, отголоскам коего предстояло распространиться на соседние

государства, дружественные и враждебные, и даже на все человечество. События подобного рода, при всей своей бесконечной значительности, слишком часто ускользают от внимания тех людей поверхностного ума и неглубоких чувств, которые необдуманно берут на себя смелость писать историю. Потому-то нам остаются неизвестны тайные пружины событий; падение империй, смены власти удивляют нас и кажутся нам непонятными только потому, что мы не знаем какой-нибудь незаметной мелочи, упустили какую-нибудь потаенную крошечную деталь, которая, будучи приведена в движение, все сокрушила, все опрокинула. Автору этой большой исторической работы лучше, чем кому-либо, известны все ее недостатки и упущения, но он, во всяком случае, может заверить, что всегда соблюдал то чувство меры, ту серьезность и строгость, которых требует повествование о событиях государственной важности, и ни в чем не нарушал серьезного тона, приличествующего рассказу о человеческих деяниях.

Глава VII
Первые последствия

Когда Эвелина призналась Полю Визиру, что ни разу в жизни не испытывала ничего подобного, он ей не поверил. Хорошо изучив женщин, он знал, что они часто говорят это мужчинам, чтобы еще больше разжечь их любовь. Таким образом, его опытность, как часто бывает, ввела его в заблуждение. Недоверчивый, но все же польщенный, он вскоре почувствовал, что увлечен ею, и даже больше чем увлечен. Сначала такое состояние оказало благотворное действие на его умственные способности; в главном городе своего округа Визир произнес изящную, блестящую, исключительно удачную речь, признанную шедевром его ораторского искусства.

Возобновление сессии прошло тихо и мирно; лишь кое-какие единичные недоброжелатели, кое-какие пока еще не осмелевшие честолюбцы пробовали поднять голову. Но достаточно было улыбки председателя совета министров, чтобы развеять эти призраки. Визир и Эвелина виделись по два раза в день, а в промежутках

посылали друг другу записки. Он был опытен по части любовных связей, был ловок и умел быть скрытным. Но Эвелина проявляла безумную неосторожность; она подчеркивала их близость при встрече с ним в гостиных, в театре, в палате депутатов, в посольствах. Все в ней говорило о ее любви — лицо, движения тела, влажное сияние глаз, томная улыбка губ, трепещущая грудь, мягкие линии бедер, какая-то новая особенность ее красоты, что-то нервное, вызывающее, бесшабашное. Вскоре вся страна знала об их связи; иностранные дворы были информированы; только президент Республики да муж Эвелины все еще ничего не подозревали. Президент узнал об этом в деревне, из полицейского донесения, бог весть как очутившегося у него в чемодане.

Ипполит Серес, не отличаясь ни чуткостью, ни проницательностью, замечал, правда, что в семейной жизни его что-то изменилось. Эвелина, еще недавно интересовавшаяся его делами и выказывавшая если не настоящую нежность, то, по крайней мере, дружеские чувства, с некоторых пор стала проявлять к нему полное безразличие и даже отвращение. Она и прежде отлучалась из дому, долго просиживала в Обществе св. Орброзы; но теперь, уходя с самого утра, она не бывала дома

весь день и только в девять часов вечера, с лицом сомнамбулы, садилась за стол. Муж находил это просто нелепым; и все же он мог бы остаться в неведении — полное незнание женщин, наивная вера в себя и в свою удачливость помешали бы ему открыть истину, если бы любовники сами, так сказать, не натолкнули его на это.

Когда Поль Визир приходил к Эвелине домой и заставал ее одну, они, целуясь, говорили друг другу: «Не здесь! Не здесь!» — и тотчас переходили на подчеркнуто сдержанный тон. Это было для них правилом, не допускающим отступлений. Но однажды Поль Визир, как было условлено с его коллегой Сересом, зашел к нему домой поговорить о делах; вышла Эвелина — министр почт и телеграфов задержался «в недрах» какой-то комиссии.

— Не здесь! — с улыбкой сказали друг другу любовники.

Они говорили это, приблизив губы к губам, и слова сопровождались поцелуями, тесными объятиями, коленопреклонениями. Они все еще продолжали такого рода беседу, когда в гостиную вошел Ипполит Серес.

Поль Визир не потерял присутствия духа: он стал уверять г-жу Серес, что при всем старании

никак не может вынуть у нее из глаза соринку. С помощью такого приема он и не надеялся ввести мужа в обман, но по крайней мере имел возможность благопристойно удалиться.

Ипполит Серес был ошеломлен. Поведение Эвелины казалось ему необъяснимым. Он спрашивал ее, чем оно вызвано.

— Но почему? Почему? — повторял он без конца. — Почему?..

Она все отрицала, не рассчитывая, разумеется, что он ей поверит, — ведь он застал их, — но ради удобства, из чувства приличия и для того, чтобы уклониться от неприятных объяснений.

Ипполит Серес испытывал все муки ревности. Он в этом сам себе признавался; он думал: «Я сильный человек; я облечен в панцирь, но под ним — рана, в самом сердце».

И, печально глядя на жену, блистающую сладострастной и грешной красотою, он говорил ей:

— Уж с этим ты не должна была!..

И он был прав. Эвелина не должна была заводить любовника из среды правительства.

Он так страдал, что схватил револьвер и крикнул: «Я убью его!» Но тут же подумал, что министру почт и телеграфов не пристало убивать председателя совета министров, и спрятал

револьвер в ночной столик.

Проходила неделя за неделей, а страдания его не утихали. Каждое утро он надевал поверх своей раны панцирь сильного человека и пытался найти забвение в работе и почестях, но все было напрасно. Каждое воскресенье он выступал в торжествах по случаю открытия памятников в виде бюстов или статуй, по случаю таких нововведений, как фонтаны, артезианские колодцы, больницы, диспансеры, железные дороги, каналы, крытые рынки, канализационные спуски, триумфальные арки, базарные площади и бойни, и произносил пламенные речи. В жгучей жажде деятельности он читал и читал деловые бумаги, проглатывал их целыми кипами; за какую-нибудь неделю он четырнадцать раз менял цвет почтовых марок. И все же вновь и вновь поднималась в нем горькая и яростная злоба, сводившая его с ума. Случалось, он на целые дни терял способность соображать. Служи он в каком-нибудь частном учреждении, там давно бы это заметили, но гораздо труднее распознать безумие или бред у вершителей государственных дел. Как раз в это время служащие разных ведомств создавали ассоциации и союзы, дойдя в своем возбуждении до того, что напугали парламент и общественное

мнение. Особенным синдикалистским пылом отличались почтальоны.

Ипполит Серес циркулярно объявил о полной законности их действий. А на другой день выпустил новый циркуляр, которым всякие объединения государственных служащих воспрещались как незаконные. Он уволил сто восемьдесят почтальонов, потом снова их зачислил, потом объявил им выговор, потом наградил их. В совете министров он каждую минуту готов был вскипеть — разве только присутствие главы государства удерживало его в границах благопристойности; и, не осмеливаясь схватить за горло своего соперника, он, чтобы отвести душу, поносил главу армии, всеми уважаемого генерала Дебоннера, который, впрочем, ничего не слышал, так как был туг на ухо да к тому же вечно занят сочинением стихов для баронессы де Бильдерман. Ипполит Серес выступал без разбора против всего, что ни предложил бы председатель совета министров. Короче говоря, он совсем сошел с ума. Катастрофа, постигшая его умственные способности, пощадила Сереса лишь в одном: он сохранил парламентское чутье, уменье ладить с большинством палаты, тонкое знание группировок, точность прицела.

Глава VIII
Новые последствия

Сессия спокойно подходила к концу, и правительство не обнаружило ничего угрожающего на скамьях парламентского большинства. Однако по некоторым статьям влиятельных умеренных газет видно было, что настойчивость еврейских и христианских финансистов возрастает с каждым днем, что банковские патриоты требуют цивилизовать Нигритию с помощью военной силы и что стальной трест, томимый пылким желанием охранить наши морские границы и защитить наши колонии, исступленно добивается постройки все новых и новых броненосцев. Распространялись слухи о войне, но такого рода слухи возникали каждый год с регулярностью пассатных ветров; серьезная публика не придавала им значения, и правительство могло предоставить им самим постепенно заглохнуть, при условии если они не начнут усиливаться и проникать повсюду, вызывая смятение в стране. Финансисты хотели только колониальных войн; народ не хотел никаких войн; ему нравилось гордое и даже

вызывающее поведение правительства, но при малейшем признаке назревающего европейского конфликта народное возмущение передалось бы палате. Поль Визир был совершенно спокоен: он считал, что положение в Европе не давало повода тревожиться. Его раздражало только маниакальное молчание министра иностранных дел. Этот гном являлся в совет министров с портфелем больше его самого, битком набитым бумагами, не говорил ни слова, отказывался отвечать на какие бы то ни было вопросы, даже на заданные самим уважаемым президентом республики; утомленный упорными трудами, он пользовался случаем вздремнуть в своем кресле, и только его черный хохолок виднелся над зеленым сукном стола. Между тем Ипполит Серес снова становился сильным человеком; вместе со своим коллегой Лаперсоном он часто кутил в обществе актрис; по ночам можно было нередко видеть, как они оба, выделяясь высоким ростом и новыми цилиндрами среди компании женщин с накинутыми на голову шалями, входили в модные кабачки, — и вскоре они сделались популярнейшими личностями на бульварах. Они развлекались, но страдали. Фортюне Лаперсон тоже скрывал под панцирем рану: его жена, молоденькая модистка,

которую он отбил у одного маркиза, ушла к шоферу. Лаперсон по-прежнему любил ее; он никак не мог забыть свою утрату, и часто два министра, где-нибудь в отдельном кабинете ресторана, под смех женщин, высасывающих клешни омара, обменивались печальным взглядом и отирали слезы.

Ипполит Серес, хотя и получил удар в самое сердце, не признавал себя побежденным. Он поклялся отомстить.

Супруга Поля Визира, вынужденная из-за плачевного состояния здоровья оставаться пока у родителей, в глуши пасмурной провинции, получила анонимное письмо, где сообщалось, что г-н Поль Визир, который не имел ни гроша, когда на ней женился, теперь растрачивает приданое г-жи Визир — да, да, ее приданое! — с одной замужней женщиной, некоей Э… С… (расшифруйте сами!), дарит этой женщине автомобили в тридцать тысяч франков, жемчужные колье в восемьдесят тысяч и быстро идет к полному разорению, позору и гибели. Г-жа Визир прочла, истерически зарыдала и протянула письмо отцу.

— Я надеру ему уши, муженьку твоему, — сказал г-н Бланпиньон. — Если дать этому мальчишке волю, он сделает тебя нищей. Пускай он предсе-

датель совета министров, я его не боюсь.

Прямо с поезда г-н Бланпиньон отправился в министерство внутренних дел и был сейчас же принят. Разъяренный, вошел он в кабинет председателя совета министров.

— Мне нужно с вами поговорить, милостивый государь! — сказал он, воинственно взмахнув анонимным письмом.

Поль Визир встретил его радостной улыбкой.

— Отец, дорогой мой, как хорошо, что вы приехали! А я только что собирался вам писать... Да, да, хотел вам сообщить, что вы награждены офицерским орденом Почетного легиона. Я сегодня утром послал бумаги на подпись.

Господин Бланпиньон горячо поблагодарил зятя и кинул анонимное письмо в огонь.

Вернувшись к себе в провинцию, он застал дочь в раздражении и тоске.

— Ну, что ж, видел твоего мужа. Чудесный малый! Сама виновата, не умеешь держать его в руках.

Вскоре Ипполит Серес узнал из какой-то грязной газетенки (ведь только из газет и узнают министры о государственных делах), что председатель совета министров каждый вечер обедает у мадемуазель Лизианы из «Фоли драматик»,

по-видимому не на шутку подчинившей его своим чарам. После этого Серес стал со злорадством наблюдать за женой. По вечерам она возвращалась с большим опозданием — обедать или переодеться, чтобы ехать в гости, — и на лице ее было выражение счастливой усталости и тихой удовлетворенности.

Решив, что она еще ничего не знает, он стал посылать ей анонимные сообщения. Она читала их за столом, в его присутствии, все такая же радостная и томная.

Тогда Серес подумал, что она, видимо, не доверяет голословным предостережениям и, чтобы встревожить ее, надо дать ей прямые доказательства, предоставить случай самой убедиться в неверности и измене. У него при министерстве состояли надежные агенты для секретных расследований в интересах государственной обороны, как раз в это время следившие за шпионами, завербованными соседней вражеской державой в самом министерстве почт и телеграфов. Г-н Серес приказал агентам приостановить слежку за шпионами и разузнать, где, когда и как министр внутренних дел встречается с Лизианой. Агенты добросовестно выполнили поручение и сообщили министру, что они несколько раз

заставали г-на председателя совета министров с женщиной, но что это была не Лизиана. Ипполит Серес не стал расспрашивать подробнее. Он поступил правильно: любовь Поля Визира к Лизиане была выдумана самим Полем Визиром, чтобы создать алиби и успокоить Эвелину, тяготившуюся теперь своей славой и жаждавшую укрыться в тени.

За ними следили не только филеры министерства почт и телеграфов; за ними следили и агенты префекта полиции, и даже те агенты министерства внутренних дел, которые оспаривали друг у друга право их охранять, и сотрудники многочисленных роялистских, империалистских и клерикальных агентур, и сотрудники десятка шантажных предприятий, и сыщики-любители, и множество репортеров, и толпы фотографов, так что всюду, где бы Поль Визир и Эвелина ни искали приюта для своей кочующей любви — в больших отелях и маленьких гостиницах, в городе и за городом, в меблированных комнатах и замках, в музеях, дворцах и притонах, — всюду появлялись соглядатаи, подстерегая их на улице, в окрестных домах, на деревьях, на оградах и на ступеньках, на площадках лестниц и на крышах, в смежных квартирах и в каминах. Министр и

его подруга с ужасом замечали, что в их спальне были везде пробуравлены отверстия в дверях и ставнях, просверлены дыры в стенах. Уже кто-то ухитрился, за неимением лучшего, сфотографировать г-жу Серес в одной рубашке, занятую застегиванием ботинок.

Поль Визир, обозленный, выведенный из терпения, начинал уже изменять своему жизнерадостному, приятному характеру; он приходил на заседания совета министров взбешенный и набрасывался все на того же генерала Дебоннера, столь храброго в бою, но допустившего в армии полный упадок дисциплины; он осыпал сарказмами все того же адмирала — уважаемого всеми Вивье де Мюрена, у которого корабли шли ко дну безо всякой видимой причины.

Фортюне Лаперсон слушал его, выпучив глаза в насмешливом удивлении, и бормотал сквозь зубы:

— Мало ему, что он отнял у Ипполита Сереса жену, — теперь перенимает и его стиль!

Оскорбительные выходки Визира, ставшие известными из-за болтливости министров и жалоб обоих старых сановников, грозивших швырнуть свои портфели в лицо этому хлыщу, но не приводивших свои угрозы в исполнение, ничуть не

повредили счастливому главе кабинета министров, а напротив — произвели самое лучшее впечатление на парламент и публику как доказательство горячих забот о национальной армии и флоте. Председатель совета министров вызывал всеобщее одобрение.

Поздравлявшим его депутатским группам и сановникам он отвечал твердо и просто:

— Таковы мои принципы.

И посадил в тюрьму семь-восемь социалистов. Когда сессия закрылась, Поль Визир, донельзя усталый, поехал на воды. Ипполит Серес отказался оставить свое министерство, где развивал шумную деятельность профессиональный союз телефонисток. Он принял против них неслыханно суровые меры, так как сделался женоненавистником. По воскресеньям он вместе со своим коллегой Лаперсоном ездил в пригород и удил там рыбу, не снимая цилиндра, с которым не разлучался после того, как стал министром. Забывая о поплавках, они жаловались друг другу на женское непостоянство и делились своим горем.

Ипполит по-прежнему любил Эвелину и по-прежнему страдал. Но в сердце его закралась надежда. Он разлучил на некоторое время Эвелину с любовником и, рассчитывая вновь завоевать

ее, направил на это все усилия, пустил в ход всю свою ловкость, выказал себя искренним, предупредительным, нежным, преданным, даже сдержанным. Само сердце подсказывало ему эти тонкости в обращении. Он находил для изменницы самые очаровательные и самые трогательные слова; чтобы ее смягчить, поведал ей обо всех своих страданиях. Стягивая на животе пояс брюк, он говорил:

— Смотри, как я похудел.

Он обещал ей все, что, по его мнению, может нравиться женщине, — поездки за город, шляпки, драгоценности.

Иногда ему казалось, что он вызвал в ней наконец чувство жалости. С ее лица уже сошло дерзко-счастливое выражение. Печаль, вызванная разлукой с Полем, придавала ей некоторую мягкость. Но стоило мужу сделать хотя бы движение, чтобы завоевать ее вновь, — и она отталкивала его, неприступная, мрачная, защищенная своим грехом, как золотым поясом.

Он не переставал умолять ее, униженный и жалкий.

Однажды он явился к Лаперсону и сказал ему со слезами на глазах:

— Поговори хоть ты с нею!

Лаперсон уклонился, считая свое вмешательство бесполезным, но дал другу кое-какие советы.

— Покажи, что ты ею пренебрегаешь, что полюбил другую, — и она к тебе вернется.

Решив испытать этот способ, Ипполит пустил через газеты слух, будто он пропадает у мадемуазель Гино, актрисы Гранд-опера. Он стал поздно возвращаться, а то и совсем не ночевал дома; в присутствии Эвелины притворялся, будто не может сдержать тайную радость; за обедом вытаскивал из кармана раздушенное письмо и читал его с напускным наслаждением, выпячивая губы, словно в мечтах тянулся к другим невидимым губам. Все напрасно. Эвелина даже не замечала его уловок. Бесчувственная ко всему окружающему, она выходила из летаргического состояния только затем, чтобы попросить у мужа несколько луидоров, а если он отказывал, бросала на него взгляд, полный отвращения, готовая его же упрекать за позор, которым сама покрыла его перед всем светом. Полюбив, она стала много тратить на свои туалеты; ей нужны были деньги, а получить их она могла только у мужа: она хранила верность.

Он потерял терпение, был вне себя, угрожал

ей револьвером. Как-то он сказал при ней г-же Кларанс:

— Поздравляю, сударыня: вы воспитали свою дочь, как продажную девку.

— Мама, возьми меня отсюда! — крикнула Эвелина. — Я разведусь с ним.

Он любил ее еще безумней, чем прежде.

Свирепея от ревности, подозревая, и не без оснований, что жена посылает и получает письма, он поклялся перехватить их, восстановил у себя на почте черный кабинет, внес беспорядок в частную корреспонденцию, задерживая биржевые ордера, расстраивая любовные свидания, вызывая банкротства, разлучая влюбленных, толкая людей на самоубийство. Независимая пресса подхватила жалобы публики и с негодованием к ним присоединилась. Чтобы оправдать эти незаконные меры, правительственные газеты стали глухо намекать на какой-то заговор, на угрожающую государству опасность, на тайно подготовляемый монархический переворот. Гораздо менее осведомленные листки давали более подробные сведения, сообщали о захвате пятидесяти тысяч винтовок и о высадке принца Крюшо. В стране росло возбуждение. Органы республиканской печати требовали немедленного

созыва обеих палат. Тогда Поль Визир вернулся в Париж, собрал коллег, устроил чрезвычайное совещание совета министров и через свои агентства распространил сведения о том, что против системы народного представительства действительно существует заговор, что председатель совета министров держит все его нити в своих руках и что уже началось судебное следствие.

Он тотчас отдал распоряжение об аресте тридцати социалистов, а пока вся страна восторженно славословила его, называя своим спасителем, он, обманув бдительность шестисот сыщиков, тайком отвез Эвелину в маленькую гостиницу около Северного вокзала, где они оставались до самой ночи. После их отъезда горничная, меняя постельное белье, заметила семь маленьких крестиков, нацарапанных дамскою шпилькой на стене алькова, у изголовья кровати.

Вот все, чего достиг Ипполит Серес ценою всех усилий.

Глава IX
Окончательные последствия

Зависть — добродетель демократических государств, оберегающая их от тиранов. Депутаты начинали завидовать золотому ключу председателя совета министров. Прошел уже целый год с тех пор, как всему свету стало известно, что он покорил прекрасную г-жу Серес; даже провинция, куда новости и моды проникают лишь после того, как Земля сделает полный оборот вокруг Солнца, тоже узнала наконец о незаконной любви, проникшей в совет министров. Провинция блюдет строгую нравственность; женщины там более добродетельны, чем в столице. Это объясняют разными причинами: воспитанием, влиянием примеров, простотою жизненного уклада. Профессор Гэддок утверждает, будто добродетель провинциалок всецело зависит от того, что они носят обувь на низких каблуках. «Женщина только тогда вызывает в цивилизованном мужчине подлинно эротическое чувство, — писал он в научной статье, на страницах “Антропологического обозрения”, — когда ступня ее образует с поверх-

ностью земли угол в двадцать пять градусов. Если угол этот увеличивается до тридцати пяти градусов, эротическое воздействие данной особи приобретает острый характер. В самом деле, при вертикальном положении корпуса от ступни зависит соответственное расположение его частей и особенно таза, равно как живая взаимосвязь между поясницей и скоплением мышц в задней верхней части ляжек. А так как всякий цивилизованный мужчина подвержен извращенной наклонности к деторождению и связывает мысль о сладострастии (по крайней мере, при вертикальном положении особи) только с женскими формами, расположенными в том именно соотношении объемов и в той уравновешенности, которые определяются вышеуказанным наклоном стопы, — то, следовательно, провинциальные дамы, носящие обувь на низких каблуках, вызывают слабое желание (по крайней мере, в вертикальном положении) и без труда сохраняют добродетель». Эти выводы не получили общего признания. В противовес им указывали на то, что и в столице, под влиянием английской и американской моды, распространилась обувь на низких каблуках, не вызывая, однако, тех последствий, о которых говорил ученый профессор;

что, впрочем, и разница, усматриваемая между столичными нравами и провинциальными, имеет, быть может, иллюзорный характер, а если и существует, так, вероятно, объясняется тем, что большие города представляют для любви всяческие возможности и удобства, которых нет в маленьких городах. Как бы там ни было, но провинция стала осуждать председателя совета министров, обвиняя его в безнравственности. Это не внушало особенной тревоги, но, быть может, только до поры до времени.

Пока опасности не было нигде — и она была повсюду. Парламентское большинство сохраняло устойчивость, но лидеры становились требовательными и угрюмыми. Быть может, Ипполит Серес никогда не решился бы пожертвовать своими интересами ради мести. Но, рассудив, что теперь можно без ущерба для собственного успеха исподтишка подорвать успех Поля Визира, он начал изощряться в осторожной и хитрой подготовке всяких трудностей и ловушек для главы правительства. Далеко уступая своему сопернику в отношении таланта, образования и авторитета, он значительно превосходил его в искусстве кулуарных интриг. Именно его уклончивой позиции наиболее проницательные

парламентские деятели приписывали ослабление большинства, недавно обозначившееся. На заседаниях комиссий он проявлял намеренную неосторожность, благосклонно принимая требования об отпуске кредитов, так как он прекрасно знал, что председатель совета министров не может скрепить их своей подписью. Однажды его тонко рассчитанная оплошность вызвала резкий и бурный конфликт между министром внутренних дел и докладчиком по бюджету этого ведомства. Тут Серес испугался и решил сделать передышку. Свалить правительство слишком рано было бы опасно для него самого. Его изобретательная ненависть нашла для себя окольные пути. У Поля Визира была бедная родственница, легкомысленная особа, носившая его фамилию. Серес, очень кстати вспомнив о существовании девицы Селины Визир, помог ей выйти из безвестности, свел ее с мужчинами и женщинами сомнительного круга и устроил ей несколько ангажементов в кафешантаны. Вскоре, по его подсказке, она стала разыгрывать во всяких «Эльдорадо» пантомимы однополой любви, под свист и хохот публики. Как-то раз, летней ночью, в одном увеселительном заведении на Елисейских Полях она исполняла перед возбужденной тол-

пой непристойные танцы — под звуки бешеной музыки, которые доносились до сада, где президент Республики давал праздник в честь каких-то королевских особ. Фамилия Визир, связанная с этими непристойностями, испещряла все стены в городе, беспрестанно мелькала в газетах, разносилась на листках, украшенных вольными виньетками, по кофейням и публичным балам, сверкала огненными буквами на бульварах.

Председателю совета министров никто не ставил в укор недостойное поведение его родственницы, но создавалось плохое мнение о его семье, и престиж государственного деятеля от этого несколько пострадал.

Вскоре Визира постигла новая неприятность. Однажды в палате, при обсуждении самого обычного вопроса, министр народного просвещения и вероисповеданий Лабийет, страдавший болезнью печени и доведенный до белого каления настойчивостью и интригами церковников, пригрозил закрыть часовню Св. Орброзы и неуважительно отозвался о национальной святой. Все правые вскочили как один, выражая возмущение; левые, с явной неохотой, все же поддержали дерзкого министра. Руководители большинства не считали нужным нападать на национальный

культ, приносивший стране тридцать миллионов годового дохода; самый умеренный из правых, г-н Бигур, сделал по поводу этого случая запрос, поставив правительство в опасное положение. К счастью, министр общественных работ Фортюне Лаперсон, — как всегда, в полном сознании ответственности государственного деятеля, — взял слово вместо отсутствующего председателя совета министров и сгладил впечатление от неуклюжей, грубой выходки своего коллеги — министра вероисповеданий. Он поднялся на трибуну, чтобы засвидетельствовать уважение, питаемое правительством к небесной заступнице страны, утолительнице стольких страданий, перед которыми наука признает себя бессильной.

Когда Поль Визир, с трудом извлеченный из объятий Эвелины, появился наконец в палате, министерство было уже спасено, но председатель совета министров счел необходимым сделать существенные уступки правящим классам; он внес в парламент предложение о постройке шести броненосцев и таким способом снова завоевал симпатии стального треста; он подтвердил, что рента не будет подлежать обложению налогами, и приказал арестовать восемнадцать социали-

стов.

Но его ожидали еще более грозные опасности. Канцлер соседней империи, выступая с речью о международных отношениях своего государя, между тонкими замечаниями и глубокими суждениями ввернул лукавый намек на любовные страсти, которыми вдохновляется политика некоей великой державы. Это едкое словцо, встреченное улыбками в имперском парламенте, не могло не вызвать раздражения недоверчиво настроенной республики и повлекло за собою болезненный взрыв ее национального самолюбия, причем вся вина пала на влюбленного министра; депутаты воспользовались самым пустым предлогом, чтобы выразить свое неудовольствие. По поводу одного смехотворного случая, — а именно, придравшись к тому, что жена какого-то помощника префекта танцевала на публичном балу в «Мулен Руж», — палата вынудила правительство поставить вопрос о доверии, — правительство, правда, не пало, но удержалось лишь большинством в несколько голосов. По общему мнению, Поль Визир никогда не был таким слабым, таким вялым, таким поблекшим, как на этом плачевном заседании.

Он понял, что может удержаться лишь при

помощи какого-нибудь крупного политического шага, и решил, уступая требованиям крупных финансистов и крупных промышленников, отправить экспедиционный корпус в Нигритию, что обеспечивало объединениям капиталистов огромные лесные концессии, кредитным учреждениям — заем в восемь миллиардов, офицерам армии и флота — чины и ордена. Нашелся предлог — необходимость отомстить за какое-то оскорбление, взыскать какие-то долги. Шесть броненосцев, четырнадцать крейсеров и восемнадцать транспортов вошли в устье реки Гиппопотамов. Шестьсот пирог тщетно пытались воспрепятствовать высадке войск. Пушки адмирала Вивье де Мюрена произвели потрясающее впечатление на чернокожих, которые могли ответить только градом стрел и, несмотря на свою фанатическую храбрость, были разбиты. Эта победа вызвала в Пингвинии взрыв народного энтузиазма, еще разожженного газетами, состоящими у финансистов на содержании. Лишь несколько социалистов выступили с протестом против варварского предприятия, нечистоплотного и опасного; их немедленно арестовали.

В ту пору, когда правительство, пользовавшееся поддержкой богатых и полюбившееся также

простому люду, казалось несокрушимым, один только Ипполит Серес, умудренный своей ненавистью, прозревал опасность и, поглядывая с угрюмым злорадством на соперника, бормотал сквозь зубы: «С тобою покончено, пират!»

Пока страна упивалась славой и всякими аферами, соседняя империя протестовала против оккупирования Нигритии европейской державой, и протесты эти раздавались все чаще, становились все резче. Газеты республики, поглощенной всякими заботами, скрывали назревающую опасность, но Ипполит Серес прислушивался к тому, как все возрастают угрозы, и, решившись наконец погубить врага во что бы то ни стало, даже рискуя судьбой правительства, втайне осуществлял свой замысел. Он устроил так, чтобы официозные газеты поместили ряд статей, написанных его людьми, но якобы выражающих точку зрения самого Поля Визира, тем самым свидетельствуя о воинственных намерениях главы правительства.

Эти статьи вызывали грозные отклики за границей, а вместе с тем тревожили и общественное мнение в стране, где народ любил военных, но не любил войн. На запрос о внешней политике правительства Поль Визир ответил успокоитель-

ной декларацией, обещая поддерживать мир, если это не будет в ущерб национальному достоинству великого народа; министр иностранных дел Кромбиль тоже выступил с декларацией, в которой ничего нельзя было разобрать, так как она была составлена на дипломатическом языке; правительство получило поддержку огромного большинства.

Но слухи о войне не прекратились, и во избежание новой опасной интерпелляции председатель совета министров роздал депутатам восемьдесят тысяч гектаров леса в Нигритии, а также приказал арестовать четырнадцать социалистов. Ипполит Серес, расхаживая с мрачным видом по кулуарам, доверительно сообщал депутатам своей группы, что он упорно добивается возобладания мирной политики в совете министров и что надежда еще не потеряна.

Зловещие слухи росли с каждым днем, проникали в широкую публику, сея среди нее беспокойство и тревогу. Поль Визир сам начинал побаиваться. Особенно его смущало молчание и всегдашнее отсутствие министра иностранных дел. Кромбиль совсем перестал ходить в совет министров; вставая в пять часов утра, он просиживал за письменным столом по восемнадцать

часов в сутки и, совершенно обессиленный, падал в корзину для бумаг, откуда сторожа извлекали его вместе с разными документами, которые они тут же продавали военным атташе соседней империи.

Генерал Дебоннер считал, что начала военных действий надо ждать со дня на день; он к ним готовился. Он не только не испытывал никакого страха перед войной, но, напротив, жаждал ее и делился своими благородными надеждами с баронессой де Бильдерман, а та сообщала о них соседней державе, которая, опираясь на мнение генерала Дебоннера, поспешно проводила мобилизацию. Министр финансов, сам того не желая, ускорил ход событий. В те дни он играл на понижение; чтобы вызвать на бирже панику, он распространил слух, что теперь война уже неизбежна. Император соседней страны, поддавшись обману и опасаясь немедленного вторжения неприятеля, поспешно привел свои войска в боевую готовность. Напуганная этим, палата свергла правительство Визира огромным большинством голосов (814 против 7, при 28 воздержавшихся). Но было уже поздно; в самый день падения правительства соседняя враждебная держава отозвала своего посла и бросила восемь

миллионов человек на родную страну г-жи Серес. Эта война превратилась в мировую войну, и вся земля была затоплена морями крови.

АПОГЕЙ ПИНГВИНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Через полвека после только что изложенных нами событий г-жа Серес, окруженная почетом и уважением, умерла на семьдесят девятом году жизни, задолго до того став вдовою государственного деятеля, имя которого она с достоинством носила. Ее хоронили скромно и благоговейно; за гробом шли приходские сироты и сестры-монахини «Святого смиренномудрия».

Покойница завещала все свое достояние Обществу св. Орброзы.

— Увы, давно уже следовало какой-нибудь щедрой даятельнице оказать нам помощь в наших нуждах, — со вздохом сказал каноник собора Св. Маэля г-н Монуайе, принимая этот благочестивый дар. — Богатые и бедные, ученые и невежды отвращаются от нас. Мы стараемся вернуть заблудшие души на путь истины, но ни угрозы, ни обещания, ни кротость, ни сила — ничто не действует. Духовенство Пингвинии оплакивает свое разорение; наши сельские священники, вынужденные поддерживать свое существова-

ние самой грубой работой, погрязли в нищете и питаются объедками. В разрушенных церквах дождь с небес льет прямо на головы молящихся, и во время богослужения раздается грохот камней, падающих со сводов. Соборная колокольня накренилась и скоро совсем развалится. Святая Орброза забыта пингвинами, поклонение ей прекратилось, ее святилище запустело. На раке не осталось ни золота, ни драгоценных каменьев, и паук бесшумно ткет на ней свою паутину.

Выслушав эти сетования, Пьер Милль, сохранивший в девяностовосьмилетнем возрасте все свои умственные и нравственные силы, спросил каноника, не думает ли он, что святая Орброза когда-нибудь вновь воспрянет из столь оскорбительного для нее забвения.

— Не смею надеяться, — со вздохом отвечал г-н Монуайе.

— Да, жаль! — заметил Пьер Милль. — Орброза — прелестный образ; легенда о ней полна очарования. Недавно я совершенно случайно обнаружил рассказ об одном из самых красивых ее чудес — «Чудо с Жаном Виолем». Не угодно ли послушать, господин Монуайе?

— С удовольствием послушаю, господин Милль!

— Вот оно, в том самом виде, как я вычитал его из рукописи четырнадцатого века:

«Цецилия, жена Никола` Гобера, золотых дел мастера с Моста Менял, прожив долгие годы честно и целомудренно, под старость влюбилась в Жана Виоля, молоденького пажа графини де Мобек, проживавшей в Доме Павлина на Гревской площади. Ему не исполнилось еще восемнадцати лет; фигура и лицо у него были прехорошенькие. Чувствуя себя не в силах победить свою любовь, Цецилия решила удовлетворить ее. Она зазвала пажа к себе в дом, стала всячески ублажать его, закормила сластями и в конце концов добилась своего.

И вот однажды, когда они лежали вместе в кровати золотых дел мастера, тот вернулся домой раньше, чем предполагалось. Дверь была заперта на засов, но муж услыхал снаружи, как жена вздыхает и приговаривает: “Ах ты душенька, ах ты ангелочек, ах ты крысеночек!”; тогда, подозревая, что она затворилась с любовником, он стал ломиться в дверь, крича: “Негодница! Бесстыжая! Распутница! Потаскуха! Открывай, не то нос и уши отрежу!” Ища спасения от такой опасности, супруга золотых дел мастера вознесла мольбы святой Орброзе, обещая поставить ей большую

свечу, если святая поможет выпутаться ей и молоденькому пажу, который умирал от страха, забившись, совсем голый, за кровать.

Святая вняла ее мольбам. Она мгновенно превратила Жана Виоля в девицу. Увидя это, Цецилия пришла в себя от страха и закричала мужу: “Ах вы, грубиян! Ах, гадкий ревнивец! Будьте потише, если хотите, чтоб вам открыли!” И, продолжая стыдить его, кинулась к своему шкафу, вытащила оттуда старый женский капюшон, корсаж на китовом усе, длинную серую юбку и поспешно напялила все это на превращенного в девицу пажа. Потом сказала громким голосом: “Катерина, милочка моя, Катерина, котеночек мой! Поди открой дяде! Не бойся, он совсем не так зол, а просто глуп”. Паж, превращенный в девицу, послушался. Золотых дел мастер, войдя в комнату, увидел какую-то незнакомую юную девицу и свою жену, которая лежала в кровати. “Эх ты, дурачина! Ну что глаза выпучил? Только я легла в постель — из-за того, что живот у меня заболел, — а пришла ко мне в гости Катерина, дочка сестры моей Жанны, той, что живет в Палезо и с которой мы пятнадцать лет были в ссоре. Поцелуй же племянницу, муженек! Она заслуживает этого”. Золотых дел мастер облобызал Виоля,

почувствовав при этом, что у него нежная кожа; с той минуты он только и помышлял, как бы поскорее остаться с племянницей наедине, чтобы вдоволь нацеловаться с нею. А потом поспешил отвести ее вниз, под предлогом, что хочет угостить ее вином и засахаренными орехами, и не успели они сойти с лестницы, как стал осыпать ее любовными ласками. И зашел бы еще дальше, если бы святая Орброза не внушила его честной жене мысль пойти накрыть его. Она застигла его, когда он посадил мнимую племянницу к себе на колени, обозвала его распутником, надавала ему пощечин и заставила просить прощения. На следующее утро Виоль принял свой первоначальный вид».

Выслушав этот рассказ, преподобный каноник Монуайе поблагодарил Пьера Милля и, взяв перо, стал приводить в порядок списки возможных победителей на предстоящих скачках, — он служил писцом у букмекера.

Между тем Пингвиния богатела и процветала. У тех, кто производил предметы первой необходимости, их совсем не было. У тех, кто их не производил, они были в избытке. Таковы непреложные законы экономики — как выразился некий член Института. У великого пингвинского

народа больше не было ни традиций, ни духовной культуры, ни искусства. Прогресс цивилизации выражался у него в производстве смертоносного оружия, в бесстыдной спекуляции, в отвратительной роскоши. Столица приобрела, подобно всем большим городам того времени, облик космополитический и финансистский: в ней воцарилось безграничное, сплошное уродство. Страна наслаждалась полным спокойствием. Это был апогей.

Книга восьмая
Будущее. История без конца

Τὴ Ελλάδι πὲνίη μὲν αἰε κοτε σύντροφός ἐστι, ἀρετὴ δε ἑπακτός ἐστι, ἀπό τε σόφίης κατεργασμένη καὶ νόμου ἰσχυρόὐ[28].

Геродот. История, VII, 102

Вы, значит, не поняли, что это были ангелы.

Liber terribilis[29]

---

[28] Примечания: 28

Было так, что бедность навеки сроднилась с Элладой, — доблесть же была привнесена извне и воспитывалась мудростью и строгим законом (*греч.*).

[29] Примечания: 29

Книга ужасов (*лат.*).

Рптмжупдплблхсбочфиьптгпвпей-мйтэйирпегмбтуйлпспмжкййнржсбуп-спгрптмжупдплблпойусйзеьрспгпидмб-щбмйтгпятгпвпефпойрпешйоймйтэг-пмжхйоботпгьцлпнрбойклпупсьжсбтр-пмбдбяувпдбутугбнйтусбоьйрсйр-пн-пъйлфрмжоопкрсжттьгпиежктугфяу-обпвъжтугжоопжножойж[30].

Рсбгейгьктгйежужмэ

Мы присутствуем при возникновении такой химии, которая будет заниматься изменениями, производимыми телом, содержащим огромное количество концентрированной энергии, до сих пор в нашем распоряжении не имевшееся.

Сэр Уильям Рамзай

---

[30] Примечания: 30

Этот эпиграф представляет собой криптограмму; чтобы ее расшифровать, нужно каждую букву заменить предыдущей буквой алфавита, и тогда получится следующий текст: «После того как французы освободились из-под власти королей и императоров, после того как они трижды провозглашали свою свободу, они подчинились воле финансовых компаний, которые располагают богатствами страны и при помощи купленной прессы воздействуют на общественное мнение. // Правдивый свидетель».

§ 1

Дома все время казались недостаточно высокими; их беспрестанно надстраивали, а новые возводили в тридцать, сорок этажей, и там громоздились одни над другими конторы, магазины, банки, помещения разных обществ; а под домами все глубже и глубже рыли подземелья и тоннели.

Пятнадцать миллионов человек работало в гигантском городе при свете фонарей, горящих и ночью и днем. Ни один луч не проникал с небес сквозь дым заводов, опоясывавших город; лишь иногда было видно, как багровый и тусклый диск солнца скользит по черному небу, изборожденному железными мостами, с которых непрерывным дождем сыплется сажа и угольная пыль. Это был самый промышленный и самый богатый город во всем мире. Казалось, его организация была совершенной; в нем уже ничего не оставалось от прежних аристократических или демократических общественных форм; все было подчинено интересам трестов. В этой среде выработался новый человеческий тип, который антропологи называют типом миллиардера. Это были люди

энергичные, но вместе с тем хрупкие; люди, наделенные могучей комбинационной способностью, проводившие долгие часы в напряженной кабинетной работе, но вместе с тем страдавшие наследственным нервным расстройством, которое с возрастом усиливалось.

Как все настоящие аристократы, как патриции республиканского Рима, как лорды старой Англии, эти могущественные люди соблюдали величайшую строгость нравов. Были среди них подлинные аскеты богатства: на заседаниях трестов можно было видеть лысые головы, впалые щеки, ввалившиеся глаза, изборожденные морщинами лбы. Тела у них были еще изможденнее, чем у старых испанских монахов, лица — еще желтее, губы — еще суше, взгляд — еще воспаленней, чем у них, потому что эти миллиардеры безудержно предавались суровым подвигам банковской и промышленной деятельности. Многие из них, отказывая себе во всякой радости, во всяком удовольствии, во всяком отдыхе, не жили, а прозябали в комнате без воздуха и света, уставленной одними электрическими аппаратами, там же ужинали яйцами и молоком, там же спали на какой-нибудь койке. Занятые только тем, что нажимали пальцем на никелевую кнопку,

эти новые мистики, накапливая богатства и не видя вокруг себя даже признака их, достигали бесполезной возможности исполнять желания, которых они никогда не испытывали.

У культа богатства были и свои мученики. Так, один миллиардер, знаменитый Самуил Бокс, предпочел умереть, чем поступиться ничтожной частицей своего достояния. Один из его рабочих, став жертвой несчастного случая на предприятии и получив отказ в компенсации за увечье, стал добиваться осуществления своих прав по суду, но, обессиленный борьбою с непреодолимыми трудностями тяжбы, впал в жестокую нищету и, доведенный до отчаяния, прибег к дерзкой уловке — проник с револьвером к хозяину предприятия и потребовал заплатить положенную сумму, грозя в противном случае пустить ему пулю в лоб. Самуил Бокс платить отказался и из принципа предоставил убить себя.

Люди охотно берут пример с вышестоящих. Те, кто не владел крупными капиталами (а таких, само собой разумеется, было большинство), усиленно перенимали взгляды и нравы миллиардеров, стремясь смешаться с ними. Все чувства, препятствующие накоплению или сохранению богатства, считались позорными; не было

прощения ни вялости, ни лени, ни вкусу к бескорыстным исследованиям, ни любви к искусству, ни тем более расточительности; сострадание осуждалось как пагубная слабость. Склонность к наслаждениям порицали, но, напротив, всегда готовы были извинить грубое удовлетворение желаний: в самом деле, насилие представлялось менее вредным для нравов, так как в нем усматривали одну из форм социальной энергии. Прочными устоями государства являлись две общественные добродетели: уважение к богатым и презрение к бедным. Слабым душам, порою смущенным при виде человеческих страданий, не оставалось ничего другого, как прибегать к лицемерию, которое невозможно было порицать, поскольку оно способствовало поддержанию порядка и обеспечивало прочность общественных установлений.

Таким образом, среди богатых людей все были преданы существующему строю или казались ему преданными; все подавали пример этой преданности, если даже сами не всегда следовали такому примеру. Некоторые жестоко страдали от условий своего существования, но поддерживали их из гордости или по обязанности. Кое-кто пытался хоть ненадолго избавиться от

этих условий, действуя тайком и при помощи разных хитростей. Один из них, Эдуард Мартен, председатель железного треста, иногда переодевался нищим, чтобы выпрашивать милостыню у прохожих и нарываться на грубости. Как-то раз, стоя с протянутой рукой на мосту, он поссорился с настоящим нищим и в припадке бешеной зависти задушил его.

Отдавая все свои мысли делам, они не искали умственных наслаждений. Театр, некогда процветавший у них, свелся теперь к пантомиме и комическим танцам. Даже спектакли, где выступали женщины, были преданы забвению; утратился вкус к красивым формам и изящным туалетам. Им стали предпочитать кульбиты клоунов и негритянскую музыку, а настоящее восхищение вызывали у театральной публики только бриллианты на шеях у фигуранток да бруски золота, торжественно проносимые по сцене.

Дамы из богатых кругов вынуждены были, подобно мужчинам, вести респектабельный образ жизни. По склонности, наблюдаемой во всякой цивилизованной стране, общественное мнение возводило их в некий символ: своим суровым великолепием они должны были знаменовать и

величие богатства, и его недоступность. Прежнее обыкновение заводить любовные интриги было упразднено, но на смену светским любовникам потаенно явились мускулистые массажисты или какие-нибудь лакеи. Впрочем, скандалы происходили редко: путешествие за границу почти всегда все сглаживало, и принцессы трестов по-прежнему оставались предметом всеобщего уважения.

Богатые составляли только незначительное меньшинство, но те, кто им служил, люди изо всех слоев населения, были целиком ими куплены или им подчинены. Они делились на две категории: торговых или банковских служащих и заводских рабочих. Первые выполняли огромную работу и получали солидные оклады. Некоторые из них в конце концов основывали собственные предприятия; непрерывным ростом общественных богатств и подвижностью средств, находящихся в частных руках, поощрялись надежды наиболее способных или наиболее смелых. Конечно, в бесчисленной толпе приказчиков, инженеров, бухгалтеров можно было найти известное количество недовольных и раздраженных, но этот могущественный социальный строй внедрял суровую дисциплину даже в умы своих противников. Анархисты и те отли-

чались там прилежанием и пунктуальностью.

Что касается рабочих, трудившихся на заводах, в окрестностях города, то они переживали глубокий физический и моральный упадок; они воплощали в себе тип бедняка, установленный антропологией. Хотя развитие некоторых мускулов, вызванное особым характером их деятельности, могло внушить ложное представление об их силе, в действительности у них обнаруживались верные признаки болезненной расслабленности. Не только низкий рост, маленькая голова, узкая грудь, но еще и множество других физических аномалий — особенно асимметрия головы или тела, очень среди них распространенная, — отличали их от представителей обеспеченных классов. И они были обречены на постепенное непрерывное вырождение, так как самых сильных среди них государство забирало в солдаты, и тогда здоровье их недолго могло устоять перед продажными женщинами и кабатчиками, расположившимися вокруг казарм. Пролетарии обнаруживали все больше признаков слабоумия. Непрерывное ослабление их умственных способностей обусловлено было не только их образом жизни, оно возникало также и в результате систематического отбора, производимого хозяевами.

Последние, опасаясь рабочих, обладающих слишком ясным умом, а потому умеющих выражать свои законные требования, старались отделаться от них всяческими способами, предпочитая вербовать народ невежественный и ограниченный, неспособный отстаивать свои права, у которого ума хватает лишь на то, чтобы справляться с работой, весьма несложной благодаря усовершенствованным машинам.

Таким образом, пролетарии не в состоянии были ничего предпринять для облегчения своей участи. Им даже еле удавалось сохранять прежний уровень заработной платы при помощи забастовок. Но и это средство они начинали уже утрачивать. Частые перерывы в производстве, неизбежные при капитализме, порождали такую безработицу, что во многих отраслях промышленности сразу после объявления какой-нибудь стачки на места, покинутые стачечниками, становились безработные. Короче говоря, эти жалкие производители пребывали в мрачной апатии, исключавшей всякую радость и всякий взрыв отчаяния. Общественный строй превратил их в необходимые орудия, отвечающие своему назначению.

В итоге этот общественный строй казался проч-

нее какого-либо другого, по крайней мере из известных в человеческой истории, ибо общество пчел и муравьев в смысле устойчивости выше всякого сравнения; ничто не позволяло предвидеть крушение режима, основанного на том, что сильнее всего в человеческой природе, — на гордыне и алчности. Однако наиболее проницательные наблюдатели усматривали много поводов к беспокойству. Самые тревожные признаки, хоть и наименее заметные, были экономического характера и заключались в возрастающем перепроизводстве и связанной с ним длительной и жестокой безработице, в коей, правда, промышленники усматривали возможность подрывать силу рабочих, противопоставляя безработных тем, кто занят на производстве. Более ощутимый вид опасности порождало физическое состояние почти всего народонаселения. «Здоровье у бедняков таково, каким оно только и может быть, — говорили врачи-гигиенисты, — но и у богатых оно оставляет желать лучшего». Нетрудно было найти причины этому. В городе недоставало необходимого для жизни кислорода; дышали искусственным воздухом; пищевые тресты, производя самые смелые химические соединения, выпускали искусствен-

ные вина, искусственное мясо, искусственное молоко, искусственные фрукты, искусственные овощи. Но подобное питание вредно отзывалось на желудке и на мозге. Миллиардеры лысели уже к восемнадцати годам; некоторые из них порою обнаруживали опасное ослабление умственной деятельности; заболев, они в испуге платили огромные суммы невежественным знахарям, и случалось, что вдруг в городе ни с того ни с сего делал блестящую медицинскую или богословскую карьеру какой-нибудь простой банщик, вздумавший стать терапевтом или пророком. Непрерывно росло количество сумасшедших; в кругу богачей множились самоубийства, причем иные из них сопровождались ужасными и нелепыми обстоятельствами, которые свидетельствовали о неслыханном извращении ума и чувств.

Еще одно зловещее явление вызывало всеобщую тревогу. Всякого рода несчастные случаи стали периодически повторяющимися, закономерными событиями, так что даже предусматривались в планах и занимали все более и более обширное место в статистике. Каждый день взрывались машины, взлетали в воздух дома, тяжело нагруженные товарные поезда обрушивались с

воздушных путей на бульвары, — снося целые здания, давя сотни прохожих, они проваливались под землю и сокрушали два-три этажа подземных мастерских или доков вместе с многочисленными партиями рабочих.

§ 2

В юго-западной части города, на холме, сохранившем прежнее название Форт св. Михаила, был расположен общественный сад, где старые деревья еще простирали над лужайками свои истощенные руки. На северном склоне инженеры-пейзажисты устроили водопад, пещеры, бурный поток, озеро, острова. Отсюда был виден весь город — улицы, бульвары, площади, нагромождение крыш и куполов, линии надземных железных дорог, толпы людей, кажущиеся сверху безмолвными и как бы заколдованными. Этот сад был самым здоровым местом в столице: дым не застилал там неба, и туда водили гулять детей. В летнее время некоторые служащие соседних контор и лабораторий приходили туда после завтрака отдохнуть, ничем не нарушая мирной тишины сада.

Вот так в июне, около полудня, пришла и телеграфистка Каролина Мелье посидеть на скамейке в конце Северной террасы. Она села спиной к городу, чтобы, глядя на зелень, дать отдых глазам. Черноволосая, с золотисто-карими глазами, крепкая и спокойная, Каролина казалась не старше

двадцати пяти — двадцати восьми лет. Почти тотчас же рядом сел служащий электрического треста Жорж Клер. У него были светлые волосы, тонкая и гибкая фигура, женственно изящные черты лица; он был, во всяком случае, не старше ее, а казался даже моложе. Встречаясь на этом месте почти каждый день, они чувствовали взаимную симпатию и любили друг с другом поговорить. Но в их беседе никогда не было ничего нежного, сердечного, личного. Хотя Каролине уже случалось как-то в прошлом пожалеть о своей доверчивости, она, может быть, и готова была допустить более непринужденные отношения, но Жорж Клер и в разговорах, и во всем своем обращении с нею был всегда чрезвычайно сдержан; он никогда не нарушал чисто интеллектуального характера беседы и оставался в области общих тем, впрочем высказываясь обо всем с самой резкой откровенностью.

Он часто заводил речь об устройстве общества и условиях труда.

— Богатство, — говорил он, — только одно из средств к счастливой жизни, а они превратили его в единственную цель существования.

И обоим такое положение вещей казалось чудовищным.

Они беспрестанно обращались и к некоторым научным проблемам, связанным с их постоянными интересами.

На этот раз они обменивались мыслями об эволюции химических знаний.

— С тех пор как было открыто превращение радия в гелий, — сказал Клер, — перестали утверждать, что элементы неизменяемы; таким образом, были упразднены эти старые законы — простых отношений и сохранения материи.

— А химические законы все же существуют, — сказала она, потому что, как женщина, чувствовала потребность во что-нибудь верить. Он заметил небрежным тоном:

— Теперь, когда можно добывать радий в достаточном количестве, наука получила в свое распоряжение несравненные способы анализа; отныне в так называемых элементах угадываются богатейшие соединения и в материи обнаруживается энергия, как будто возрастающая именно в связи с ничтожно малым объемом.

Разговаривая, они бросали птицам крошки хлеба; вокруг играли дети.

Клер перешел на другую тему.

— В четвертичный период, — сказал он, — на этом холме жили дикие кони. В прошлом году,

когда рыли землю для водопровода, здесь откопали толстый слой из костей гемионов.

Она спросила, существовал ли уже человек в ту отдаленную эпоху.

Он объяснил, что человек охотился тогда на гемионов, еще не пытаясь приручать их.

— Человек был вначале охотником, — добавил он, — потом стал пастухом, пахарем, промышленником… И эти разные виды цивилизации следовали один за другим сквозь такую толщу времен, которую наш разум не в состоянии себе представить.

Он вынул часы.

Каролина осведомилась, не пора ли возвращаться на работу.

Он ответил, что еще рано, — еще только половина первого.

На земле возле их скамейки девочка делала из песка пирожки; мальчик лет семи-восьми вприпрыжку пробежал мимо. На соседней скамейке сидела его мать с шитьем, а он играл один, изображая, как вырвалась на свободу лошадь, и, с той способностью отдаваться игре, какая свойственна детям, — одновременно воображал себя и лошадью, и теми, кто ее ловит, и теми, кто в ужасе бежит от нее. Он бесновался и кричал:

«Ловите ее! Го-го! Это страшная лошадь! Она закусила удила!»

Каролина спросила Клера:

— Как вы думаете, были счастливы люди прежде?

Ее собеседник ответил:

— Когда человечество было моложе, оно меньше страдало. Люди были похожи на этого мальчика: они играли — играли в искусство, в добродетели, в пороки, в героизм, в верования, в сладострастие; у них были иллюзии, которые их развлекали. Люди шумели, забавлялись. А теперь…

Не окончив фразы, он опять посмотрел на часы. Мальчик споткнулся о ведерко девочки и растянулся на песке. Минуту он лежал неподвижно, потом приподнялся на руках; на лбу у него вскочила шишка; он надул губы и громко заплакал. Прибежала мать, но Каролина уже успела поднять его и вытирала ему глаза и рот своим носовым платком. Малыш все рыдал; Клер обнял его.

— Ну, ну, не плачь, детка. Я расскажу тебе сказку.

«Один рыбак забросил в море невод и вытащил медный горшочек, закрытый крышкой. Он от-

крыл его ножом. И оттуда вышел дым и поднялся до самых облаков, а потом стал густеть, густеть и превратился в великана, и великан чихнул так сильно, так сильно, что весь мир рассыпался в прах…»

Вдруг Клер замолчал и с сухим смешком передал ребенка матери. Опять вынул часы и, став коленями на скамью, облокотившись на спинку, принялся глядеть на город.

Далеко, насколько хватал глаз, виднелось множество домов, огромных, но казавшихся совсем крошечными. Каролина стала смотреть в ту же сторону.

— Какая погода прекрасная! — сказала она. — Солнце сияет, и дым на горизонте кажется совсем золотым. Все-таки самое ужасное в цивилизации — то, что она лишила нас дневного света.

Он не отвечал; взгляд его был устремлен на какое-то место в городе.

Несколько секунд прошло в молчании, и вдруг они увидели, что приблизительно в трех километрах от них, по ту сторону реки, в самом богатом районе города, поднимается странный, зловещий туман. Через мгновенье послышался взрыв, и к ясному небу гигантским деревом вознесся столб дыма. И мало-помалу весь воздух

наполнился чуть слышным гулом, в котором слились крики нескольких тысяч людей. Совсем близко, в саду, тоже кричали.

— Что это взорвалось?

Всех охватило смятение; хотя несчастные случаи происходили теперь очень часто, но такого сильного взрыва еще не бывало, и с ужасом каждый отметил это.

Начали определять, где разразилась катастрофа; называли кварталы, улицы, разные здания — клубы, театры, магазины. Топографические данные становились все подробнее и точнее.

— Это взорвался стальной трест!

Клер спрятал часы в кармашек.

Каролина пристально смотрела на него, и в глазах ее было изумление.

Наконец она шепнула ему на ухо:

— Вы знали? Ждали?.. Так это вы?..

Он ответил просто:

— Город должен быть разрушен.

Она промолвила задумчиво и мягко:

— Я тоже так думаю.

И оба спокойно пошли — каждый к себе на работу.

§ 3

С этого дня анархисты устраивали взрывы непрерывно в течение целой недели. Было множество человеческих жертв — почти все из неимущих классов. Эти злодейства вызвали общественное негодование. Больше всего возмущались обыватели — хозяева гостиниц, мелкие чиновники и те мелкие торговцы, которых еще не успели вытеснить тресты. В рабочих кварталах женщины громко требовали небывалых казней для динамитчиков (это прежнее название еще сохранялось, хотя и устарело, так как неизвестные химики считали динамит слишком уж невинным средством, пригодным разве для уничтожения муравейников, и им казалось детской забавой взрывать нитроглицерин при помощи гремучей ртути). Деловая жизнь сразу остановилась, причем первыми пострадали от этого наименее обеспеченные. Они заговорили о том, как бы самим расправиться с анархистами. Вообще заводские рабочие относились к действию насилием враждебно или же безразлично. Спад деловой жизни грозил безработицей или даже локаутом во всех отраслях производства, и,

когда объединение профессиональных союзов поставило вопрос о всеобщей забастовке как наилучшем способе воздействовать на хозяев и оказать существенную помощь революционерам, рабочие всех специальностей, кроме золотильщиков, отказались прекратить работу.

Полиция произвела много арестов. Войска национальной конфедерации были стянуты изо всех пунктов для охраны помещений трестов, особняков миллиардеров, общественных зданий, банков, больших магазинов. Прошло две недели без единого взрыва. Тогда решили, что динамитчики, — вероятно, какая-нибудь горсточка или того меньше, — перебиты, переловлены, где-нибудь попрятались или бежали. Стало восстанавливаться спокойствие — прежде всего среди самых бедных. Двести-триста тысяч солдат, расквартированных в рабочих кварталах, оживили торговлю; их приветствовали возгласами: «Да здравствует армия!»

Богатые, не так быстро поддавшиеся испугу, успокаивались медленнее. Но на бирже группа играющих на повышение стала сеять ободряющие слухи и решительным маневром приостановила падение бумаг; застой прекратился. Крупнотиражные газеты поддержали

эти настроения; с патриотическим красноречием они доказывали, что неуязвимый капитал смеется над покушениями немногочисленных подлых преступников и общественное богатство, презирая пустые угрозы, продолжает спокойно расти; они писали так с полной искренностью — и получали за нее воздаяние. Стали забывать о покушениях, даже отрицать, что они были. По воскресным дням женщины, увешанные, отягощенные жемчугами и бриллиантами, снова украшали трибуны на скачках. С радостью было отмечено, что капиталисты не пострадали. При взвешивании наездников публика рукоплескала миллиардерам.

А на другой день Южный вокзал, нефтяной трест и грандиозная церковь, выстроенная на средства Тома` Морселе, взлетели на воздух; сгорело тридцать домов; вспыхнул пожар в доках. Пожарные проявили чудеса самоотверженности и бесстрашно, с точностью механизма орудовали своими длинными железными лестницами, поднимаясь до тридцатого этажа и спасая несчастных из пламени. Солдаты ревностно охраняли порядок, за что получили двойную порцию кофе. Но все эти новые несчастия произвели панику. Миллионы людей, стремящихся немедленно

уехать и увезти свои деньги, осаждали крупные кредитные учреждения; однако те производили выплату только три дня, а потом закрыли кассы под рокот бунта. Толпы беженцев с чемоданами и тюками ринулись на вокзалы и с бою занимали места в поездах. Многие, решив поскорей укрыться в подвалах, запасались продовольствием, шли на приступ бакалейных и съестных лавок, охраняемых солдатами с примкнутыми штыками. Власти проявили энергию. Были произведены новые аресты, подписаны тысячи ордеров на задержание подозрительных лиц.

Следующие три недели миновали без всяких взрывов. Прошел слух, что обнаружены бомбы в зале Оперы, в погребах городской мэрии и у одной из колонн здания биржи. Но вскоре стало известно, что это были коробки из-под консервов, подброшенные злыми шутниками или сумасшедшими. Один из обвиняемых заявил на допросе, что он главный организатор взрывов, стоивших жизни всем его сообщникам. Его показания были опубликованы в газетах и содействовали успокоению общества. Только под самый конец следствия судебные чины заметили, что перед ними симулянт, совершенно непричастный к взрывам.

Назначенные судом эксперты не обнаружили ни малейшего обломка, который позволял бы судить о том, каким снарядом пользовались разрушители. Согласно догадкам экспертизы, новое взрывчатое вещество являлось эманацией газа, выделяемого радием; предполагалось, что электрические волны, вызываемые особым осциллятором, распространялись в воздухе и производили взрыв; но даже самые опытные химики не решались сказать что-либо точное и определенное. Наконец как-то раз двое полицейских, проходя мимо особняка Мейера, нашли на тротуаре, около отдушины, какой-то яйцевидный предмет из белого металла, с капсюлем на одном конце; они осторожно подняли его и, по распоряжению своего начальника, отнесли в муниципальную лабораторию. Не успели эксперты собраться, чтобы рассмотреть яйцо, как оно взорвалось, разметав амфитеатр и купол. Все эксперты погибли, в том числе генерал артиллерии Коллен и знаменитый профессор Тигр.

Капиталистическое общество не склонилось перед этой новой бедой. Крупные кредитные учреждения снова пооткрывали свои кассы, объявив, что будут производить платежи частью золотом, частью государственными бумагами.

Фондовая и товарная биржи, несмотря на полное прекращение сделок, решили не закрываться.

Между тем закончилось следствие по делам первых арестованных. Быть может, при других обстоятельствах обвинительный материал против них и показался бы недостаточным, но все возмещалось усердием судей и общественным негодованием. Накануне открытия процесса Дворец правосудия был взорван; при этом погибло восемьсот человек, среди них множество судей и адвокатов. Рассвирепевшая толпа ворвалась в тюрьмы и линчевала заключенных. Воинская часть, посланная для наведения порядка, была встречена камнями и револьверными выстрелами; нескольких офицеров стащили с седел и растоптали. Солдаты открыли огонь; было много жертв. Властям удалось восстановить спокойствие. Но на другой день был взорван Государственный банк.

С тех пор началось что-то неслыханное. Заводские рабочие, прежде отказывавшиеся даже бастовать, теперь стали толпами нападать на город и палить дома. Целые полки, во главе с офицерами, присоединялись к поджигателям-рабочим, ходили с ними по городу, распевая революционные гимны, и кончили тем, что за-

хватили в доках многие тонны керосина, чтобы подливать в огонь. Взрывы не прекращались. Однажды утром как бы некое чудовищное дерево, призрак пальмы в три километра высотою, внезапно выросло на месте, где только что перед тем стоял гигантский дворец Телеграфа.

Пока одна половина города полыхала, в другой жизнь шла своим чередом. По утрам слышалось бренчанье жестяных бидонов в тележках молочников.

На пустынной улице старый дорожный рабочий, прислонившись спиною к стене и зажав между коленями бутылку, медленно жевал краюху хлеба с салом. Председатели трестов почти все оставались на местах. Некоторые из них исполняли свои обязанности с героической простотой. Сын миллиардера-мученика Рафаил Бокс взлетел на воздух, председательствуя на общем собрании акционеров сахарного треста. Ему устроили великолепные похороны. Траурной процессии пришлось шесть раз преодолевать горы развалин или же переходить по доскам через ямы провалившейся мостовой.

Обычные помощники богачей — приказчики, конторщики, маклеры, агенты — по-прежнему выказывали им непоколебимую верность. При

наступлении срока платежей еще оставшиеся в живых рассыльные взорванных банков шли по развороченным улицам в окутанные дымом дома, чтобы предъявить какой-нибудь вексель и получить по нему деньги; многие при этом погибали в пламени.

Тем не менее уже не оставалось никаких иллюзий: невидимый враг завладел городом. Теперь там господствовал гул взрывов, непрерывный, как тишина, уже привычный для слуха и полный неодолимого ужаса. Осветительное оборудование было разрушено, по ночам город был погружен во мрак, и совершались чудовищные, неслыханные преступления. Одни только рабочие кварталы, не столь пострадавшие, еще кое-как держались. Там наводили порядок патрули добровольцев; они расстреливали грабителей, и на каждом углу можно было наткнуться на труп, лежащий в луже крови, с подогнутыми коленями, со связанными за спиной руками, с платком, прикрывающим лицо, и с пришпиленной на животе надписью.

Уже невозможно было разбирать груды обломков и хоронить мертвых. Вскоре трупный смрад стал невыносим. Начались эпидемии; бесчисленное множество людей перемерло, а те, что выжили, еле держались на ногах, были как

помешанные. Остальных подбирал голод. Когда прошел сто сорок один день после первого взрыва и в Альку вступили шесть армейских корпусов с полевой и осадной артиллерией, ночью в самом бедном районе города, единственно еще уцелевшем, но уже охваченном со всех сторон поясом пламени и дыма, Каролина и Клер, взявшись за руки, смотрели вниз с крыши высокого дома. Веселые песни взлетали над улицей, где плясала обезумевшая толпа.

— Завтра все будет кончено, — сказал он. — И так будет лучше.

Молодая женщина, с разметавшимися волосами, с лицом, озаренным отблесками пожара, радостно и благоговейно смотрела на сжимающееся вокруг них огненное кольцо.

— Так будет лучше… — повторила она.

И, бросившись в объятия разрушителя, самозабвенно поцеловала его.

§ 4

Остальные города Федерации тоже пережили разруху и смуту, но впоследствии там восстановился порядок. Были произведены реформы в области государственных установлений; нравы сильно изменились; но совсем воспрянуть после потери столицы и достичь прежнего процветания страна уже не могла. Торговля и промышленность пришли в полный упадок, цивилизация исчезла из этих мест, прежде излюбленных ею. Они сделались бесплодными и нездоровыми; территория, на которой кормились миллионы людей, стала сплошной пустыней. На склоне холма, в саду Форта св. Михаила, дикие кони щипали сочную траву.

Дни протекали, как воды источников, столетия падали в вечность, словно капли со сталактитов. На холмах, укрывших под собою развалины забытого города, охотники били медведей; пастухи пасли там свои стада; пахари бороздили землю плугом; огородники и садоводы выращивали салат и прививали грушевые деревья. Люди были небогаты, чуждались искусств. Древняя виноградная лоза и кусты роз украшали стены их

хижин; козьи шкуры прикрывали их загорелые тела; женщины одевались в домотканую шерсть. Козопасы лепили из глины фигурки людей и животных или пели песенки о девушке, уходящей в лес за своим милым, о козах, что щиплют траву под шум сосен и журчанье ручья. Хозяин сердился на жуков, поедающих его фиги; придумывал, какие устроить западни, чтобы охранить своих кур от пышнохвостой лисы, и угощал соседей вином, приговаривая:

— Пейте! Саранче не удалось испортить мой виноград: когда саранча налетела, он был уже собран.

Шли годы, богатые деревни и тучные нивы были разграблены и опустошены нашествием варваров. Много раз страна переходила от одних завоевателей к другим. Победители построили замки на холмах; развились ремесла; появились мельницы, кузницы, дубильни, ткацкие мастерские; через леса и болота протянулись дороги; по рекам побежали суда. Деревни выросли в укрепленные городки и, соединившись вместе, образовали большой город, защищенный рвами и высокими стенами. Позднее, сделавшись столицей обширного государства, он раздался во все стороны, и старые укрепления, отныне уже бес-

полезные и стеснительные, были превращены в зеленые бульвары.

Город разбогател и непомерно разросся. Дома все время казались недостаточно высокими; их беспрестанно надстраивали, а новые возводили в тридцать, сорок этажей, и там громоздились одни над другими конторы, магазины, банки, помещения разных обществ; а под домами все глубже и глубже рыли подземелья и тоннели. Пятнадцать миллионов человек работало в гигантском городе.

1908